

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Дело Свободы Восточной Европы является частью всемирного дела Свободы и Любви. Европа — неделима!



Ее будущее — в воссоединении Запада и Востока на основе свободы, сотрудничества, солидарности... Свободная Восточная Европа и Свободная Россия — это надежнейший партнер Запада...

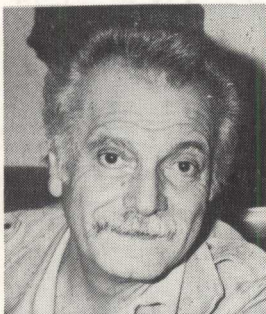
Сергей Солдатов

Подтекст всего этого таков — мир-миром, а вас готовят для войны. Во время войны выжирали по четверти на три рыла и только здоровели. «Вам, товарищи воспитанники, предстоит принять героическую эстафету поколений!» Не уметь пить — это все равно, что не уметь ругаться, позорно и не по-мужски.



Геннадий Покрасс

Я словно ива загрущу,
Когда Господь, отмерив дни,
Мне скажет, хлопнув по плечу:
«Так есть ли Я? Пойди, взгляни!»
Тогда поминки справлю я
По всем на свете — пей до дна! —
Еще стоит ли та сосна,
Что мне на гроб пойти должна? /.../
Вот желтый лист упал



во прах.
И завещанье надо спеть.
Пускай напишут на дверях:
«Закррито. Перерыв на смерть».
Зато и от больных зубов
Меня избавит смертный сон.
Заройте без надгробных слов
В могиле братской всех времен.

Жорж Брассенс

Мы должны были фотографировать ваше лицо с момента, когда вы возьмете фотографию пропавшей...



что мы и делали. И вместо вашего лица мы проявили весь ее горький опыт, насилие, убийство, лица бандитов и место, где спрятано тело... одна ваша фотография все же получилась...

Марк Зайчик

Меня всегда интересовала философия искусства. Еще в Союзе я организовал группу «Метафизический синтетизм»... Мы изучали культовые истоки искусства. До того как искусство стало явлением культуры, оно было культовым явлением... для нас огромный интерес представляют каноны.



Михаил Шемякин

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Раймон Арон · Ценко Барев
Джордж Бейли · Сол Беллоу · Николас Бетелл
Энцо Беттица · Иосиф Бродский · Владимир Буковский
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник
Юзеф Чапский · Карл-Густав Штрём
Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

- Англия Владимир Тельников
Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,
Fulham Rd., London S.W. 6
- Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B 7433,
Jerusalem, Israel
- Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Юрий Ольховский
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court
Falls Church, Va. 22041, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

32

Издательство «Континент»
1982

СОДЕРЖАНИЕ

КРУГ РАССКАЗЧИКОВ

- Геннадий Покрас — Рассказы разжалованного моряка 7
Николай Шatrov — Из книги стихотворений 30
Владимир Алейников — Стихи последних лет 34

КРУГ РАССКАЗЧИКОВ

- Юрий Гальперин — За окном и под окнами 42

СТИХИ

- Рина Левинзон, Леонид Чертков,
Леонид Иоффе 55

- Владимир Максимов — Чаша ярости. Роман.
Часть вторая 64

СТИХИ

- Лия Владимирова, Валерий Петрович 155

КРУГ РАССКАЗЧИКОВ

- Марк Зайчик — Феномен 166
Жорж Брассенс — Песни. Перевод и предисловие
Василия Бетаки 182

КРУГ РАССКАЗЧИКОВ

- Юрий Милославский — Лирический тенор 190

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

- «Очень могущественная организация...». Публикация
Марка Поповского 203

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

- Сергей Солдатов — Эстонский узел 223

ЗАПАД — ВОСТОК

- Ота Ульч — Неприятный отчет об американской
правовой практике 241

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

- Феликс Светлик — Силезия, декабрь 1981 257
Лев Консон — Скажи мне, где твой брат Абель? 274

РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ	
Вадим Я н к о в — Нации и национализм	287
ИСТОКИ	
Вальтер Л а м е — Ошибка, которая хуже преступления	299
ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАДИОВЕЩАНИЯ	
Носороги за работой	
Э. Ш т е й н — Шахматные «позывные» радиостанции «Голос Америки»	311
ИСКУССТВО	
Т. Д м и т р и е в — Размышления с кистью в руках...	318
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Александр С о п р о в с к и й — Конец прекрасной эпохи	335
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Жорж Н и в а — Забытая заметка Блока о «Двенадцати»	355
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	365
НАША ПОЧТА	369
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Виолетта И в е р н и — «Это моя исповедь»	381
Л. К о з л о в а — Род Толстых	387
Виктор К а г а н — Фольклор Архипелага ГУЛаг	391
Майя М у р а в н и к — Секреты великой утопии	392
Н. Г о р б а н е в с к а я — Ответы на вопросы о России	400
Василий Б е т а к и — «Сироты власти Петровой»	404
КОРОТКО О КНИГАХ	409
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	417
НАША АНКЕТА	
Встреча с Михаилом Ш е м я к и н ы м	425
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

Круг рассказчиков

Геннадий Покрасс

РАССКАЗЫ РАЗЖАЛОВАННОГО МОРЯКА

ДИКАРЬ

Перед Саратовским военно-морским подготовительным училищем — огромное кладбище. В увольнение через него идти весело, а возвращаться в училище — грустно.

Наш командир роты капитан-лейтенант Мондрус, по прозвищу «Папа Мондрус», говорит:

— В городе по одному не ходить, по бабам тараканами не расползаться! Смирно! Отрастили, понимаешь, яйца по графину... Разойдись!

Мы топаем в город Энгельс, с удовольствием вспоминая замечание «Папы Мондруса», что у него третья дырка родилась — это он о третьей дочери. Большинству из нас не больше 15 лет, и «Папа» нам в отцы годится.

Ко мне у «Папы Мондруса» отношение особое. Мой отец приезжал со мной в Энгельс, выпивал с ним, и тот обещал обо мне позаботиться.

— Я к нему «Рыло» приставлю, — сказал тогда «Папа Мондрус».

Рыло — это прозвище старшины роты, у которого расстояние между скулами равно ширине плеч многих из нас.

Заботу «Папы» я ощутил на приемных экзаменах: парень, у которого я все списал по алгебре, получил 2,

а я 4. Каждый раз, когда «Папа» заставлял меня за игрой в шашки, он басил:

— Я обещал вашему отцу сделать из вас человека! Идите в спортзал драться (я занимался боксом). Шашки — это игра для беременных женщин!

Большое влияние на нас оказывали бывшие юнги — на 4-5 лет нас, воспитанов (воспитанников), старше и с богатым половым и уголовным опытом. За свежие наколки нас карали, и я свел азотной кислотой якорь на руке, зато подрядил одного юнгача (юнгю) за бутылку изобразить на моей ляжке парусник с чайкой. Работал он в котельной училища после отбоя, но котельщик стукнул, и утром построили роту.

— Кому ночью в котельной делали наколку на ноге? — спросил «Папа Мондрус» и завопил: — Два шага вперед!

Воспитанники косились друг на друга, не поворачивая головы.

— Сейчас заставлю всех спустить брюки и увижу сам! — взревел «Папа». — Тогда будет хуже!

Я сделал два шага вперед. «Папа» побагровел.

— Ко мне в каюту, — сказал он.

Кабинеты в училище называли по-морскому.

— Спускай брюки, — сказал «Папа», после чего с презрением уставился на парусник, плывущий по красной воспаленной коже.

— Что это за варварство? — спросил «Папа», у которого все руки и грудь были в татуировке. — Вы что, дикий человек! Вы что, в Америке живете? Посмотрите на себя!

Я посмотрел на свою ляжку.

— Разве это наколка? Где тени, где тонкость линий? Накалывали, небось, тремя иголками, что валенки подшивают? Дикарь! Месяц без берега!

— Есть, «месяц без берега», — ответил я, думая о том, как буду ходить в самоволку.

— А за самоволку покараю жестоко, — добавил «Папа».

КРЫСЫ

Одно время крысы в нашем училище — в нашей Саратовской подготтии (подготовительное училище), размножились по-ударному. В гальюне на 24 очка они даже при свете с визгом выкатывались из-под ног, находя порой гибель от геройского удара кирзовым ботинком.

Эти ботинки были тяжелы, как казенная доля, и носили их только под портянки. Прозвище этим ботинкам — «гады». Босиком, без «гадов», в гальюн ходили только за славой.

Вечером, после ужина, на камбузе, хотя и оттертом от жиров, крысы прямо-таки визжали от счастья. Часто они и днем бегали по веревкам, натянутым над огромными котлами. На этих веревках ночью сушились халаты официанток.

Наш кок — бывший сверхсрочник, старый маришман, был близорук, но очки носить стеснялся. Он всегда был под балдой, и нам это нравилось. Положение его при училище было прочным: он делал торты для начальства, по слухам — очень вкусные.

Иногда мы были довольны, что он не носит очков, иногда обижались: все зависело от размеров мяса — «мянца», в бачке, т. е. в кастрюле. В столовой мясо это мы разыгрывали «на морского» — выбрасывали по команде пальцы на руке, счет по часовой стрелке, с бачкового. Из семи человек за столом гужевались те, кому первому выпадало и следующему за ним.

— Ребята, мянцо! — объявил Салават Муджахединов, парень крепкий, но от вида крови — один

раз ему заехали ручкой швабры по румпелю (носу) — терял сознание.

— На морского! Считаем с «Кисы»! (Так звали Киселева). Раз, два, три!

Досталось Салавату и мне.

Муджахединов подцепил половником разбухшую черноту.

— Братцы! Крыса!

На половнике, свесив лапки и уронив оскаленную морду, покоилась крыса. Жир капал с ее хвоста.

Салават стеснялся своего нерусского происхождения, но здесь что-то залопотал по-своему.

— Что же это, ребята? — негодуяще закричал Юрка Павлов. — Крысами кормят, а мясо сами жрут! — Юрка всхлипнул.

Уставившись друг на друга, мы стали блевать под стол, но Салават, уронив крысу в кастрюлю, обложил весь стол сверху.

— Полундра! — заорал кто-то.

Старшина Чумичка — бывают такие фамилии — даже не пресек движения за другими столами: воспитоны бросились смотреть на отварную крысу и тут же со стоном выбрасывали солянку, которой мы пропитались.

— Марш на место! Свирепствовать буду! — командовал, наконец, Чумичка и сам стал с визгом травить.

— Коку крысу затолкать! — протрубил Носов, оставаясь на месте.

Горя мщением, воспитанники ринулись на камбуз.

— Отставить! — В дверях стоял старлей — дежурный офицер.

— Товарищ старший лейтенант! — истерично заголосил Павлов, обливаясь слезами. — Можно вас подойти сюда!

Так и сказал «можно вас подойти сюда». Впоследствии в училище это стало крылатым выражением,

вроде «перестань сказать», «замолчи свой рот», «и у старухи бывает прореха» и другие. Чаще всего такие выражения впервые употребляло начальство, а мы подхватывали.

— Что это? — спросил старлей у бледного старшины роты.

— Вредительство! — дрожащим голосом ответил Чумичка.

— В бачке что?

— Крыса!!! — вскричали воспитанники хором.

— Почему крыса? — теряясь, спросил дежурный офицер и скомандовал: — Кока — под арест! Перекрыть все окна и двери!

Наша столовая размещалась в подвале, и окна напоминали удлинённые форточки, через которые не пролез бы самый мелкий воспитанник.

Как стало позже известно, кок махнул через забор и бежал от расправы. Бежал в очках. Когда началась облава и был вызван начальник училища, кок уже сдавался милиции. Больше мы его не видели.

В училище сменили всю интендантскую службу, начальника училища послали на повышение, его заместителя по политчасти разжаловали за недостаточную воспитательную работу и потерю политической бдительности. Комиссии из Москвы приезжали одна за другой.

— Как кормят? — заботливо спросил очередной чин, прогнав для демократичности старшину роты в другой конец столовой.

— Хорошо кормят! — четко ответил Носов.

— Хватает?

— Остается!

— Что с остатками делаете?

— Доедаем!

Чин заулыбался, и его свита дружно просияла.

— Какие пожелания?

— Хотим побыстрее приступить к морской практике, — ответил за всех Носов.

Практику мы проходили на Волге, жили в палатках, в лесу, недалеко от двух деревень.

— Хотим также помочь труженикам полей с уборкой урожая, — добавил Носов, у которого с прошлого года в каждой деревне было по сорокуле — 40-летней вдове.

«Труд облагораживает человека, хотя и делает его горбатым», — потихоньку сказал Павлов.

— Молодцы, — сказал чин, и все офицеры поощрительно закивали.

— «Люди военные — люди свободные, что нам прикажут — того захотим», — забормотал ядовитый Павлов.

— Вы что-то сказали? — обратился чин к Павлову.

— «Варяга» в этом году показывали 36 раз и «Чапаева» — 28 раз, — смело сказал Павлов.

— Эти фильмы имеют большое воспитательное значение, — сказал чин, — но мера нужна, конечно, во всем.

Сразу несколько сопровождающих сделало отметки в блокнотах.

— Мы это обсудим, — пообещал чин. — Не командуйте! — Он повернулся к раздувавшемуся Чумичке: тот набрал воздух, чтобы грозно, но почти-тельно гавкнуть в спину руководства «Встать! Смирно!»

— Продолжайте прием пищи, — задушевно сказал нам чин.

Мы застучали оловянными ложками.

МЫ И ОНИ

В нашем Саратовском училище офицеры-воспитатели пили по-черному, но скрытно, чтобы не увлечь

примером подчиненных. Но мы, 15-18-летние воспитанники, все равно узнавали обо всем: офицерские бараки были на территории училища. Да и великовозрастные бывшие юнги, которых мы слушали с разинутыми ртами, такой романтикой окутали «стакан», что само это слово автоматически вызывало улыбку, а то и смех.

На уроке химии преподавательница из вольнонаемных, говоря о растворимости, упомянула:

— Если взять стакан и поместить в него...

Раздался оглушительный хохот. Она в растерянности стала оглядывать платье: иногда воспитанники в коридоре щелчком пальца исподтишка приклеивали преподавательницам соплевидные кусочки жеваной промокашки. После этого смех стал доводить воспитанников до удушья. Кто-то упал со стула. Половина класса уже рыдала от смеха.

Преподавательница заплакала, и класс стих.

— Что я такого сделала? — спросила она. — Почему вы такие жестокие?

Побледневший командир взвода, великовозрастный Носов, встал и доложил:

— Вы сказали «если взять стакан...»

Класс опять прорвало...

Двери класса распахнулись, и на пороге появился командир роты — «Папа Мондрус».

— Встать! Смирно!

В классе грохнули отброшенные назад стулья. Преподавательница, которая только было присела, тоже встала, смущаясь.

— В чем причина веселья?! — гаркнул Мондрус, переводя негодующий взгляд на химичку.

— Я сказала: «если взять стакан...»

— Смирно! — снова рывкнул Мондрус, распираемый изнутри смехом.

— Сесть! Встать! Сесть! Встать!

Затем «Папа», все еще серьезно, сказал химичке:

— После урока — список зачинщиков!

— Встать! Смирно! — скомандовал командир взвода в подрагивавшую спину Мондруса, который не выдержал пытки смехом.

Старшины-сверхсрочники на контрольно-пропускном пункте отечески относили в кубрик — так называли спальню на сто человек — рухнувшего от алкогольного отравления воспитанника.

— Дошел до училища, пьянь этакая, — говорили они с хмурой лаской, регулярно донося обо всем дежурному офицеру.

Подтекст всего этого таков — мир-миром, а вас готовят для войны. Во время войны выжирали по четверти на три рыла и только здоровели. «Вам, товарищи воспитанники, предстоит принять героическую эстафету поколений!»

Не уметь пить — это все равно, что не уметь ругаться, позорно и не по-мужски.

В этой обстановке Юрка Павлов — москвич, по прозвищу «Павлюк», стал готовить себя к подвигу: учился заглатывать стакан водяры залпом — за один опрокидон. Учился на воде, тренируясь в гальюне, часто отрыгивая и выташнивая. Но честь дороже: вытирал слезы и, вдохновляясь любопытствующей аудиторией, опять закидывал в пасть полстакана воды.

Павлюк начал работать над собой летом, и к зимнему 10-суточному отпуску был готов украсить любое общество.

В отпуск из Саратова в Москву мы ехали вместе: как всегда, в переполненном вагоне; как всегда, без билетов; и почти как всегда, на третьей багажной полке.

Поезд отошел, и терпеть не было больше сил. На столе появилась водка, воспитанники сгрудились в нашем купе, пассажиры уважительно столпились в коридоре, уступив нам место: «Морячки выпивают...»

Кто-то выдвинул из-под полки деревянный чемодан, чтобы все флотские могли разместиться. Павлюк своей славой не скрывал, и его резкий, яростный голос разносился по всему вагону:

— Наливайте себе понемногу! Я налью себе сам! Мне — полный граненый, в нем 187 грамм, или тонкий — в нем 204 грамма, но не полный!

Радость поднималась изнутри, подкатываясь к горлу. Праздник души охватывал всех: и прокуренных мужиков, которые пьянели от вида чужого счастья, и улыбающихся с пониманием женщин, и сморщенных бабок-рыбок, которые умилительно плакали и крестились, говоря что-то несвязное, вроде:

— Вот и у нас так...

— Петька покойный...

— А весело всегда было, весело...

— Молодежи только и гулять, куда ж ей без белого вина...

Никто водку не оскорблял прямым именем, говорили — белое вино, беленькое, крепенькое, белая головка, водярушка и даже косорылушка.

Павлюк, хотя и был еще трезвый, уже пил счастье полными стаканами:

— Ребята! Заглохните на секунду! Мне закусывать ничем не надо! В водке есть все витамины!

— Это верно, — одобрительно гудело гражданское население вагона. — Корешок свое дело знает...

— Чтоб не в последний раз! — вскричал Павлюк, и мы все потянулись с ним чокнуться, понимая, что ему пролить нельзя — тем более, гражданские смотрят.

— Как звать-то боевого вашего? — спросила старуха со второй полки.

— Юрка меня звать, мамаша! — ответил Павлюк, сглатывая слюну и приближая стакан ко рту:

— Жить тебе, мать, 200 лет!

Старуха пронзительно ахнула, будто ее вот так, походя, одарили чем-то таким, чего никогда не отнимут.

— Счастья тебе, сынок, счастья, — запричитала она, — здоровья и всего-всего...

— Налейте мамаше! — скомандовал Павлюк, вызвав всеобщее одобрение.

— Самую малость, — сказала мамаша, тушуясь, — на донышке! Так, пригубить за молодцев...

Павлюк сделал глубокий вдох. Наступила тишина. Мамаше дали немного в стакане, и она, чумая от теплых чувств, хотела еще что-то сказать, но сразу несколько человек осекли ее взглядами.

Павлюк погнал содержимое стакана в рот, горло не сжималось, пропуская водку в пищевод.

— До дна! До дна выпил! — радостно объявил один из зрителей для тех в вагоне, кто не видел. — Весь стакан залпом! Это — по-нашенски, по-русски!

— Разве немцу или американцу сравниться с русским человеком!

В проходе мужичок в вытертой буденовке дрожащими пальцами ловко мастерил махорочную закрутку, ожесточенно побряхтывая и волнуясь. В этот момент никто громко не говорил: мы, не привычные к водке, ели и прислушивались к своему организму, поглядывая на Павлюка. Тот, хотя и сглатывал слюну, но не ел, ожидая действия витаминов и радостно балдея.

— Служивый, — обратился он к буденовке и снисходительно улыбнулся: — Сверни крепача, а я тебе беломор...

— Держи! — сказал тот, вынимая изо рта влажную, едко пахнувшую закрутку. — Беломор не нужно, я себе другую...

— Возьми! — Павлюк затянулся махрой и протянул мужику пачку беломора. — Все угощайтесь! — добавил он, поперхнувшись сизым дымом.

— У меня есть на случай, — пояснил буденовец и достал из бокового кармана поцарапанный алюминиевый портсигар.

— Угощайтесь! — сказал он и открыл портсигар, в котором под зажимом лежали «гвоздики» — крошечные папиросы.

Но у него никто не брал, а разбирали Юркин беломор, даже те, кто не курил.

— Да-а-а, — поощрительно протянул мужик, одолживший деревянный чемодан, — морские... Аврал, форштевень, брамселя!

Кто-то удивленно хохотнул: вот тебе и мужик! Мы насторожились и пощупали бляхи на ремнях — святотатства, да еще в такой момент, не ожидали.

— Ты это зря, — сказал Павлюк, который увидел в этом намек: юнцы, мол, салажата, что было особенно обидно, поскольку мы на самом деле были и юнцы, и салажата.

Воспитанники угрожающе привстали.

— Ребята, никакой полундры! — закричал Юрка. — По второй идем!

— Мы еще с тобой, ох, как поговорим, — сказал 20-летний Носов бойкому мужику и отвернулся к столу.

Носов, как старшой, был озабочен: после второго стакана «Павлюк» может слететь с копыт, и это хорошо, но если начнет куролесить, то в Мичуринске вполне может комендатура замести.

«Павлюк» обстаканился второй раз, и мы все вслед за Носовым похлопали, победно оглядывая окружающих.

— Ребята, а сейчас на станцию пиво пить! — завопил «Павлюк», заметив, что поезд замедляет ход.

— 20 минут стоим! — закричал проводник. — Смотрите за вещами!

— 20 минут стоим! — протрубил «Павлюк» и бросился к выходу.

За ним деловито последовал Носов, покровительственно нашептывая: «Ты не горячись, не горячись! Сейчас водка только играет, она ударит позже».

— Носяра, кореш, друг! — «Павлюк» полез обниматься с Носовым, проехав кому-то локтем по лицу.

— Ребята, пустые бутылочки мне! — ласково напомнил проводник, которому мы по-тихому налили стакан еще в Саратове.

К счастью Юрки Павлова, ни пива, ни браги на этой станции не продавали, но он и без них уже скис.

Перед отправлением, задевая плечами выступы в проходе вагона, «Павлюк» двигался к своим, одаряя всех широкой улыбкой, хотя и не всех видел. И поскольку он размахивал мослами и наваливался на сидящих сбоку, оседая и проваливаясь, — Носов подстраховывал сзади, — то люди, остерегаясь, напоминали о себе:

— Эй-эй, морячок!

— Здесь дети, морячок!

— Морячок, бабушку не придави!

Юра, икая, нетвердо приостанавливался при каждом окрике и, содрогаясь, вырыгивал небольшую порцию в сторону голоса.

— На людей блюет! — закричала старуха, вжимаясь в боковое сиденье.

— Что ты, мать! — Юра остановился возле старухи. Он трезво и укоризненно покачал головой, глядя на нее. После чего рыгнул, точно угодив ей сгустком соков на кофточку, и продолжил путь.

— К золовке еду! — в отчаянии закричала старуха. — Гадость какая!

Носов, обернувшись к ней и пояснил:

— Человек не трезвый...

— Я-то трезвая! — заголосила старуха. — Мне зачем в блевотине ходить!

— Прости, мать! — сказал Носов.

А Юра, останавливаясь, все так же вырыгивал порциями на пассажиров и в проход. Возмущение нарастало.

Мы затолкали Юрку на третью полку, и всех, кто сидел внизу, как ветром сдуло.

— Обложите его голову газетами! — скомандовал Носов. — Не давайте лежать на спине — захлебнется!

После этого Носов, как бы невзначай касаясь трех медалей на груди, сказал:

— Граждане! У человека крупная человеческая драма. Водка только обострила глубокую душевную боль, оголила натянутые, как струны, нервы...

Мы знали это носовское выражение, он его всегда вставлял в письма к девушкам варьируя подлежащим, например: «Твои слова только обострили...» или «Твой упрек только обострил...» Он был уверен, что эта фраза не только ошеломляет, но и обессиливает.

А я тогда на практике познал закон сохранения энергии: горло «Павлюка», сдержав позывы отсекал водку глотками, брало свое, когда он извергал витамины.

«ТЕАТР — ДЛЯ НАРОДА...»

В Высшем военно-морском ленинградском училище большой популярностью пользовался — Марат (Марик) Смирнов. Небольшого роста, кривоногий, с ушами такого размера, что ими можно было глаза протирать, с зубами в несколько рядов, как щука, он был всем нам дорог. И дело не в том, что любая харя рядом с ним выглядела сносно, а в том, что Марик был шутник и оригинал.

Сочинял он хорошие стихи, но своей известностью был обязан шуткам. Часто эти шутки были связаны со звучным и глубоким рыганьем, в чем равных ему не было. Он мог вырыгивать целые предложе-

ния, мог рыгать нежно и грозно, ласково и раздраженно.

Его отец — крупная шишка, долго не прощал Марику бестактности, когда тот в отпуске, во время застолья, заострил внимание на папиной отрывке:

— Убедительно, но не утробно, — сказал Марик, — вот так надо! — После чего у Марика в горле несколько секунд пели трубы с сурдинками.

— Солдафон! — загремел отец. — Приличные люди даже во время войны стеснялись такого окопного юмора!

— Я категорически против слова «солдафон!» — закричал Марик. — Я — моряк! — Он пропел: — Не променяем флотский клеш мы на солдатские обмотки, когда по улице идешь, тобой любуются красотки...

Гости посмотрели на Марика, в глазах которого светился чистый, незамутненный идиотизм, и приснули. Даже его отец ухмыльнулся, заметив:

— Надо бы мне тебя в детстве почаще оглоблей по горбу — по системе Макаренко. Видно, проморгал...

Но все же отец, как был уверен младший Смирнов, гордился сыном в тот момент.

Марик был девственником, и все из-за страсти к смешному: то он в решающий момент, разглядев в углу икону, вываливался из постели на пол, чтобы, распластавшись, прочитать длиннейшую молитву. После чего набожная Люся (у него все девушки были почему-то Люсями) постеснялась ему отдаваться.

То он, очаровав в Эрмитаже искусствоведку «знанием» картин (он выучил десятки аннотаций к ним), не мог сдержать искушения и раскатисто рыгнул, наслаждаясь изумлением окружающих. В тот раз он вызвал у прекрасной незнакомки удушающую рвоту — у нее оказался повышенный рвотный рефлекс.

Как-то Марик влюбился по-настоящему. Знали об этом немногие, как он сам говорил — «узкий круг

ограниченных людей». Полюбил он рыжую библиотекаршу училища, лет на десять его старше, с матовой, чистой кожей, не обсаженной веснушками, с кротким лицом и ясной улыбкой.

Когда она шла по коридору училища, багровевший Марик млел. У него появились признаки экземы, и это было только началом.

— Вы представляете ее голой? — спрашивал он, и, не дав чужому человеку кощунственно дотронуться до поэтической картины, продолжал: — Вся светится, грудочки локтями прикроет, а они упругие, с голубыми жилками, ножки с легкой кривизной, — как обнимет, как прижмет, — пупочек маленький, застенчивый...

— А ты представь себе, Марик, что она в клоаку провалилась, — вставил один циник, — помнишь, в Полярном на базе, гальюны? Скользкие доски, а внизу червивая команда... Над очком застываешь нежно, как канатоходец, только голубая жилка на лбу пульсирует...

— Ну и что? — подхватил Марик. — Я сам бы обмыл из шланга, потом мыльцем по скользким переходам, и любовался бы, любовался... Представляете? — вдруг вскричал он. — Она мокрая из бани выходит, и на рыжей штучке капли воды жемчугами переливаются...

— И тут подходишь ты, — вставил тот же циник, — играет музыка, и у тебя в руках мясной кларнет...

Посоветовали мы Смирнову пригласить рыжую в Мариинский театр на оперу. Марик купил два билета у театрального коробейника — второй ряд партера, середина.

Рыжая мило согласилась прослушать с Мариком «Демона», и он готовился в увольнение, как на свадьбу: бляха светилась прожектором, на форменке — две отутюженные складки, погоны — с металлическим кантом, бостоновый клеш закручивался вокруг тонких

мужественных ног. На хромовых ботинках он даже задники почистил. Ленточки на бескозырке длинные — до крестца, сделаны по заказу.

Чтобы все было гладко, кто-то уступил Марику дежурство на камбузе — уборщиков отпускали без построения, на котором могли «задробить выход в город» за нарушение «формы одежды». Мы собрали деньги для Марика, чтобы он мог в театре ударить по буфету. Наши половые спруты инструктировали его так, будто он идет в баню, в семейный номер.

— Найди чувствительные места, попробуй когтем по ладони...

— Стихами не пережми, лучше руками приглаживай, будто по рассеянности...

— Ты ей про несчастное детство...

Рыжая пришла в сверкающий театр в черном платье. Облегающем.

Марик от полноты чувств сам стал светиться, обнаруживая находчивость и тактично смолкая, когда она что-нибудь говорила. Правда, он не удержался и рассказал со слов своего отца о первой солдатской самодеятельности в Мариинском театре в 17-м году, когда прыщавый солдат, «знаете, весь в хотимчиках», пояснил Марик, объявил: «ближе 7-го ряда не садиться, солдат Грош будет ссать дугой...» Рыжая благосклонно улыбнулась, и он, окрыленный, доверчиво рассказал о случае во время хрущевского банкета с работниками искусств, когда один из солистов Мариинки рыгнул и сидевшая рядом с Никитой хохлушка из цирка поблагодарила: «Спасибо, что не усрался!».

— Наш премьер смеялся до слез, и на следующий день певцу присвоили народного...

Этот рассказ был воспринят менее благосклонно, возможно из-за политического привкуса, хотя само событие сомнений не вызывало.

В то время в театре продавали коньяк, и Марик, замешав его с шампанским, — рыжая в буфет идти

отказалась, чтобы он не тратился, — морщась, преодолевал застенчивость. И преодолел: расхаживая кругами в фойе, он наступил на ногу стоявшему у стены генералу и, не смущаясь, сказал с поклоном: «Прошу прощения, генерал!» Того, между прочим, без прибавления «товарищ» — просто «генерал», называло только вышестоящее руководство.

После первого звонка Марик почувствовал, что ему надо снова принять коньячку, тогда будет еще радостней.

— Я выдал ей один билет и двинул к буфету, — рассказывал он.

— После звонка — не продаем, — объявила буфетчица.

— Сестричка, — взмолился он, — мать, подруга, соратница! Жениться собираюсь! Капни коньячка в фужер, можешь недолить!

Она ему накапала, Марик выпил и легко засквозил к зрительному залу. Там уже звучала увертюра.

— Старушка у дверей — гунявая, видно с полипами, запах не учуяла, и запустила меня, только чтобы на цирлах, — вспоминал он. — Но сидим мы в середине, и я стал спотыкаться о колени публики, пробираясь к месту. Шикать на меня стали, а я глаза-то залил, только бельмами сверкаю и огрызаюсь.

Рыжая сгорала от стыда, но никуда не денешься... А тут у Марата открылось сопение: «хрюкаю на нервной почве», объяснил он тогда, дыша перегаром. Она даже не улыбнулась: лицо каменное, глаза устремлены на сцену.

— А на сцене «Демон» взревел, а я хрюкаю, а он слышит — слух хороший — поет и косится на нас, еле до антракта досидели...

Рыжая бежала, возле раздевалки подвернула ногу, благодаря этому Марик ее и поймал, но пока он надевал пропитанную цветочным одеколоном шинель, она, подхватив подол длинного платья, умчалась в ночь.

— Только приговаривала, — печально заключил Марик: — Какой ужас!.. Какой ужас!.. Я тогда даже на танцы не пошел, вернулся в училище. А говорят, «театр — для народа...»

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ...

Знавал я многих спортсменов, но такого, как Феликс Гетман, наверное, никогда больше не встречу. Так же, как вряд ли кто-нибудь надеется увидеть дважды белого кита. И дело даже не в его необыкновенном боксерском таланте, а пожалуй, в его удивительной самобытности. Он не пил, не курил и, замирая, краснел при виде девушек. Все деньги, которые ему присылали, когда он был в Нахимовском училище, а позже, которые ему выдавали, когда он был в Высшем военно-морском, он тратил на витамины и гематоген — бычьую кровь.

Он был всегда круглым отличником, и ходили слухи, что для воспитания воли Гетман прочитал «Капитал» Маркса. Какая бы ни была погода, он с утра делал на улице часовую зарядку — в тельняшке и трусах, даже зимой. Чемпион нахимовских и подготовительных училищ, а затем чемпион ВМУЗов — высших военно-морских военных заведений по боксу в легком весе, Феликс на втором курсе Высшего заявил, что хочет заниматься борьбой. Тренер сборной по боксу чуть не расплакался. Начальник училища пригрозил отчислением: «Спишу на флот матросом!» Железный Феликс только улыбался.

Через год и два месяца Фела, как и в боксе, стал перворазрядником в классической борьбе. В боксе равных ему в легкой весовой категории можно было найти только среди мастеров, поэтому он, тренируясь с борцами, выступал попутно и в боксе, выигрывая нокаутом почти все встречи. Работал он на ринге, как

машина, поскольку усталость считал преодолимым недостатком. Думаю, что не один прославленный профессионал лег бы перед Фелиным напором. Но он решил уйти из бокса и из борьбы.

— Буду заниматься йогой! — объявил он, и это было воспринято, как оскорбление.

— Фела — сумасшедший, — сказал тренер борцов.

— Если бы! — откликнулся тренер боксеров. — Можно было бы попытаться вылечить, мозгу вправить!

Потом, видно, решили повязать его через партийные органы. Замполит училища вызвал Гетмана для доверительной беседы:

— Хотите в партию вступить?

— В какую? — спросил Фела.

— Вон отсюда!

Фела вышел из кабинета.

Его не пускали в город, но каким-то путем ему все же передавали инструкции по йоге. Его постоянно обыскивали: «Курсант Гетман! Поднимите тельняшку!», но из-под нее никаких листков не выпадало. В его вещах рылись, как на золотых приисках — безрезультатно. Его организованно высмеивали, не давая уединяться. Все равно через год Феликс мог включать или отключать любую почку, по желанию врачей: его брали на исследования в Ленинградский главный военный госпиталь. Руки и ноги он закручивал в какие-то узлы и становилось за него страшно — не остался бы так.

После заключительной стажировки Феликс сказал, что пойдет к начальству с заявлением: разочаровался в службе и отказываюсь от присвоения офицерского звания.

— Фела! — кричали мы: — Пошарь во лбу, не спишь ли ты?

— Зачем такого прямика? Закоси! Получишь подъемные, а потом, на месте назначения, приделаешь руководству уши!

— С флота ноги легче сделать, чем отсюда!

Но на Фелиной вывернутой губе только слюна закипала, и широкие ноздри раздувались, как у лошади.

— Я хочу, как человек! Зачем мне мастырить, лучше по-честному...

— Что «как человек?» Человек — это звучит, и больше ничего. Не будь бараном, Феликс! Они же тебе пенку заделают во весь горшок!

— Посмотрим! — сказал Фела и провел рукой по стоявшим дыбом волосам.

Он и посмотрел: его чуть было не судили, исключили из комсомола и дали такую характеристику, что в хорошую тюрьму не примут.

Позже я встретил Гетмана в Москве, во время хрущевской оттепели. Морозы тогда стояли жуткие. Феликс был одет в потертый бушлат, на который он, хотя и закаленный, нашил воротник из протертой лисы.

— У сестры с мужем живу, — сказал он, — 8 м², сплю в ванне... Зато в самом центре!

Он имел в виду центр города.

Мы вошли в метро.

— На что живешь, Фела?

— Грузу и выгружаю вагоны на вокзалах, — радостно сказал он, сияя и брызгая слюной. — Там прописка не нужна! Муж сестры — гуманист, терпит меня: я ему продукты продаю... — Поймав мой удивленный взгляд, он пояснил: — Тырить научился, надо все уметь в этом мире. Древние говорили: «Не знать чего-нибудь — не есть достоинство». — Лицо его по-прежнему лучилось, даже отмороженные уши улыбались.

— А спорт?

— Был в ЦСКА в прошлом месяце, тренер домой приглашал, я не пошел...

В спортивном зале ЦСКА произошло тогда вот что. Гетман подошел к тренеру и спросил, может ли прийти на тренировку.

— Ты кто и откуда? — спросил тренер.

— Моя фамилия Гетман, я не москвич, остановился у сестры...

Московский тренер Феликса не помнил, а быть может, и не знал.

— Из гетманов знаю одного Мазепу, — пошутил он, — да и тот, как писал Гоголь, погиб от руки своего сына-шляхтича... Занимался в Ленинграде, говоришь, боксом? Ладно, приходи завтра. На людей посмотришь и себя покажешь.

На следующий день Фела одним своим видом, своими семейными, не спортивными трусами и рваной майкой оскорбил честную компанию. И это еще не все.

— Парень, — сказал ему сухошавый блондин килограмма на три полегче Фелы, — ты занял мой шкафчик.

Блондин, не торопясь, снимал офицерский китель с мастерским квадратом.

— Ладно, парень, — миролюбиво сказал Фела. — Займи другой, вон их сколько!

— Займу, — ответил блондин и закричал: — Влад Владыч! Можно мне сегодня с новеньким поработать? — Он повернулся к Гетману: — Фамилия?

— Мазепа.

— С Мазепой!

Тренер рассмеялся.

— Рановато, Валентин. Он еще не был на медосмотре. Пришел только размяться, ознакомиться.

— Вот я и ознакомлю, — сказал Валентин.

Во время разминки Гетман настроил всех против себя: не было в нем преданной отрешенности и серьез-

ности бойца — упражнения выполнял не до конца, останавливался.

— Боюсь, что это — еврей не нашего племени, — вполголоса заметил тренер, рассмешив стоявших рядом боевых орлов.

— Мазепа, хочешь минутку поработать в спаринге? Шлем дадим!

— Минутку — мало, — сказал Феликс, надевая шлем.

— Ладно, скажешь, когда хватит! — Тренер стал выпускать против него ребят потяжелее, которые шлема не надевали, расценивая все, как спортивный водевиль.

Загадочный Гетман, думая о своем, класса не показал: шел на обмен ударами, по корпусу почти не бил, пропустил несколько плюх. А все же его противники почувствовали: обижаться не на что — парень свое дело знает. Но самую крупную порцию получил Валентин, так, что добавки не попросишь.

Феликс, ныряя под правый встречный, стал слева колотить того по печени, и когда он приучил противника к такому однообразию (Валентин стал бить с отходом, обстреливая голову Гетмана прямыми), произошло некоторое изменение: Феликс запустил серии прямых с завершающим справа или слева сбоку. Одним из них он и уложил Валю, хотя тот был в шлеме.

— Попал я ему все-таки в роговой отдел, — сказал мне тогда Гетман. — Тренер потом что-то бормотал, провожал до метро, о родителях спрашивал, приглашал к себе... Я не пошел, — закончил Феликс: — Рожа у него тупая и книг не читает.

Видно, Фела вспомнил о смерти гетмана Мазепы, который погиб на дуэли с Тарасом Бульбой.

ПОКРАСС Геннадий — родился в Москве в 1933 г., 15-ти лет поступил в Саратовское военно-морское подготовительное училище в г. Энгельсе, откуда был направлен в ленинградское Высшее военно-морское училище подводного плавания. Окончил его в 1956 г., в 1958-м был уволен с Черноморского флота. Окончив затем факультет журналистики МГУ и аспирантуру кафедры русского языка, работал редактором в технических издательствах. В 1976 г. эмигрировал, живет в Лондоне.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Почетный директор Зинаида Шаховская

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250
Сев. Африка,			
Греция, Турция,			
СССР	56	102	190
Иран	64	118	215
Австралия, Китай,			
Япония	95	180	340

ИЗ КНИГИ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Верю в Бога, потому что верю,
Потому, что жизнь иначе — смерть!
Потому, что горы, травы, звери —
В землю обратившаяся твердь.

Потому, что любим мы друг друга
Несмотря на ненависть к себе,
Потому что квадратура круга
Чудо в человеческой судьбе.

Потому, что реки, степи, рощи
Никаким числом не побороть,
Потому, что рифмы нету проще,
Чем Господь и немощная плоть!

1970

* * *

Я тот поэт, которого не слышат,
Я тот поэт, который только пишет,
Который сам себе стихи читает,
Которого поэтом не считают.

И, земнородный, я впитаюсь в землю,
Суду глухому мертвым ухом внемля:

Напрасно исходил по каплям кровью
Иль безответной счастлив был любовью.

1970

* * *

Дай спасенья, Боже Сил!
Я о большем не просил.
Чтоб, клонясь как спелый колос,
Голосить молитвы в голос.
Нет, не говорить... — Творить!
(Словно жилы отворить...)

21. 4. 72

* * *

Ночник освещает дневник:
Стихи, сочиненные за день.
Откуда я утром возник?
Чьей волей у смерти украден?

Воскреснул помимо Креста...
(Страшнее всего, что — помимо.)
И клетка грудная пуста,
Гордынею необорима.

Куда нам на воле лететь
В пространстве бездонного неба?
Волу подъяремному плетъ
Нужнее насущного хлеба.

Кто вырвался — с миром порвал.
Душа, будь Христа крепостная...
Иная свобода — провал;
Паденье, которое знаю.

11. 6. 76

* * *

На рассвет помолясь торопливо,
Восходящему солнцу сродни;
Благодарность, что мы еще живы —
Что под небом с тобой не одни,
Ты к молитве присоедини:
В ожидании сердца разрыва
За блаженные ночи и дни!

Я не знаю, я чувствую только
Этот выдох от края земли...
О, спасибо! Не больно нисколько,
Слезы сами к глазам подошли.
Если можно, блаженство продли! —
В миг последний — сверкнувшую дольку
Лица Божьего в райской дали...

25. 10. 75

* * *

О, да воскреснет всех усопших прах!
Пусть смерть с косою сидит на черепах их.
Не шар земля, она — на трех китах,
Придуманная Богом черепаха.

Кит первый — верность. Мужество — второй.
А третий — бесконечная надежда.

Сто тысяч раз глаза мои закрой —
Сто тысяч раз любовь откроет вежды.

Все, что мы знаем о Николае ШАТРОВЕ, уместилось в датах его рождения и смерти: 1929—1977, — стоящих над присланной нам машинописной книгой его стихотворений. Да в самих стихах — видимо, собранных после его смерти любящей рукой: от юношеского, в 18 лет написанного «Аполлоний Тианский», от «Молитвы» 1951 года до того, последнего и в книге, и в нашей подборке, под которым нет даты.

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

ПРОЛОГ

В негнущихся пальцах держа карандаш,
попробую с шепотом бриза,
грядущему обзору, разобрать ералаш,
где брошена дали реприза,
где в августе стонет устами степей
устав истомленной истомы,
когда, исполинских знаток пропилей,
ты дружен с обителью дремы.

Простор не букварь, где латиница скал
с кириллицей цепких селений
в сцепленье начал образуют провал
условий и правил Вселенной, —
и слова кремень высекает огонь,
и, видно, не в букве закона
искомость икон да исконность погонь
давно меж собою знакомы.

Язык не замок, но речей Зодиак —
и круг дарований безмерен,
когда постигаешь Божественный знак
и в шаге и жесте уверен,
и если дыханье дано для того,
чтоб в теле, обретшем движенье,
являлось желание петь, — для него
ты ведаешь мира круженье.

И, если Восток начинает восторг,
а Запад его завершает,
наверное, день и для Юга исторг
лишь то, что сомненья решает,
а Север как сон, где изведанный звон
когда-нибудь нас успокоит, —
поэтому разум земли и резон
и жизни и музыки стоит,

Настолько мне крылья порой тяжелы,
настолько легки воспаренья,
что в сущем бреду, как летают орлы,
иль ведаю трав снотворенье,
иль, дерево тронув, стволами расту,
иль страны в кострах различаю,
подобен рассвету, когда на мосту
струение рек привечаю.

И пальцы все гибче за звуком идут
по клавишам наших скитаний,
и соль славословий не сложность минут,
и суть не в налицье литаний,
и ясных небес расцветает хорал
в любви и величье мученья —
ты это обрел, а потом растерял —
и снова грядет обретенье.

1978

* *
 *

Тельце свирели в горячей руке
да посошок на пустынном песке —
вот они, спутники певчего, —
если же нет на песке посошка
и не удержит свирели рука,
в музыке делать вам нечего.

Песня свирели светла и тонка,
сыплется легкий снежок с посошка
вечером, дивным и чающим,
сердце трепещет над стаями птиц,
что над ступенями, шире границ,
сами летят к обретающим.

Путь улетающих — звездный ли час?
нет над забвением ищущих глаз,
только провал да сияние,
только свирель в переливах огней,
чтобы, в душе отзываясь полней,
преодолеть расстояние.

Странник ночной, посошок-хлопотун!
ты ль не спешишь из приюта в канун?
все литургии ли выстоял,
все ли пески прошагал у воды,
все ли белы приметил следы
в мире, где дома не выстроил?

Розу — свирели, полынь — посошку,
песне — звезду, и пустыню — песку,
птице — пристанище смелое, —
вот что дарю вам, родные мои,
здесь, в озаренье, где счастье любви —
днесь достояние целое.

1978

ОБЛАКА

Памяти Галича

День ли прожит и осень близка
или гаснут небесные дали,
но тревожат меня облака —
вы таких облаков не видали.

Ветер с юга едва ощутим —
и, отпущены кем-то бродяжить,
ждут и смотрят: не мы ль защитим,
приютить их сумев и уважить?

Нет ни сил, чтобы их удержать,
ни надежды, что снова увидишь, —
потому и легко провожать —
отрешенья ничем не обидишь.

Вот, испарины легче на лбу,
проплывают они чередой —
не лежать им, воздушным, в гробу,
не склоняться, как мы, над водою.

Не вместить в похоронном челне
все роскошество их очертаний —
надышаться бы ими вполне,
а потом не искать испытаний,

Но трагичней, чем призрачный вес
облаков, не затмивших сознания,
эта мнимая бедность небес,
поразивших красой мирозданья.

1979

БЫТЬ МУЗЫКЕ

I

Из детских глаз, из вешнего тепла
восходит это чувство над снегами —
и если жизнь к окошку подошла,
быть музыке и шириться кругами,
быть музыке великой и звучать,
так бережно и пристально тревожа —
и если ты не знаешь, как начать,
то рядом та, что к людям всюду вхожа.

II

Быть музыке — попробуй повторить
лишь то, что в почках прячется упорно —
и если мы умеем говорить,
то этим ей обязаны, бесспорно, —
попробуй Расскажи ей о листве —
нахлынет и в наитье не оставит
молением уст, не сомкнутых в молве,
покуда мир иную почву славит.

III

Седеют волосы — и сердце сгоряча
забьется трепетно и жарко
в неизъяснимости поющего луча
подобьем Божьего подарка —
и мы, живущие, как птицы, на земле,
щебечем солнцу гимны без надзора,
покуда изморозь, как жемчуг на челе,
не станет вдруг порукой кругозора.

IV

Быть кровной связи с вещим и живым,
быть нежности, что время не нарушит,
склонясь наставником к постам сторожевым,
где добрый взгляд который год послужит,
где имя верности сумеем прошептать —
разлуки минули и полнятся кладбища —
а срок отпущенный успеем наверстать,
как тени, навещая пепелища.

V

Но Муза кроткая не так уж и проста,
души заступница, — и, боль превозмогая,
идем за ней к подножию креста —
благослови, подруга дорогая!
не забывай меня! — я нынче не клянусь,
но свято верую в старинные обряды —
и если я когда-нибудь вернусь,
пусть очи вспомнятся и руки будут рады.

VI

Пусть в этой музыке, где полная луна
сияет медленно под сенью небосвода,
беда-разлучница поет, отдалена,
не требуя для песни перевода,
пусть вызов счастья в неистовых звездах
звучит без удержу — дарованное право,
подобно яблоне в заброшенных садах,
само не ведает, насколько величаво.

VII

Пусть вызревающая семенем в ночи
исходит суть от замысла и риска,

покуда нам не подобрать ключи
к чертогу памяти, затерянному близко, —
прости, отшельница! — пусть странными слывем,
но дух все выше наш, хоть плоть нагую раним, —
почти отверженные, мы переживем,
почти забытые, мы с веком вровень встанем.

1980

РОДИНЕ

Ты одна в этом мире цела,
словно искры несущее пламя.
Столько лет пониманья ждала —
и теперь твое небо над нами.

И теперь не твоей ли землей
засыпают закрытые очи
тех, кто свет незапамятный твой
отыскивали в бессонные ночи?

А потом — но еще позови,
но еще испытай ненароком,
оживая в сыновней любви,
исцеляя в порыве широком.

И тогда поднимусь и пойму,
что тебя, как никто, я увижу,
что невысказанно быть одному,
если столько сердцу все ближе,

если столько Верой Святой
озаряемо в муках бывало,
чтоб сбылась ты не только мечтой,
но величье душе даровала.

И тогда — донесется ли весть
на твое соловьиное вече,
ты останешься тем, что ты есть —
заповедным урочищем речи.

1979-80

БАЛЛАДА О ГАДКОМ УТЕНКЕ

Произнесено при вручении премии «Грицане Кавур»

С тех самых пор, с каких я себя помню, меня подгоняла мечта стать писателем. Я не мыслил для себя иного дела или другой судьбы. С точностью до одного дня я даже могу теперь определить, когда это во мне зародилось: семнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года. Я учился тогда во втором классе начальной школы, но именно в тот день по случаю болезни оставался дома и, сидя на освещенном солнцем подоконнике, вдруг сочинил стишок, который оканчивался, как говорится, простенько, но со вкусом: «В этот день сентябрьский и солнечный Красна армия пришла в груди с Вождем». Дело в том, что в это утро по радио было объявлено, что советские войска «освободили» Западную Украину и Западную Белоруссию, а попросту говоря, захватили значительную часть Польши.

Так что, как видите, начало у меня было весьма многообещающим. На этой большой дороге литературного разбоя, в царивших тогда в стране условиях добиться можно было ой как многого!

К слову сказать, в те поры отец новоявленного сочинителя, готового выйти с поэтическим кистенем на первый же политический перекресток, тянул срок где-то в районе бухты Нагаево, а мать — секретарша из горючистки — еле-еле сводила концы с концами, воспитывая двух оставшихся у нее на руках детей, и дрожала каждую ночь в ожидании высылки из Москвы, как жена врага народа.

Но таково уж было состояние души и ума начинающего автора (да и не его одного!), что по сравнению с разверзшимися перед ним возможностями все это выглядело пустыми случайностями, не стоящими даже разговора.

Потом было многое: бродяжья юность, тайга и степь, детские колонии и психбольницы, колхоз и газета, а следом за этим — плохие стихи и халтурные переводы. Как говорится, грешил и каялся, грешил и каялся, и снова грешил, и снова каялся, пока самому стало невмоготу. «Какой же ты гадкий утенок, Максимов, — услышала я голос, — лебедя из тебя все равно уже не получится, но ты хотя бы попробуй, на душе легче станет!»

И тогда я сказал себе: «Хватит, иначе мне самому придется плюнуть себе в рожу!»

Для начала я напился до потери сознания, а когда наконец, после долгого бреда, проснулся, то понял, что утратил свое старое сознание на веки вечные. После чего я сел и написал свою первую честную книгу. Она называлась «Баллада о Савве».

Лебедем я уже действительно никогда не стану, но я все же буду стараться: так мне будет легче дожить свой век.

Благодарю вас за то, что вы, хотя бы и двадцать лет спустя, но оценили, я думаю, не столько мою книгу, сколько вот этот мой тогдашний посупок, сделавший меня не лебедем, нет! — но человеком.

Владимир МАКСИМОВ

Круг рассказчиков

Юрий Г а л ь п е р и н

ЗА ОКНОМ И ПОД ОКНАМИ

На девятый день после похорон отчима мать позвонила Алексею утром и попросила приехать пораньше — помочь сводной сестре подготовиться к встрече родных.

— Лиза едва на ногах держится, — сказала она.
— Все эти ночи возле меня.

— Как ты? — спросил Алексей.

— Ну как я могу, что ты спрашиваешь, — сказала она.

— Извини, мама. Я приеду.

В строгом костюме из шерсти — не выходном, но очень удобном каком-то костюме (Алексей себя уверенно в нем чувствовал) — он шагал под солнечным небом августа, разглядывая в зеркальных стеклах витрин свою невысокую, но ладно скроенную фигуру.

Ему предстояло пройти четыре остановки по бульвару.

Если бы не давка в троллейбусе, Алексей с большим удовольствием поехал бы, глядя на публику под липами сквозь пыльное стекло. Но, развернув левое плечо вперед, застегнув пиджак на среднюю пуговицу, превосходно обгоняя попутных пешеходов, он пронизывал поток встречных, на ходу сторонясь и почти брезгливо замирая в предощущении соприкосновений, проходил сквозь толпу, никого не касаясь, как бы от-

гороженный от окружающих. Пыль не успевала осесть на его начищенные до матового блеска туфли.

Взгляды прохожих, привлеченные некоторой необычностью темного костюма для установившейся жаркой погоды, — среди людей в летних платьях и рубашках без рукавов он, действительно, выглядел странно, — проникали за стекло его холодной витрины. Тогда он мгновенно радовался этому почти подтверждению его непричастности к летней суете дня, улицы, бульвара, города и мира, находя в той непричастности некий оттенок проявления долга по отношению к человеку, пытавшемуся заменить ему отца. И одновременно он был доволен: вполне сносно удалось выполнить обязанности мужчины в семье — организованные Алексеем похороны отчима прошли торжественно и четко.

Отворив незапертую дверь маминой квартиры, он оказался в душном сумраке коридора. Из кухни доносился запах печеного теста.

Мимо приоткрытой двери в комнаты Алексей прошел в маленькую кухню и остановился на пороге, ладонью стирая со лба испарину.

Сестра Лиза вынимала из духовки лежавший на масляном противне маковый пирог.

— Лешечка, наконец-то! — сказала она, вытирая руки о край свежего передника.

На славном и замечательно румянном лице ее, двадцатитрехлетней матери двух детей, несколько округлом, как и лицо самого Алексея, его матери и деда, сводный брат разглядел зеленые тени усталости и некоторое движение улыбки и жалобы, означавшее просьбу:

— Хлеба вот нет, оказывается, не запаслись. И водки еще надо прикупить. Знаешь, в ближних магазинах бутылки только с красными этикетками, а я в угловом брала, там черные с золотым.

— Мелочи, — отмахнулся Алексей.

— Черные уместней, Леша, — сказала сестра. — Иди в комнату, к маме. Я сейчас.

— Хорошо выглядишь, несмотря...

Она взглянула виновато.

— Как мама? — спросил он, поворачиваясь уходить.

— Сегодня спала... Ты проходил через двор, ничего не заметил?

— Нет, кажется.

— Спроси маму, она покажет. Там, за окнами — цирк.

Обычная гостиная малогабаритной квартиры типового дома, с его низкими потолками и тонкими стенами-переборками, была загромождена мебелью: массивный шкаф черного дерева с резьбой ручной работы по фронтону; неширокий, но вместительный книжный, значительной высоты (обложки «Исторического вестника» и «Нивы» за пыльными стеклами, а сверху перевязанные бечевой кипы теперешних изданий: «Вопросы археологии», «Вопросы философии» и т. д.); бюро — в студенческие времена Алексею приходилось за ним работать — с громоздкими подсвечниками из нестареющей бронзы; кресло-качалка у окна, покрытое вытертой медвежьей шкурой; справа вдоль стены: горка работы Гамсуна или Кольбера, очень длинная, с лебединым выгибом углов и плавным падением линий середины, заполненная посудой — стекло и недорогой хрусталь, но среди неровных тарелок «общепита» довоенных времен попадались еще и кузнецовские, и стояли чашки китайского фарфора. А также: маленькая расколотая фисгармония, пригодная и хорошо настроенная (отчим играл до последних дней), с вращающимся, черного лака, стулом возле; и у самой двери опять — глухой и неинтересный шкаф.

Середину гостиной, оставляя немного свободного пространства, занимали стол о шести ножках и шесть

стульев с высокими готическими спинками и плетеными, кое-где прорванными сидениями, расставленные в строгом порядке. Еще два стула стояли по углам, а на девятом, рядом с креслом-качалкой, возвышалась финиковая пальма в кадке, протяжные листья которой зелеными веерами колыхались перед раскрытым окном.

Мать Алексея, Мария Васильевна, еще молодая лицом и стройная телом женщина в строгом сером платье с черной отделкой и в замшевых, тоже черных туфлях, стояла у кресла, уперев колени в низкий подоконник. Траурная накидка из гипюра ниспадала с ее плеча.

Повернув к сыну белое, с покрасневшими веками и тяжелыми фиолетовыми подглазинами от многих слез лицо, вместо приветствия она подозвала его к себе:

— Леша, взгляни, что делается. Сумасшествие какое-то... Ты посмотри!

Из мрака гостиной Алексей выглянул в солнечный двор.

Под окном, на асфальтовой площадке, стоял белый жигуленок шурина. Маленькие дети мирно играли возле колес. Мальчишки постарше заглядывали через боковое стекло, пытались разглядеть цифры на спидометре.

Дальше начинался двор: невысокие, но раскидистые липы, кусты шиповника, редкие и чахлые, на газонах, затоптанных детворой; в глубине просматривались деревянные грибки, обитые проржавленной жестью, зимняя горка в виде рыбы-великана и бетонный слон.

Слева, близко от окна нависала деревянная галерея, проходившая вдоль фасада двухэтажной каменной пристройки, занятой под детские ясли. Оттуда раздавались крики детей и женские голоса. Две девушки, совсем молодые, в белых косынках и халатах, выбе-

жали из двери на галерею, чем-то громко возмущаясь, размахивая руками.

— Не там, — сказала Мария Васильевна. — Направо взгляни.

Справа, за низкими деревьями, возвышался обыкновенный, кирпичный, такой же пятиэтажный дом, ничем не примечательный, с голубыми цветочными ящиками на карнизах.

Алексей вдруг заметил, что мальчишки, возившиеся у машины, неожиданно распрямились и, как по команде, задрали головы. Проследив их взгляд, а также направление взглядов, окриков, увещаний, исходивших от девушек на галерее, соединив эти два луча у раскрытого окна на четвертом этаже соседнего дома, он увидел худого мужчину в синих сатиновых трусах, сидевшего на карнизе, свесив ноги вниз, пьяно покачивавшегося, — неверными руками он пытался держаться за край створки оконного переплета.

Девушки заметили Алексея и призывно обернулись.

— Еще не хватало, — сказал мать, — отойди от окна.

— Упадет сейчас, — закричали девушки с галереи. — Что делать? Придумайте хоть что-нибудь!

— В какой квартире он живет? — неуверенно спросил Алексей.

— Уже ходили — не открывает.

В это время человек в окне — по-видимому, сидеть на жестком карнизе было неудобно. — попытался переменить положение и, выпустив край створки из рук, встал на колени, повернувшись к публике спиной. Дружное «ах!» упало с галереи и из окон ближних домов.

— Надо пожарным сообщить! — крикнул Алексей. — Пусть снимут.

— А какой у них номер?

— Позвоните дежурному — 01.

Одна из девушек подтолкнула подругу к двери, но та упиралась, все не шла, отказывалась звонить одна, на галерее ей было интересней.

— Дождетесь, что упадет, — закричал им Алексей, но увидел рядом на подоконнике поблескивавший белым диском телефонный аппарат и уже тихо, несколько неуверенно добавил: — Позвоните же, хоть кто-нибудь.

— Убери с подоконника телефон, — сказала мать. — Упадет — разобьется... Господи, до чего эта водка доводит людей!

— Мамочка, тебе бы прилечь, — сказала Лиза, входя в комнату. — Скоро люди придут.

Мать прикрыла окно и направилась в спальню, осторожно скользя за спинками стульев вдоль книжного шкафа и платяного. На пороге она оглянулась:

— Дети, не стойте у окна.

— Понравилось? — спросила сестра. — Это Акробат, его во дворе так прозвали. Напьется и вытворяет... Не смотри, без зрителей он успокаивается быстрее.

— Сорвется когда-нибудь.

— Конечно, сорвется, — уверенно сказала сестра.

— Триста граммов масла, ванилин, круглого пару буханок...

— Зачем так много?

— Не перебивай... Водка есть — две бутылки хватит?

Сестра приоткрыла поцарапанную дверцу холодильника. На льду лежали длинные прозрачные бутылки с бесцветной водкой. Этикетки, действительно, были торжественно-траурные — черные с золотым.

— Наклейки, — сказал Алексей. — Какой смысл?

— Не хочется идти? — спросила Лиза. — Неужели трудно?

— Схожу, схожу. Успокойся.

— Игорь, — сказала о муже сестра, — после похорон до утра глаз не сомкнул. А ты... Ты! — из ее удлинненных карандашом чуть раскосых измученных глаз выкатились две слезы. — В тот вечер куда поехал, к ней?

— Ревнуешь?

— Замолчи...

Алексей снял с крючка за кухонным буфетом капроновую сумку, на всякий случай потрогал карман пиджака, где обычно лежал подаренный, привезенный отчимом из Кабула кожаный бумажник, потрепал сестренку по щеке:

— Мы дети одной матери.

— И отца? — неуверенно тихо спросила Лиза.

— Да, — смутился он. — Конечно, — солгал и в наклоне поцеловал ее в губы, смятая рукой жесткий воротник платья. — И отца.

Взволнованный поцелуем, осознавая горький аромат миндаля — вкус ее губ, — Алексей спустился по лестнице, забыв о человеке в окне. Выйдя во двор, он пнул ногой вывернутое колесо жигуленка и свернул на тропинку под деревьями.

Но вдруг — вопль, мгновенно показавшийся ему похожим на вопль трибун стадиона, возвратил его к реальности солнечного бытия.

Алексей вскинул голову, будто уже зная, куда смотреть: распластавшись по вертикальной, хорошо освещенной стене силикатного кирпича, извивалось голое человеческое тело, — зацепившись пальцами за край окна, вырываясь из трусов и обдирая колени о неровную расшивку каменной кладки, повиснувший на высоте четвертого этажа человек безуспешно пытался подтянуться и влезть в окно.

Оценив площадку в радиусе возможного падения — затоптанный газон с колючим шиповником и необыкновенно широкая цементная отмостка, — Алек-

сей до мельчайших подробностей вдруг увидел, представил, угадал у стены уже распростертое, неподвижное тело пьяного Акробата и его разбитую голову, и забрызганный кровью бетон.

Одновременно перед ним встало неживое, тронутое зеленоватыми подтеками лицо отчима с влажным от многочисленных поцелуев бумажным венчиком на лбу во время отпевания, заказанного по просьбе его престарелой матери в скромной кладбищенской церкви после митинга и панихиды в институте. Он вспомнил высокое лицо священника. — каштановая борода, нелепо голубое одеяние с золотым шитьем, — его ласково напевный вологодский голос: «Господу помолимся...», мелькавшее в руке кадило. Сладковатый аромат ладана смешивался с незнакомым запахом, мутным до тошноты, может быть, трупа.

И тогда Алексей, подавшись неожиданно рухнувшему, ударившему тяжело страху, побежал: «Не видеть... Не видеть... Домой».

Но он задохнулся на первом прыжке и на подкосившихся неверных ногах ввалился в парадную, преследуемый почти единственной и детской надеждой, что и его самого никто не видит, совсем никто. Откинул вторую дверь и упал на ступень.

Зрители в окнах напряженно молчали.

— Еще не всё... Закричат — тогда всё, — подумал лихорадочно Алексей.

И от того ли, что смог он так подумать, — сбивчиво, растерянно, но смог, — или ещё почему, страх потеснился в нем.

Влажный камень охлаждал колени через шерстяную ткань костюма. Камень был тверд и гладок. Алексей потрогал рукой. Цементная отмостка под окнами была тверда и шершава. А розовое человеческое тело — сестры, Акробата, его собственное тело, — оно было незащищенно. Податливая и хрупкая божественная глина.

Алексей осознал материал.

То, что из окна представлялось забавным — ровная полоса бетонных плит вдоль стены геометрично оттеняла зеленый газон, а неверные движения фигуры на краю (оказалось, что человека) щекотали нервы остротой ощущения, то, что казалось зрелищем, развлекало, как азартная игра, как мускулистые шеренги гладиаторов на белом песке далекой арены, как перестрелка на мелькающем экране телевизора под ровный голос диктора, перечисляющего потери в сводке с полей чужой войны, — все это вдруг опрокинуло его.

И ещё он тут понял и внезапно, и медленно, и глубоко до содрогания, что ведь на что он надеялся: ведь не на то, что удержится Акробат, не сорвется все-таки, не упадет, а только чтобы не на глазах, чтобы не забрызгало память кровью, чтобы... Не об Акробате, пьянице несчастном, молил, не о том, как остался бы тот в живых, а только о себе. О себе.

Мысль эта режущая на мгновение разорвала его сознание, как зазубренный клинок разрывает крепкое и нежное перед сталью тело. И кроме, он представил, увидел, узнал перед собой смуглую, идеальной формы с длинными пальцами руку, похожую на руку Елизаветы — сестры, такую же шершавую от бесконечной стирки детского белья, и понял ещё, что невысказанно ему увидеть эту руку, такую всегда живую, ласковую или нервную, вдруг безжизненной, вдруг... «Но рано или поздно мы все...» Нет, он не мог. Он тряхнул головой.

— Неужели все-таки упадет! — опять подумал Алексей. — Выйду сейчас. А он упадет и разобьется. Упадет, разобьется... Нелепо. И я увижу... Удар, как мягкий шлепок, кровь — на всю жизнь подробности. Картина будет мучить кошмаром. Ведь я ничегошеньки не сделал. Не попытался. Хотя бы трубку снял, позвонил в милицию или пожарным: приезжайте,

мол, снимите. Позволил матери окно затворить... Отгородился.

Он встал с колен.

— Отгородился! Ведь я от всего отгородился!

Алексей поправил зачем-то при бегстве расстегнувшийся пиджак, вышел из подъезда, виновато потупясь. Но заставил себя поднять голову и посмотреть наверх.

Человеку на стене удалось подтянуться: упершись босой ногой, он влезал к себе в окно.

— Милиция сейчас приедет, — дружно закричали девушки с галереи. — Надо только, чтобы он с окна ушел.

— Какая квартира? — спросил Алексей.

Бросив сумку на чахлую траву газона, в несколько уверенных прыжков он пересек двор и ворвался в подъезд дома напротив, где находилась квартира пьяного Акробата. Спотыкаясь о ступени лестницы, он взбежал на четвертый этаж и, переведя дыхание (куда девалась подготовка спортсмена!), надавил пластмассовую кнопку и нервно, прерывисто зазвонил.

Дверь долго не отпирали. Наконец, послышались шаркающие шаги, и запинаящийся нетрезвый голос спросил:

— И... кто?

— Открывай, — стараясь говорить грубо, потребовал Алексей и ударил каблуком в дверь. — С петель сорву!

— И-и-иди ты, куда знаешь...

— Ну, держись! — взревел Алексей и, что было силы, грохнул ногой.

Пыль и белая известка посыпались со стены.

— З-зачем так? — удивился хозяин квартиры.

— А зачем в окно лез?

— Т-тебе что!.. — упирался Акробат.

Алексей припомнил физиономию в окне и поду-

мал: если тот вдруг и откроет дверь, то что с ним делать. Но все же сказал:

— Сейчас выломаю, с топором пришел!

— П-погоди ты, п-погоди... Ежели баба моя увидит, что дверь сломатая, она меня убьет.

— Тогда сам открой.

— Н-и-и... Да мне ее и не открыть-то, баба на работу ушла — заперла, и ключ с собой.

Допуская, что отчасти уже протрезвевший Акробат не врет (а может, и врет, но все-таки протрезвевший), Алексей под дверью притих. Прикинув «за» и «против», он повернулся и напоследок крикнул тоже притихшей двери:

— Только сунься на подоконник — выломаю точно.

— И-иди, иди, я на табуреточке посижу, — пробурчал присмиривший Акробат.

— На табуреточке посиди, — разрешил Алексей.

Светило солнце. Продолжалась чудная августовская погода. Но Алексей стоял среди деревьев двора, один под окнами. Он невесело шурился, глядя на солнце в переплетении ветвей. И листья казались ему черными.

Окна маминой квартиры по-прежнему были занавешены белыми шторами. Девушки загорали на галерее. Мальчишки за кустами играли в басмачей. Внешних изменений не случилось. Мир остался прежним, — это обнадеживало.

Успокаиваясь, Алексей подобрал прутик с земли и заметил походную колонну муравьев, пересекавшую бетонную дорожку. Проследив их движение, он обнаружил на газоне, под грязной, размытой дождями бумажкой от мороженого небольшой муравейник. Алексей прежде не догадывался — и в голову не приходило, — что муравьи могут жить в городе, рядом, передвигаться через проезжую часть колоннами, воевать между собой двор на двор.

Он подумал, что прежде здесь был лес. Берег моря. Болота. В лесу, на берегу моря, на болотах поставили дома, поселились люди, прижились. Родился он, Алексей. Вот где он живет — у моря. А под ногами топь.

Ему показалось, асфальт прогибается, словно гать. Он вздрогнул. Мимо, блеснув на солнце слюдой крыльев, прошелестела стрекоза. Узор пыли на листьях подорожника казался кружевом.

Мир открывался в забытых подробностях.

Алексей неожиданно вспомнил: прошлой осенью он возвращался из Сухуми на самолете в такую же вот ясную погоду, и земля глубоко внизу, вся в желто-бурых пятнах октябрьских лесов, оловянно отсвечивая изгибами рек и лужами озер, исчерченная правильными линиями полей и извивами дорог, — она показалась ему дном. Он подумал тогда, что вот так же мелькают белые камни, чернеет трава и светится песок на пятиметровой глубине, если плыть по спокойной прозрачной воде. А зыбкое изображение внизу дрожало, отделенное от глаза двойным стеклом иллюминатора и почти девятикилометровой толщины слоем текущего воздуха, искажалось в теплых струях газа за турбинами, ревевшими на крыле, — четырехмоторный ИЛ, вращая винтами, содрогаясь от напряжения, прорубался в густой и упругой среде.

И теперь, присев на каменный поребрик тротуара, Алексей обнаружил себя на дне этого бесконечно высокого моря, увидел рядом деревья-воздухоросли и вспомнил тесную, прежде такую уютную гостиную-раковину. И бледное мамино лицо. И слезы сестры.

— Милые они мои, — подумал он о матери и о сестре, вдруг понимая, почему так безжизненны и мертвы были вещи в комнате, когда он вошел: и книги, и фисгармония, и бюро. — Как же они теперь будут? Ведь не стало... — подумал Алексей, чувствуя,

как пустеет и становится меньше мир и он сам. — Этот человек пытался быть мне отцом... Отец!

Но отчима уже не было.

Алексей напрягся, чтобы восстановить образ, живое его лицо. И он вспомнил себя мальчиком, ещё первоклассником, восседавшим на твердом кожаном плече Лизиного отца.

Они приехали к реке смотреть салют. Толпа обтекала черный «ЗИС», застрявший у тротуара. Мать и трехлетняя Елизавета остались в кабине с шофером.

— Лешечку своего взял, а меня не берешь, — заплакала сестра.

— Алексей мужчина, ему надо вперед, — сказал отчим и закинул его (мальчишку) на плечо.

Расступились курсанты в черных шинелях, пропуская их сквозь оцепление. Внизу, за парашютом плескалась вода. Скрипело хромовое пальто. И вдруг...

Ослепленный и оглушенный, Лешка птицей рванулся с плеча и забился в сильных руках, подхвативших его на лету.

— Крепись, сынок... Крепись, — услышал он глухой и спокойный голос и в неверном свете падающих зеленых и белых огней увидел под съехавшей на затылок военного образца полевой фуражкой неровное лицо, грубоватое по форме, суровое и простое в доброте.

И только теперь Алексей понял: «Это был человек. И они жили рядом. Столько лет... Как рано все и как нелепо... Когда бы это ни случилось — всегда рано...»

Он уткнулся головой в белый, нагретый солнцем бок жигуленка, в то время как на втором этаже, в кухне, распахнулось окно, и сестра, перегнувшись через подоконник, выглянула в сад:

— Леша, вернулся? Что же ты сидишь, иди домой.

СТИХИ

Рина Л е в и н з о н

* * *

Все праздник для слуха и зренья —
Герань под окошком чужим,
И розовых птиц оперенье,
И дом деревянный, и дым.

Пустяк — а уж дух захватило.
До боли знакомый попух
Из детства.
Чтоб сердце щемило,
И пело о Родинах двух.

* * *

Я помню этот свет лесной,
И светлячка во тьме.
И то, что было не со мной,
То было ли вообще?

И этот лунный круг ночной,
Событья, города...
Все не описанное мной
Исчезнет навсегда.

* * *

Плохо ли, хорошо ли
Создана эта земля.
Что остается от боли
Да и от счастья?

Зола.

Что от судьбы остается?
Господи, как ни кружись,
Только снижается солнце
И завершается жизнь.

И лишь в конце крутоверти
Видишь, как жизнь хороша.
Что остается от смерти?
Может быть, жизнь и душа?

* * *

Как странно, что не повторится
Вновь этот вечер никогда.
Полупрочитана страница,
Полуугадана беда.

Еще и жизнь наполовину,
Еще полвдоха, полчерты.
И дышат за окном цветы,
И темень падает в долину.

И поднимается внутри
Там, между сердцем и гортанью
Какой-то страх.

И бормотанью
Стреножит связки до зари.

* * *

Смещение полюса и ритма,
Потеря голоса опять.
Душа ль стреножена,
 иль битва
Проиграна.
 И не понять.

И стерта музыка и дата,
Жизнь высохла на сгибе лет.
Жить — странный опыт.
 Результата
Здесь —
 нет.

Рина ЛЕВИНЗОН — родилась в Москве. Жила в Свердловске, где закончила Институт иностранных языков и начала печататься («Урал», «Юность», «Нева», сборники молодых поэтов). Автор книги стихов для детей.

С 1976 года — в Иерусалиме. Здесь изданы две книги лирики: «Два портрета» и «Снег в Иерусалиме». Печаталась в журналах «Время и мы», «Сион», «Возрождение», «Русский голос в Риме», «Мознаим». Преподает английский язык в школе. В 1981 году вышла книга ее стихов в переводе на иврит.

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Коллодиум катка двоится в амальгаме, —
Над ветровым стеклом — оцепенелый лист, —
Мир зрим во все концы, — где кружится, как в раме, —
В остатках воздуха последний фигурист.

Он обретёт себя в тоске неистребимой
В часы, когда гудит от ветра голова, —
И невозможно жить, — и для своей любимой
Искать ненаходимые слова.

1959

* * *

Когда скуют поля безжизненные воды
На площадях лесов, на берегах морских, —
Последнее тепло исходит из природы, —
Мы ищем теплоту в дыханиях людских.

И принимая мир, и постигая Бога,
Соединяя бред с брожением крови
В пожизненный инстинкт, ведущий нас до гроба, —
Мы создаём себе мистерию любви.

1960

* * *

Когда нас в ночи настигало сомненье,
Что брренное время в набеге беспечном
Нам дарит лишь мужество и озаренья, —
Мы делались проще и человечней.

И кто понимал, что безвылазный плен
Поил нашу боль и стирал нашу гордость,
Что боги за наше страданье взамен
Отдали безумию вечную молодость?

Бездомные, дивные, юные годы,
Сияя в сердцах, составляли наш хлеб, —
Лишённые радости, сна и свободы,
Мы бились в железные клетки судеб.

Но глядя в себя, — мы себя растеряли —
Незримые слёзы, жестоко горча, —
Сжигали нам души, когда их глотали.
...И время несло нас с собой, хохоча.

1961

* * *

Когда в полночном грозном браке
В потустороннем вешем сне, —
Мир ощущает в глубине
Приливы чувств моих во мраке, —

Судьбой я обречен какой
Под сенью сна — мечты о смерти —
В кошмарных превращениях тверди
Искать забвенье и покой?

1962

* *
 *

В развернувшейся коловерти,
В отвергнувшейся пустоте,
На грани жизни, грани смерти,
В осуществившейся мечте, —
Преображенья на пороге,
В предощущенья волшебстве,
В непроторимой путь-дороге
В случайном мира веществе.

1964

Леонид ЧЕРТКОВ — родился в 1933 году в Москве. Учился в Библиотечном институте, но на последнем курсе, в 1957 г., был арестован и осужден на 5 лет. После освобождения окончил Ленинградский пединститут. Специалист по русской литературе XX века. С 1974 года в эмиграции. Выступает в печати преимущественно как литературовед. Прозу и стихи публиковал в журнале «Ковчег» (№№ 1, 2, 4).

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Как неправильно это,
что весь горизонт окольцован
перстнем бывшего солнца,
которое запад унес, —
сохранялась всего лишь
полоска закатной подковы,
а с востока на небо
вечерний ложился начес.

И казалось, что если
посмотришь на дым золотистый,
на опал драгоценный,
на полуовал, полунимб, —
то из дальнего света
каким-то манером лучистым
заблистает надежда,
которая снится больным.

Мы б тогда перестали
слоняться, как сбитые с толку,
и при этом гадая,
а свыше ли так суждено:
забывать, как и прежде,
о сладости братства и долга, —
не живя, а дрейфуя
на смысле, забытом давно.

И казалось, что если
зажить умудренно и зорко,

то и бедному слову
хоть капля достанется в рот, —
«время действия — сумрак,
а место — Французская Горка,
на востоке вечерний
уже проступает налет...»

1980

* * *

Русский заповедник подзабытый,
бывший выпускник твой не потянет
на последних истин первый свиток
и нерусской жизни светлый танец.

Поздно поступать ему, как лучше,
а свое нутро не переменишь, —
танец недоузданный прискучил,
свитка письма — того не меньше.

Для него и память не спасенье, —
как повторный фильм, воспоминанья,
где опять он слово заблужденья
променял на истину молчанья.

Променял он речь на всё, что кроме,
кроме слов на белом свете свято,
и теперь безмолвье душу кормит,
а она, потворица, не рада.

1981

* * *

Забытая Богом от века,
как чистый пробел бытия,
стянулась в дремотное эго
бесцельная повесть житья.

И ты не тревожь напоследок
берлогу сонливой души,
истому ленивую эту,
в которой ты словно зашит,

отрезанный Богом от бега
в объятья лучей бытия, —
оправдана смерти омегой
трусливая спячка твоя.

1981

Леонид ИОФФЕ — родился в 1943 году. Жил в Москве. С конца 1972 года живет в Иерусалиме. В 1977 году вышли два сборника его стихотворений — «Косые падежи» и «Путь зари», относящиеся к московскому периоду. В 1980 году вышел его новый сборник «Третий город» со стихами иерусалимского периода 1973—1979 годов.

ЧАША ЯРОСТИ

Роман

Часть вторая

1

Париж, Париж, как много в этом слове для сердца русского слилось! И вот под крылом самолета потекли его дальние пригороды с их почти невсамделишными разноцветьем и аккуратностью, походившими скорее на архитектурный макет, чем на обжитое пространство. Так вот она, земля, где ему придется жить, а может быть, в урочное время и упокоиться!

— Просьба пристегнуть ремни, — неслось в микрофон из кабины пилота, — и не курить!

Прошло всего три с небольшим часа, которых достало, чтобы выхватить его — семя, зерно, росток зябких широт России — и сбросить в куда более уютную почву Европы в мстительной надежде, что он мгновенно ссохнется в этой гнилой благодати, не успев даже пустить корня. Честно говоря, ему заранее было известно, что о нем думают и каких последствий ожидают от его выезда те, кто этот выезд спланировал и разрешил, у него было время взвесить все «за» и «против», но по мере снижения машины яростная уверенность в себе, сложившаяся в нем в дни, когда им решалась собственная судьба, стремительно

Роман в четырех частях, подготовленный к печати в издательстве «Посев». Первая часть романа опубликована в «Континенте» № 30.

улетучивалась, словно газ из поврежденного аэростата. В страхе перед неизвестностью душа его заходила в тоске и томлении.

В этом состоянии страха и неуверенности Влад ступил на бетон Орли, ехал на автобусе до аэровокзала, вошел под его своды, и только тут, увидев в свете фотовспышек за стеклом зала ожидания летящие к нему лица сестры и племянника, неожиданно выпрямился, будто обрел почву под ногами:

— Выстоим.

2

Помнится, в это утро было очень много солнца. Оно текло сквозь листву тополей, ослепляя витрины и окна, струилось по крышам домов и проводам над ними, резко било в глаза, отчего всё вокруг выглядело зыбко и приблизительно, как в незаконченной акварели.

Влад проснулся чуть свет в состоянии той напряженной взволнованности, какая овладевает человеком в предвкушении встречи, которую он ждал и к которой готовился много лет. Гостиница, где он снял роскошный двухкомнатный номер (разумеется, по случаю, только на ночь или, вернее, до приезда первого же иностранца), окнами выходивший на бывшую Рождественку, был залит такой сияющей благодатью, что от нее временами хотелось зажмуриться, как от наваждения.

Остро ощущая себя, свое тело, эластичную упругость кожи, он долго, с наслаждением плескался в ванной размером с его черкесскую комнату, после чего и тоже с тем же наслаждением надевал белье, рубашку, костюм, носки, завязывал шнурки ботинок — все новое, купленное перед отъездом из Ставрополя специально для этого дня, на последний его тамошний го-

норар за переводную книжку, поэтому, когда вышел на улицу, чувствовал себя словно заново родившимся. Как фигурально выражался через много лет все тот же, закупленный на корню коварными империалистами и вражеским издательством «Посев», Булат Окуджава: «Еще моя походка мне не была смешна, еще подметки не пооторвались...»

И конечно же пешком, через весь пронизанный солнцем и листвою город, по Рождественке и Цветному бульвару к Садовому кольцу и далее без остановок до Красных ворот, оттуда вниз — к Комсомольской площади, а от нее на Красносельскую, где по сути начинался тот самый район, в котором, наверное, не только каждый дом, но и всякое дерево оставалось частью его не такого уж далекого в те годы детства и памятной вехой последующей судьбы.

На углу Митьковской и Старослободской Влад очутился в самом начале рабочего дня, когда мимо него протекла, прошла, продефилировала большая половина его соседей и знакомых. И он, словно победитель на смотре, принимал этот невольный парад собственного прошлого, почти задыхаясь от горделивого волнения. Никто из них не узнал его, да он и не спешил с этим, ему хотелось растянуть этот свой самый главный в жизни праздник, неторопливо, по глотку, по капле испить чашу своей победы. Его Аустерлиц должен был сиять с утра до вечера.

Но недаром говорят, что человек предполагает, а Бог или Судьба (на выбор!) вносит в эти предположения кое-какие поправки. И поправки, внесенные в этот день в планы Влада, к вечеру почти карикатурно преобразили его первоначальный замысел.

Решив скоротать время до конца дня, когда все в доме и по соседству окажутся в сборе, он двинулся напрямик в Сокольнический парк, где ноги сами завернули его под гостеприимный тент пустынного в такой ранний час летнего буфета, откуда лишь где-то

в полдень он подался дальше, уже еле ворочая языком и конечностями.

Легкая листва берез, кленов и лип скользила над его головой следом за солнцем и облаками, земля катилась под ним неизвестно куда, душа рвалась вперед с ними наперегонки, и по сравнению с этой благодистой невесомостью его утренние поползновения, его недавняя победительность и его наступающий Аустерлиц выглядели сейчас детской блажью, в общем-то не имеющей отношения ни к нему, ни к тому, чего он в действительности хотел или ожидал от жизни.

Очутившись у знакомого пруда, памятного ему первыми заплывами и долгим детством, он опустил на прибрежную траву и тинистая вода вошла в него, как входит в живую душу боль или быль прошлого. И здесь, среди травы-муравы и жидких, словно маскировочных, кустиков перед ним обозначилась крепенькая фигура в кургузой кепочке, точь-в-точь гриб-боровик, только, как в Рязани — с глазами, которых, известное дело, едят, а они глядят.

Гриб дружелюбно повернулся к Владу широким чуть рябоватым лицом и, посмеиваясь белесыми глазами, кивнул на газетку перед собой:

— Не желаешь, браток, за компанию?

На газетке у него, будто на скатерти-самобранке, в симметричном порядке располагалась закуска, скромность которой искупалась мастерством приготовления. Лук был нарезан аккуратной лесенкой, разваленная надвое селедка радовала глаз изяществом укладки, ливерная колбаса и хлеб теснились вокруг еще непочатой четвертинки, наподобие высоких полукружий, соседствующих с усеченной кверху колонной. Живой натюрморт выглядел так аппетитно, что Влад не сдержался, похвалил:

— Как в ресторане, брат.

— Да я и есть повар, — словоохотливо подхватил тот, — хоть и не в ресторане кручусь — в столовке,

но толк в своем деле знаю. Составь компанию, браток, не люблю в одиночку.

Влад придвинулся к газете, спросил:

— Дома-то не пьется, что ли?

— Дом-то у меня, братишка, с воробыный нос, негде там пить. — Он ловко разлил четвертинку по бумажным стаканчикам. — Ну, давай, как теперь говорят, со свиданьем. — Выпил, крикнул и, ловко соорудив себе бутерброд из хлеба с селедкой, отправил его себе в рот. — Хорошо пошла, соколом, как говорится, бери, браток, закусывай, в этом деле закусить — большое дело, поговорить тоже не мешает, а дома с кем мне там говорить, жена на работе, а матери с отцом помирать пора, не до разговоров. Я сам, братишка, из Тульской области, места у нас сквозняковые, скудные, одна голь перекатная перебивается с хлеба на квас безо всякой радости. Правда, шахты имеются, только и там, если по правде, не уголь, а глина горячая, больше золы, чем пламени, местный называется. Пацаном я армии ждал, как престольного праздника, лишь бы из деревни выбраться, из навозного омута этого. Ну, сам понимаешь, срок пришел, забрали, городские ребята на стенку лезли от службы нашей армейской, а по мне, поверишь, как в раю, нигде так не жил: три раза поесть дают, постель чистая, в жизни на такой не спал, обмундирование опять же. Втянулся я в эту жизнь — за уши не оттянешь, как вспомню про деревню — дрожь берет, голова от страха кружится, так боюсь, не вернули бы. Старался, правда, службу исполнять по уставному порядку, а то и сверх того, ну, и сам понимаешь, начальство отметило, две лычки за службу схватил, значки, благодарности всякие, срок на кухне заканчивал, помповара, все честь по чести, а как мобилизовался, получил чистый паспорт, дудки, думаю, пусть за меня козлы в колхозе вкалывают, у них рога длинные, а мне этот колхоз до фени, я жить хочу, я покуда не жил совсем. В об-

щем, демобилизовался и — в Москву, спервоначалу на стройке устроился, комнату в бараке получил, стариков выписал, бабу нашел, дальше-больше, теперь в столовой там же на стройке, живем — не тужим, дай Бог всякому, тесновато, правда, комната у меня — одна койка да тумбочка помещается, как спать, так старики под кроватью, а мы с женой сверху. Да, брат, в тесноте — не в обиде, старикам, правда, тяжело приходится, сам понимаешь, мы ж с бабой еще молодые, дурная кровь играет...

Под дельную закуску и неторопливый разговор четвертинки, появляясь словно по щучьему веленью, чередовались одна за другой, типографская скатерть-самобранка постепенно превращалась в некое подобие небольшой панорамы поверженной французами Москвы, небо над Владом сначала сделалось с овчинку, а потом, в какое-то неуловимое для него мгновение, беспамятно сомкнулось совсем. Спи спокойно, дорогой товарищ!

Из кромешной тьмы забытья его вывели чьи-то, смутно кружившие над ним голоса: один — мужской, еще ломающийся, другой — явно девичий, с грудным выпевом:

- Еще один.
- Надо его разбудить.
- Кому он мешает!
- Ведь ограбят!
- Ладно, попробую...

В желтеющем свете убывающего дня перед Владом, как бы сквозь залитое дождем стекло, растекаясь, выявились лица, одно из которых — с едва пробившимся пухом будущей бороды — сразу требовательно выдвинулось к нему:

- Гражданин, спать в парке строго запрещено.
- Да, да, я сейчас.
- Вас могут убить или ограбить.
- Все в порядке, ребята, — реальность, словно

негатив в закрепителе, медленно густела в нем, пока не отстоялась окончательно, — пьяных, ребята, нет.

Только теперь он увидел их цельно — этих двух, судя по всему, старшеклассников с красными повязками бригадмильцев на рукавах. Парнишка с широким лицом, по-совиному стянутым к носу, убедившись во Владовом пробуждении, официально нахохлился:

— Предъявите документы, гражданин.

Напарница его с толстой, пегого цвета косой, перекинутой через плечо на грудь, и носом картошечкой взглянула было на парня с умоляющей укоризной, но тот суровым взглядом искоса осадил ее и вновь требовательно уперся в нарушителя:

— Порядок есть порядок.

Специально для таких случаев Влад хранил при себе давно просроченное удостоверение внештатного корреспондента радио по Черкесской области. Этой обтянутой кожей картонки хватило, чтобы парень смешался, но терять лица перед спутницей все-таки не захотел, посетовал раздосадованно:

— Других воспитываете, а сами нарушаете...

И они подались от него вдоль берега, но напоследок он успел перехватить на себе то, почти восхищенное любопытство, которым коротко одарила его юная бригадмилка прежде чем она покорно потянулась следом за своим напарником: нет жертвы, на которую не решилась бы женщина в России ради пишущего божества, божества порою даже самого пустого и мизерного. Да и только ли женщина?

Пространство вокруг Влада сократилось до размеров его собственной головы, которая жила сейчас сама по себе, вне соприкосновения с внешним миром, где что-либо происходило или могло происходить: вместо певучих труб Аустерлица в ней отныне протяжно гудели похоронные колокола.

От мужичка-боровичка не то что след простыл, самый дух выветрился, расправив после себя и траву-

мураву, и жидкие, вроде маскировочных, кустики. Дай тебе Бог, служивый, и впредь почаще сотрясать, покуда можешь, скрипучий потолок над головами своих стариков! Им не привыкать, потерпят, чего не потерпишь во имя продолжения семейного рода?

И хотя предстоящий триумф уже не представлялся Владу таким праздничным, как этим утром, он заставил себя встать, слегка почиститься и двинуть обратно, тем же маршрутом, к дому на Митьковской. «Господи, — тяжело ворочалось в нем по дороге, — чем все это только кончится!»

Лишь потом, спустя время, по соседским смешкам и намекам до него дошло и походя уязвило, Впрочем, ненадолго, что иные все-таки утром узнали его, только по врожденной сокольнической привычке поостереглись, виду не подали, мало ли чего в чужой семье случается: свою жизнь при себе держи, в чужую не лезь, можно головы не сносить. Поэтому, едва он, кое-как дотащив себя до памятного угла, нарядил первого же пацана вызвать ему его старинного дружка Володьку Гуревича, как из ворот отчего дома, будто лишь и ждала сигнала, вынеслась наподобие внезапно запущенной стрелы светлоголовая девчушка лет пятнадцати, круглое лицо которой, слегка тронутое тенью родимого пятна между краем щеки и шеей, слепо и торжествующе устремлялось к нему, словно бабочка на огонь.

Кому тогда дано было знать, что этот ее вещий полет навстречу ему вберет в себя их разобщенное прошлое и общее будущее, чтобы однажды слить их разные судьбы в одну и сделать их долгую жизнь уже нерасторжимой.

— Правда, это ты, — торжествующее лицо ее заполнило его целиком, — Владик, правда?

— Здравствуй, — пшеничные волосы сестры текли у него под рукой, — здравствуй, Катя...

Наверно, неутолимая жажда родства, кровной

связи, сопричастности к чему-то более прочному, чем собственная жизнь, живет в человеке помимо его воли, преодолевая в конце концов все другие формы взаимоотношений. Так судьба одной, отдельно взятой особи как бы соединяет собою некий обруч некоего, никому неведомого магического круга, составляющего цельное тело бытия. Видно, поэтому, добровольно исторгнув себя однажды из этого круга, он, вечный беглец и пасынок, из всех своих бегств и сиротств неизменно возвращался упорной памятью сюда, на эту московскую окраину и в эту безвылазную нищету. Выходит, любовь к родному пепелищу в нас намного сильнее нас самих.

Все последующее закрутилось с такой ошеломляющей быстротой, что даже теперь, через много лет, память выхватывает оттуда лишь отдельные видения, в которых запечатлелись отдельные лица, голоса, движения...

Сначала они с Гуревичем нагружались в ближайшем магазине всякой всячиной, в которой преобладали бутылки разной емкости и цвета. Из магазина детский дружок увлек его за собой к общему их приятелю Володьке Шилову, живущему на одной лестничной клетке с Владовой родней, откуда его, уже чуть теплого, буквально перенесли домой.

Потом он лежал на знакомом ему с самого младенчества продавленном диване, потолок карусельно кружился над ним, а мать, сидя с ним рядом, гладила его по голове, баюкающе приговаривая:

— Эх ты, Владька, Владька, голова садовая, чего ты все мечешься, чего по свету ищешь, сидел бы себе дома, как люди, вон смотри, как дружки твои работают честь по чести, с родителями живут, ты же у нас головастый, не хуже бы мог, сколько мне долдонили: пропал, мол, твой непутевый, мол, давно по тюрьмам сгинул, а ты вон, в какие люди вышел, хотя, по правде сказать, жил бы дома, матери твоей куда спокойнее,

старая я уже, помирать скоро, кому глаза закрыть будет, вон и дед Савелий, ненаглядный твой, перед смертью все плакал: Владьку бы повидать, так не мучился бы...

Плакалась она скорее по привычке, чем всерьез. Он-то знал, понимал, чувствовал, что в той гонке за неподатливым призраком, какую вела эта одряхлевшая девочка всю свою сознательную жизнь, нынешний Влад подарил ей первый реванш, приз за долготерпение, журавля в небе, что день и ночь грезился ей годы и годы. Святая простота!

Тетка, не в пример золовке, и не пыталась скрывать горделивой радости, споро хлопотала вокруг стола, громко выговаривая в сторону распахнутой на кухню двери:

— Лешка не дожил, увидел бы сынка не хуже других, а выпить никому не грех, авось на свои. Правду говорят: пьяный проспится, дурак — никогда, пьян да умен — сто угодьев в нем, сейчас закусишь, как рукой снимет, не то, что у других — неделями не просыпаются, с одного завода на другой бегают. Вставай, Владик, сейчас дружки явятся, из соседей тоже кое-кто придет, вон уж Володька Целиковский под окнами бродит, приглашения ждет. Дядю Володю-то Целиковского помнишь? Только уж не тот нынче, не узнаешь, родная жена с детьми и те отrekliсь, чего теперь с него взять, с алкаша чахоточного...

Уже после, в беспорядочном застолье, Влад выделил среди других его изможденное лицо и лишь по твердой посадке головы узнал в нем того самого размашистого красавца, номенклатурного шофера, в хроме с головы до ног, пережившего за свою недолгую карьеру полдюжины наркомов и не менее дюжины их заместителей. Обтрепанный и жалкий во хмелю, тот теперь смотрел на него собачьими глазами, словно тшился молча передать ему свое теперешнее состояние:

— Было, Владик, было да сплыло, быльем поросло, пеплом присыпано и нечего ворошить попусту, один прах позади да и впереди — прах.

Влад попытался было тоже молча, одними глазами одарить его хотя бы частицей своей надежды, но собачий взгляд Целиковского оставался к его зову слепым и безответным...

Среди пьяного гвалта, где никто уже не видел и не слышал друг друга, Влада потянуло в ночь, в звездную тишину двора, и он вышел, но едва парадное осталось за ним, как от темневшего напротив деревянного флигеля отделилась и поплыла, пересекая ему дорогу, щуплая, почти невесомая фигурка, которая по приближении оказалась старухой Шоколинист. Минувя его и скрываясь в глубине двора, старуха незряче смотрела впереди себя, но Влад был готов биться об заклад, что она не только видела и узнала его, но специально ждала, пока он выйдет, чтобы вот так — незряче и молча — проплыть мимо него, как бы напоминая ему о чем-то или от чего-то предостерегая. «Жива еще, — оторопел он, поворачивая назад, — всех, видно, решила пережить?»

Утром Влад проснулся на том же диване, знакомые ему с раннего детства предметы размещались на тех же местах и в том же порядке, в комнате так же, как в прошлом, пахло глаженным бельем и отживающим деревом, и ему вдруг показалось, что он никогда и никуда не уходил отсюда, а все случившееся с ним за эти годы — лишь нелепый и наконец расточившийся сон.

3

Влад теперь мог наконец оценить свое недавнее прошлое, как бы глядя на него с некоего перевала: что из того, чем при рождении одарила его судьба, он

успел растерять, что приобрел в прожитом опыте и каков же все-таки итог этой отпущенной ему на земле первой четверти века? О потерянном не то что жалеть — даже вспоминать не хотелось, а к приобретенному он не ведал еще как подступиться, в результате, по зрелом размышлении не оставалось ничего, кроме жизненной цепкости и желания самоутвердиться любой ценой. Баланс для него получался, прямо скажем, неутешительный, во всяком случае в сравнении с его благими намерениями. Правда, он чувствовал, что где-то в самой потаенной глубине его души вызревает, наподобие шаровой молнии, нечто такое, отчего однажды, если ее вовремя коснуться, его может взорвать изнутри яростной лавой обжигающих слов и неповторимых образов. Оставаясь наедине с собой, вслушиваясь в себя, он зачастую улавливал звучащие в нем голоса, которые еще не сливались ни во что целое, но уже требовательно зывали к нему, к его ответу, хотя слов он пока не разбирал, а потому и чем ответить не находил. Следом за голосами являлись лица и тоже не цельным обликом, а частью — профилем, овалом, выражением глаз, чтобы тотчас исчезнуть, не запечатлевшись в памяти. Порою, вне всякой связи друг с другом, возникали отдельные видения, сколки минувшего: одинокая женщина с кружкой воды, протянутой ему в знойный полдень в заброшенном рыбацьем балагане на берегу Каспия; заезженная пластинка с песенкой Герцога из «Риголетто» в завьюженной палатке над Меймичей; стог у железнодорожного полотна под Шексной и собачий скулеж около самого его лица, от которого смертно холодело сердце; барак в зимней Игарке, где недавний лагерный доходяга с вороним чубом наискосок через высокий лоб читает ему диковинные, никогда не слышанные им дотолестихи. Стоп!

Жизнь снова, в какой уже раз перекрещивала судьбу Влада с судьбою этого, по сути едва знакомого

ему человека. И он снова пошел туда, в памятный дом среди Сретенских переулков, чтобы снова услышать слова, от которых обливается сердце, но благостно, хотя и болезненно очищается душа.

Влад долго звонил у знакомой двери, пока ему открыла заспанная баба в расхристанном халате:

— К писателю, что ли? — Мутное ее злорадство еле продиралось сквозь запухшие веки. — Входи, коли добудешься, третью неделю гудит, до зеленых чертей, видать, допился, сам с собой разговаривает. — Он шагнул в темноту коридора, подхваченный запахом ее нечистого тела и похмельного дыхания. — Тоже мне писатели, ети вашу мать...

Когда Влад без стука толкнул впереди себя незапертую дверь, хозяин пластом лежал на своей тахте-матраце, недвижно глядя в потолок над собой, и потрескавшиеся губы его при этом беззвучно шевелились. Появлению Влада он, как обычно, не удивился, лишь скосил горячечные глаза в сторону гостя, трудно сложил:

— Принеси чего-нибудь, малыш, душа горит, такая мука, что не приведи Господь... Никудышный я сейчас собеседник...

Влад, конечно, не заставил себя уговаривать, одна нога здесь, другая — там, обернулся, тот, отмахнувшись от стакана, жадно глотнул прямо из горлышка и мгновенно ожил, будто Даров Святых причастился, сел, коротко помотал чубатой головой, обласкал повеселевшим взглядом:

— Ну, зачем опять пожаловал, малыш, в град престольный? — Тот оживал, расправлялся, будто парус, вдруг подхвативший целительный ветер. — Решил снова штурмом брать? Не рановато ли? Выкладывай, в два ума решать будем.

В сбивчивом и долгом объяснении Влад рассказал хозяину о своих последних одиссеях, кончая разговором с Гашоковым и возвращением домой, не

скрыв и о голосах, лицах, предчувствиях, посещавших его с недавнего времени.

Хозяин слушал, не перебивая, но все веселел и веселел глазами, а когда гость умолк, тот откинулся головой к стене, всмотрелся в него как бы с некоторого расстояния, предложил с одобрительным вызовом:

— Попробуй теперь определить одним-единственным словом, что же ты вынес из всего этого?

Влад ответил не задумываясь, настолько это было в нем выношено:

— Ярость.

— Это хорошо, но для настоящей литературы недостаточно.

— Чего же, по-твоему, мне еще не хватает?

— Милосердия, — печально погас тот. — Без милосердия нет подлинной литературы, есть только или талантливые упражнения, или разрушительное словоблудие. Слово, при всей своей кажущейся безобидности, способно, как убивать, так и возрождать к жизни, в самом буквальном смысле. Один несостоявшийся поэт кропает дрянную книжицу по политэкономии, казалось бы, забыть и наплевать, а в мире до сих пор во имя этого бреда гибнут миллионы. Другой шиш на недолгом тюремном досуге от нечего делать перекладывает на бумагу собственные галлюцинации, а в результате — Вторая мировая война со всеми известными тебе прелестями. Или вот тебе из другой оперы, — он схватил бутылку, сделал большой глоток, живо вскочил, метнулся к книжной полке, привычно выхватил томик из старого пушкинского собрания, но даже не раскрыл его, а лишь взмахнул им над взлохмаченной головой, — прости за банальность, но тут, что ни возьми, все об одном: милость к падшим! Чувствуешь, мольба какая, полет какой, это нам, брат, на века подарено, это нас из полутатарского скопища в народ превратило, людьми сделало! Причем, заметь,

перед этим сказано: «что в наш жестокий век»! И чем жесточе, тем милости больше требуется. Вспомни, рассказывал ты мне в прошлый раз жизнь свою горемычную, а ведь выжил, выжил ведь, хотя не волчья в тебе порода, значит, не зубами выжил? Тогда чем, ответь? Я сам за тебя отвечу: милосердием людским, вот чем. Кто нас тогда в Игарке пригрел, забыл? А кто он нам, татарин этот, — сват, брат, дальний или ближний родственник? Мне теперь молокососы наши новые, что из приблатненного жаргона язык норовят сделать, Селина в нос суют. Разуть бы им глаза от онанизма да прочесть толком Селина этого самого, у него вся душа в крови от жалости, жестокими словами только прикрывается, чтобы не видно было, что кожи нет, а ведь человеку с совестью и понятием все равно видно. В свои времена наши умники чахоточные от злобы на весь свет даже Достоевского «жестоким талантом» ославили, а все потому, что по писарской своей сущности ни читать, ни чувствовать до гробовой доски не научились, только расплодили на века подобную себе писарскую саранчу, попробуй ее теперь выведи! «Жестокий талант»! Да какому-нибудь конфетному Тургеневу или вшивому Буревестнику с его нищими на двадцать томов хоть каплю такой-то вот «жестокости», может, чего стоящее и оставили бы после себя, а то ведь слезливый хлам один, каким свое звериное равнодушие на людях маскировали. Взялись, лешие, замумукать, засатинить русскую литературу да, слава Богу, не вышло, на пушкинской закваске поднялась, дерьмом уже не испортишь, разве что вонь вокруг разведешь, но только до первого ветра. — Он вдруг остановился около гостя, с изучающей внимательностью посмотрел на него сверху вниз. — В тебе что-то все-таки есть, малыш, коли начинаешь слышать себя, значит, книга в тебе зреет, может быть, настоящая книга, которую всю жизнь пишут, отряхнуться бы только тебе от суеты этой окололитера-

турной. Я вот на двадцать лет старше тебя, а до сих пор все еще наугад иду, кажется, недавно вроде нащупал жилу, пока клеится понемногу, а все равно боюсь: вдруг завтра опять пустая порода пойдет, где тогда искать, времени-то у меня в обрез осталось. — После очередного долгого глотка его подхватила новая мысль и он неожиданно заторопился. — Вот что, малыш, хочу я тебе показать одно чудо-юдо, не бойся, это здесь же во дворе, есть тут один занятный парень, муж дворничихи нашей Серафимы, сама она пьянь несусветная, пропадает неделями, он за нее вкалывает да еще и за детьми смотрит, ребята эти неизвестно от кого и все с изъязцем, один немой, другой глухой, третий, вроде, и то, и другое, а парень этот, Валерием зовут, между прочим, эмгеу по журналистике кончил, пристроился временно техническим редактором в каком-то «нии», утром ее работу делает, днем свою, а вечером с ребятами, ну и, сам понимаешь, пописывает. Думаешь, урод какой, импотент или не в себе? Будь уверен, у парня все на месте, а голова, дай Бог всякому. В общем, посмотришь, да и к нашему разговору отличная иллюстрация. Только прости, брат, придется еще за бутылкой смотреться, какой у людей разговор может быть сухую?

Пересекши двор, они спустились в полуподвал у ворот, окнами выходивший в переулок. Дверь оказалась настежь, но распахнутая полутьма ни звуком не отзывалась на их появление.

— Валерий! — позвал с порога вовнутрь Владов спутник. — Валерий Ильич, гостей принимаешь?

Лишь после этого за смутно маячившей в глубине помещения досчатой перегородкой возникло какое-то движение, затем оттуда сквозь полумрак прихожей навстречу им выдвинулось молодое лицо в темной, на старинный манер лопатистой бороде:

— Вы, Юрий Осипыч? — Карие, по-иконописному широко расставленные глаза его заметно косили. —

Заходите, заходите, я тут соснул малость, разморило, жара, знаете ли. — Только тут он заметил Влада, осекся вопросительно. — Здравствуйте?

— Знакомься, — подтолкнул тот к нему Влада, устремляясь к столу, — молодой поэт-переводчик Владислав Самсонов, промышлял по этой части на Северном Кавказе, теперь оседает у нас в белокаменной. — По всему чувствовалось, что он привык здесь вести себя запросто: по-хозяйски распорядился посудой, достал соль и нарезал хлеб. — Хотя сам-то он москвич урожденный, зачем ему оседать, скорее, возвращение блудного сына, так сказать. Ну, со знакомством!

Влад с нарастающей тревогой следил за своим приятелем. Он по себе знал состояние, когда среди черного беспамятства человек вдруг от рюмки-другой приходит в себя и даже начинает говорить и действовать, на первый взгляд, вполне осмысленно, но это обманчивое просветление выветривается так же внезапно, как и возникает, чего нужно было ожидать в любую минуту и здесь.

— Понимаешь, Валерий, — сознание стремительно оставляло его, глаза гасли, лицо мертвенно заострялось, — я за этим парнем давно слежу, что-то в нем брезжит, не знаю еще, что именно, но что-то в нем проклевывается, глядишь, и выкрикнет что-нибудь членораздельное, гул от него идет, а это в нашем деле главное. — Он все еще пытался уравновешивать тяжелеющую голову, но подчинялась она ему вяло, то и дело упираясь подбородком в грудь. — Нет, ей-Богу, Валера, нашего полку кадр... Впрочем, сам понимаешь... Я только минуточку... Прикорну и опять в боевой форме... Ей-Богу, Валера...

Его окончательно сморило, он всей грудью навалился на стол и боком, боком принялся было сползать вниз, но хозяин тоже оказался начеку, вовремя поддержал друга, обхватил за талию, приподнял, при-

валил к себе, и бережно, словно боясь разбудить по пути, повел за перегородку, где еще некоторое время возился с ним, размещая и уговаривая:

— Ложись, ложись, Юрий Осипыч, здесь у меня прохладно, хорошие сны сниться будут, проснешься, опять за жизнь поговорим, ты здесь у меня, как у Христа за пазухой, ничего не бойся, если чего понадобится, спроси, из-под земли достану. Спи...

Вскоре парень бесшумно выскользнул из-за перегородки, сел напротив Влада, искоса засветился в его сторону:

— Я, знаете ли, среди пьяни вырос, сам пьянь несусветная, хоть и с высшим образованием, казалось бы, что мне Юрий Осипыч, одним больше, одним меньше, какая разница, все там будем, как говорится, но вот его мне, именно его, жалко. Ему ведь на десяти-рых отпущено да еще на каких десятирых, это понимать надо! Не человек — сосуд драгоценный, извините за пышность, но другой метафоры не подберу. Расплескивается во все стороны: нате, берите, а кому брать-то, все собственной мочой довольны, посмеиваются: своего, мол, хватает, в своих, мол, мыслях, как в репье, запутались. — Разлив остатки, он доверительно наклонился к гостю. — Дурачье, конечно, ни ухом, ни рылом, а те, — он со значением кивнул куда-то вверх себя, — с него глаз не спускают, за каждым чихом следят, знают, сукины дети, с чем дело имеют. Они ведь с ним вот уже лет тридцать в кошки-мышки играют, убить не торопятся, приручить хотят, уж больно соблазн велик — такого человека на поводок взять, большой профит иметь можно, только не по зубам им золотой орешек этот, он, вроде, и катится во все стороны, а поди-ка его — раскуси... Вас как по батюшке-то? Впрочем, мы, кажется, однолетки, можно и без величаний, попросту. Согласны?

Они проговорили до темноты. И чем больше слушал Влад своего нового знакомого, тем объемнее

открывались перед ним мир и круг интересов, о которых он до сих пор не имел никакого представления. Оказывается, существовала среда, не имевшая соприкосновения ни с какой другой, где каждый жил сам по себе и подчинялся лишь своим личным законам, в которой считались с ценностями, о каких он раньше слыхом не слыхивал и куда был вхож всякий, у кого имелось хоть что-то за душой. К концу разговора его собственные успехи и претензии показались Владу такими смешными и ничтожными, что он постеснялся даже упомянуть о них.

Прощаясь у ворот, Влад скорее по инерции, чем из любопытства, спросил Валерия:

— А где же ваши все, у вас, я слышал, семья?

— Жена в бегах, а детишек я к бабке на лето отправил. — И предупреждая, видно, уже привычное для него любопытство, пояснил: — У каждого свой крест, Влад, это — мой. Донесу ли, вот вопрос?

С этим Влад и двинулся в ночь, почти физически ощущая спиною его долгий, как бы изучающий взгляд.

4

Сомкнулась связь времен, а сомкнувшись, покати-лась чёртовым колесом вокруг одной и той же оси: вверх — вниз, вверх — вниз, вверх — вниз, только успевай воздух вбирать, когда падает и взмывает сердце, сквозь которое, как нить через ушко иглы, текла то остро отчетливая, а то засвеченная хмельным беспмятством хрупкая пленка быстротекущих лет...

В тусклом свете промозглой осени, словно абрис в недопроявленном негативе, маячит опрокинутое навзничь восковое лицо матери в обрамлении жухлых цветов и обивочного кумача с вопросительным недоумением в бескровных губах, как бы вопрошающих: «И это всё?» Разве затем она, то и дело попадая из

огня да в полымя, отчаянно рвалась сквозь затерянность и голодуху, обманутые претензии, быстротечное замужество, бдение в тюремных приемных, войну, служебные унижения, бегство сына и негаданную встречу с ним, вновь затеплившую в ней былые и уже, казалось, сбывшиеся надежды, чтобы вот так нелепо и круто сорваться в бездонную пропасть между станционной платформой и утренней электричкой? Равнодушная к ее застывшему недоумению земная явь колесит вокруг нее, спеша избыть из себя плоть и дух очередной своей странницы: пожила и — будет, дай другим пожить!

Среди суетной пестроты того дня в памяти чаще всего всплывает весь в мокрой листве под ногами сквер у церкви в Сокольниках, где они сидят с двоюродным братом, слесарем паровозного депо — Славкой — за початой уже бутылкой перцовки, внезапно застигнутые возникшим около них молоденьким, в необжитой еще им форме постовым:

— Нарушаете, граждане, не положено, — васильковые глаза его на веснушчатом курносом лице напрягаются, изображая строгость, — придется в отделение пройти.

— Мать померла, старшой, — Влад даже не пытается оправдываться, — поминаем.

Строгость в васильковых глазах постового мгновенно гаснет, сменяясь растерянностью, он заметно силится сложить какие-то подходящие случаю слова, но так и не сложив, безнадежно машет рукой и отходит от них, медленно удаляясь по засыпанной мокрыми листьями садовой аллее...

Дни смерти и похорон матери вобрали в себя множество лиц, разговоров, красок, но до сих пор, когда он вспоминает обо всем тогда случившемся, в нем всплывает одно и то же: ее восковое лицо в обрамлении жухлых цветов и обойного кумача, осенний сквер у церкви в Сокольниках, удушливый вкус перцовки и молоденький постовой с васильковыми гла-

зами на веснушчатом лице в перспективе засыпанной мокрыми листьями аллеи...

Следом за этим, из последующей круговерти повседневности выявляется летнее утро в тополином пуху, когда, впервые после бегства из дома, судьба вновь сводит его с младшим из Дуровых — Борисом, тем самым плаксивым карапузом, которого он в детские свои годы покровительственно защищал от дразнилок дворовой шпаны. Плечистый красавец в мундире старшего лейтенанта инженерных войск заступает Владу дорогу при выходе из ворот, светясь в его сторону знакомой ему с детских лет беспомощной и чуть виноватой улыбкой:

— Здравствуй, Владик, — трясет тот его руку двумя своими, — мне бабушка писала, что ты вернулся, я только вчера из отпуска, сегодня хотел зайти. — И без перехода, словно извиняясь: — Вот знакомься, моя жена.

Лениво скользнув по нему сверху вниз, та протягивает Владу руку, и с кокетливой шутливостью слегка приседает:

— Зина.

Вороное крыло прически наискосок от виска до подбородка. Чуть вздернутый нос. Зеленые, с голубым отливом глаза, встретившись с которыми подмигивает зажмуриться. И это, теперь вошедшее в него навсегда, выражение насмешливой снисходительности в уголках уверенных губ. Подхваченная пламенем цветастого штапеля, она как бы струится в тополином снегопаде, грозя растаять, раствориться, исчезнуть в одно мгновенье, как сон, как утренний туман: остановись, мгновенье!

— Здоров, Боря, извини, сейчас некогда, спешу, у нас в союзе писателей заседание правления, — несет его без руля и без ветрил сквозь сладостное сердцебиение и колокольный звон в голове, — собираюсь в Швецию с делегацией, вечером у меня встреча с чи-

тателями, загляни завтра, лучше с утра, вечером мне на прием в польское посольство.

Какое уж там заседание в союзе писателей, к которому он даже отношения не имеет, какая Швеция, куда его никто не приглашал и приглашать не соби-рался, какая встреча, если круг преданных ему чита-телей замыкается в четырех стенах Дома советов чер-кесского захолустья, и какой прием, когда он отродясь слыхом не слыхал, где оно — это самое польское по-сольство — находится. Но ложь сама по себе, помимо его воли громоздится одна на другую, не в состоянии остановиться и пересилить себя. В нем как бы просы-пается тот нищий и неказистый мальчик его детства, который натужно изгаляется перед соседской девчон-кой, спеша доказать ей, что он не такой, как все, что он особенный и что она должна это оценить и выде-лить его из числа других. Господи, если бы стыд мог испелять, то при одном воспоминании о той, пер-вой их встрече он должен был давно обратиться в горстку летучего праха!..

Зина, Зина, вот так мы и встретились с тобой, как говорится, на заре туманной молодости, чтобы, растянув на долгие годы бездумное действие нашего шумного соседства, бездарно и забывчиво скомкать его ослепительный конец: увяданьем осени охвачен!..

Потом — Казань, где зеркально повторяется клубок знакомых ему черкесских страстей, только раз-бухший до республиканских размеров: те же подстроч-ники, те же разговоры, та же карусельная, с кратко-временными просветами, пьянка.

Но есть в этом городе что-то такое, что отличает его от великого множества медвежьих углов страны, вызывая в душе заезжего гостя чувство соприкосно-вления с чем-то давно забытым или виденным когда-то во сне. Город будто грезил наяву временами времен, прорываясь в текущее полувремя вязью кириллицы из-под облупленной штукатурки заброшенных церк-

вей, лабазной плесенью вдоль прибрежных спусков, волглым дыханием речной громады за отдаленными крышами — весь в мазках и росчерках лозунгов, проводов, телевизионных антенн, казавшихся здесь случайным хламом или паутиной, занесенной сюда капитальным ветром эпохи.

Едва заканчивается в городе рабочий день, гостиница, насквозь пропахшая тряпичным тленом и пригорным запахом кухни, постепено, но уверенно заполняется почти непрерывным пьяным кружением, не стихающим здесь даже за полночь. Командировочные, толкачи, гастролеры-эстрадники, барыги с Юга, разъездные пропагандисты, проезжие офицеры и студенты-заочники, отработав свой дневной или вечерний урок, принимаются заливать вынужденное безделье с городскими шлюхами или в сбитых наспех компаниях: в России, как известно, праздная душа жаждет растворения в воздухах.

Лихорадочная эта гульба, наподобие бездонной воронки, втягивает в свой водоворот все живое вокруг себя, неотвратимым потоком докатываясь в конце концов и до его двери.

— Здравствуй, дарагой, — после короткого стука просовывается к нему в номер голова соседа — сухумского виноторговца Саши Ласуриа, — заходи ко мне, гостем будешь, хорошие люди собрались, не пожалеешь.

Для хлебосольного абхазца его гостиничная обитель служит и домом, и канцелярией, и перевалочной базой, превращенной по вечерам в гостеприимную харчевню. Здесь он почти безвыездно живет месяцами, здесь заключает сделки и хранит товар, здесь щедро прожигает шальную выручку с местной знатью и случайными собутыльниками. И редкое застолье обходится здесь без Влада, от которого, с первого дня знакомства, хозяин жаждет заполучить стихотворную эпи-

тафию на могилу погибшего в уличной резне младшего брата.

— Понимаешь, — всякий раз, упившись, жалобно канючит он перед гостем, — такой замечательный мальчик, красивый, как Бог, умный, как академик, плавал, как рыба, бегал, как олень, гордость и утешение семьи, только жить начинал, а они его, как барашка, свалили, шакалы сухумские! — И по-собачьи заглядывает ему в глаза. — Напиши, дарагой, ничего не пожалею, озолочу, век Сашу Ласуриа помнить будешь, только напиши так, чтобы и через сто, и через тысячу лет люди читали, такой человек был!

Но, к своему удивлению, на этот раз Влад застает у соседа лишь одного-единственного гостя. Тот грузно растекается в кресле, взбывив навстречу им массивную, с нездоровой одутловатостью и в сивой гриве голову, будто заранее готовый к неминуемому нападению.

— Заходи, заходи, — подталкивает Влада хозяин, нетерпеливо вибрируя у него за спиной, — знакомься, дарагой, это Василий Иосифович, — он выдерживает короткую паузу и тихо, словно боясь кого-то спугнуть, выдыхает, — Сталин...

Когда, спустя годы, жизнь сведет Влада в Принстоне за одним обеденным столом с родной сестрой этого сановного пропойцы, он вновь мысленно подивится тем неисповедимым путям, какие выпали ему в его скитаниях по земле. Мог ли Влад — потомок нищих хлебопашцев и путейских люмпенов — представить себе в начале земной своей дороги, что ее головокружительные зигзаги когда-нибудь сведут его с людьми, чьи имена, вне зависимости от их обладателей, давно сделались частью мировой истории, но которые вблизи окажутся такими же маленькими и несчастными, как и он сам! Лицом к лицу — лица не увидеть...

В конце концов знойная чача делает свое дело:

недвижная глыба в кресле оживает, отечное лицо напряженно твердеет, ожившие глаза наливаются кровью:

— Сволочи, — хрипло рычит гость, жадно втянув в себя воздух после очередного стакана, — негодяи позорные, отравили вождя, жидовня пархатая, и концы в воду, а меня в эту дыру, чтобы рот заткнуть, только я вас, рвань косопузая, и отсюда достану, мне терять нечего, у меня на вас найдется удавочка, не скроетесь! — Волосатые кулаки его с силой опускаются на подлокотники кресла. — Будьте вы прокляты, козлы вонючие, он вас, шкуры, в люди вывел, из грязи поднял, уму-разуму научил, а вы ему, суки, яду! — И вдруг беспamięтно упирается в переносицу Влада. — Ты кто такой? Встать!

— Это свой, Василий Иосифович, поэт, стихи пишет, сосед мой, рядом живет, — торопится Саша, незаметно подталкивая Влада к двери, — надежный человек, познакомиться хотел, очень уважает. — Он преданно облучает гостя кофейными глазами, пятится спиной к выходу, настойчиво вытесняя Влада в коридор. — Будьте, как дома, батано*, я только на минуточку.

Он тихонько прикрывает за собой дверь, а вслед им тянется пропитой хрип гостя:

— Поэт! Видал я поэтов! У меня эти поэты сапоги лизали, петухами кукарекали, в чем мать родила краковяк изображали, я их — этих поэтов — среди дня раком ставил, суки позорные, Матусовские, бля, Долматовские, Склифасовские, в рот я их мотал, попрятались теперь, как тараканы, не нужен стал, паразиты!..

В коридоре Саша виновато переминается с ноги на ногу, неуверенно оправдывается:

— Бальшой человек, как лев в клетке, на авиа-заводе военпредом, каждая сямка унижает, разве это

* Батано — почтительное обращение (груз.).

жизнь, вот и пьет человек по-черному, себя не помнит, ты, дарагой, извини его, не он хамит, чача хамит. — Он снова заискивающе заглядывает Владу в глаза. — Не забудешь про брата, а? Тоже хороший человек был, большой человек, пускай сто лет помнят, какого человека дали зарезать, напиши, дарагой, слово Саши Ласуриа, озолочу!..

С этим Влад и уходит к себе, чтобы наедине с собой снова и снова попытаться докопаться до сути этих, внезапно настигавших его, вроде бы случайных, но вещей встреч. И снова бередящие детские вопросы удушливой петлей захлестываются вокруг него: как, отчего, почему?

Почему брошенный в водоворот капризной истории безвестный грузинский мальчик, безоглядно презрев, отринув в себе все Божеские и человеческие законы, рвется сквозь нищенскую нищету и тенета охраны, вероломства и грабежи, кровь вчерашних друзей и лезть живущих врагов, чтобы на вершине власти и могущества околоть в собственной блевотине за бронированными дверями своего загородного особняка под гибельным грузом страха и одиночества? Отчего один из сыновей мальчика, скорее пасынок, плод единственной в его жизни любви, отрезанный ломоть во вновь обретенном семействе, бросится в немецком плену на колючую проволоку запретной зоны концлагеря, так и не дождавшись отцовского прощения, а второй — всеобщий баловень, красавец и ловелас, осыпанный чинами и милостями дворцовых подхалимов, после смерти отца сполна вкусит из тюремной чаши и, в конце концов, свалится с перепоя под казанским забором, забытый даже собственными родственниками. И как стрясется, что дочери этого царя царей, затравленной стукачами и соглядатаями, придется искать своей доли на заморской чужбине, где она постарается стереть в себе самую память о своем

прошлом. Вот так, господа хорошие, вот так. И от судеб спасенья нет...

Затем в нем всплывает Зеленый базар краснодарской осенью. Будто в зыбком мареве сновидения, перед ним плавно кружатся жухлые листья платанов на фоне добела облинявшего неба. Базар, как развороченный улей, гудит и мается в бестолковом кружении людей, скота и подвод. У коновязей, сбиваясь в ряд, пофыркивают лошади, и острый запах конских яблок под их копытами смешивается в стоячем воздухе с пряной смесью лежалого сена и гниющей бахчи.

У ворот базара, равнодушный к обтекающей его со всех сторон сутолоке, будто черный камень среди пестрого потока, торчит слепец, заученно выводя под гармошку:

Прощай, Маруся дорогая,
Прощай, отец родимый мой,
Ведь вас я больше не увижу,
Лежу с разбитой головой...

Вторую неделю Влад спозаранку топчется около винной палатки, потягивая кислый свежего урожая рислинг, которым поит желанного покупателя бывший приятель его по колхозной одиссее Хачик Алиханян — однорукий армянин с молящими глазами загнанного оленя. Влад заворачивает в этот город между двумя переводными халтурами в Средней Азии, подхваченный недельным, начатым еще во Фрунзе запоем, в надежде взять реванш за унижение своего бегства отсюда, но вдруг оказывается, что после пяти минувших с тех пор лет здесь уже не с кем сводить счета, некого удивлять и некому плакаться. Иных уж нет, а те далече. Ляля, где ты, не забывай меня!

Терпкая жидкость ввинчивается в него, исподволь ввинчивая его самого в гулкий омут горячечного делирия. Со дня на день все чаще среди базарной толпы начинают прорезываться лица и голоса, еще недавно

осевшие где-то на дне памяти. То в проеме винного прилавка вместо молчаливого улыбчивого Хачика появляется медальное, с седеющим чубом поперек лба лицо «и примкнувшего к ним» Шепилова: «Мы, кажется, с вами встречались во Фрунзе, Владислав Алексич, не правда ли?». То вырывает из людского водоворота его фрунзенский собутыльник, заезжий актер Володя Гусаров, суетится, подмигивает доверительно: «А знаешь, старик, ведь мой папа убил Михозлса, давай выпьем по этому случаю!». То ни с того, ни с сего, будто нечистый дух из сказочной бутылки, перед ними выявляется испитой старик с кроличьиими глазами: «Ты какой-то имэешь право здэсь пит без мена, — неуверенно хорохорится старик, — я заместитл Калынина, Прэдсэдатл Президыум Вэрховый Совет Киргизсск есесесере!»

Следом за этим, все убыстряя и убыстряя ход, его подхватывает бредовая карусель, унося свою жертву сквозь текущий кошмар беспамятства к белому дню тяжкого пробуждения...

Голубоватый, в ржавых потеках потолок заслоняется вдруг возникающим над ним старушечьим лицом:

— Очухался, соколик, слава Богу, почитай, неделю на привязи с чертями хороводы водишь, пора и честь знать. — Белые пряди свисают из-под санитарной косынки вдоль обтянутых пергаментной кожей скул. — Вставай, соколик, не разлеживайся, скорее встанешь, скорее выпишут.

Но до выписки, предреченной старухой-нянькой, ему еще доведется протянуть в больничных коридорах свои полгода принудительного лечения, наложенного на него судом за, как написано было в судебном решении, «оскорбление действием должностного лица при исполнении служебных обязанностей». Да, видно, не в добрый час подвернулся ты под его яростную руку, товарищ первый секретарь краснодарского крайкома комсомола, губастый верзила Вася Качанов! Значит,

нашел он-таки тогда, с кем в этом городе счета свести за давнюю свою обиду!

Знаменитая Столбовая, место вынужденной остановки, запомнится ему лишь тем, что однажды, сквозь щель ограды прогулочного дворика мимо него промелькнет одутловатое, в коконе вязаного платка лицо Катьки-дурочки, его бывшей соседки по квартире на Митьковской. Промелькнет, чтобы тут же исчезнуть, слиться с вереницей себе подобных, но самым своим призрачным появлением как бы смыкая еще один виток спирали, по которой он столько лет карабкается неведомо во имя чего и зачем. Всякое знание умножает печали.

Только ранней весной, когда первая ростепель примется стачивать с крыш и дорог зимнюю наледь, Влад вернется в самсоновскую берлогу в Сокольниках, где найдет ожидавшую его открытку из издательства «Молодая гвардия»: «Просьба зайти в отдел Литературы народов СССР для переговоров».

Подпись по обыкновению была неразборчива.

5

Помнится, уже в ту первую их встречу, наскоро покончив с делом (речь шла о какой-то киргизской книжке, выходявшей здесь в переводе Влада), они в последующем разговоре сразу прониклись взаимной приязнью. Гостя располагала в собеседнике та доверительная простота, с которой тот делился с ним, более или менее случайным посетителем, своими первыми впечатлениями о столице, куда лишь недавно перебрался из Калуги, где тянул лямку в местной молодежной газете, а того, видно, в свою очередь, Владово редкое теперь среди окружающих умение слушать и неизменно удивляться.

— В провинции, конечно, проще, — тот словно

раздумывал вслух, взыскующе посвечивая на него выпуклыми, желудевого цвета глазами из-под высокого, в ранних залысинах лба, — первым парнем на деревне всегда легче стать, чем вторым в городе, но эта легкость засасывает, сам не заметишь, как превратишься в калужского Безыменского, болванчика для областных президиумов. — Собеседник чуть заметно подмигнул, как бы приглашая его в сообщники. — Москва слезам не верит, будем штурмом брать, штурмом не получится — измором возьмем, отступать все равно некуда, позади — Калуга. — И вдруг вспыхнул, загорелся внезапной решимостью. — Кстати, не хотите сегодня вечером ко мне заглянуть, посидим, выпьем, поговорим за жизнь, стихи читаем, я вам кое-что из своего даже спою, говорят, слушать можно. Берите адрес, это в двух шагах от метро...

Казалось бы, ничего в этот вечер особенного не произошло, застолье как застолье, лишь по-семейному упорядоченное, но после обещанных песенок хозяйина, эдакого раздумчивого речитатива под гитару, что-то в нем тогда определилось, встало на свои места, будто сквозь бурное мелководье верховья реки, когда его, ослепленного стихией, в животной жажде спастись несло без руля и ветрил неизвестно в каком направлении, он выплыл наконец на ее глубинный простор, откуда земная явь вдруг разомкнулась перед ним во все стороны света.

Все вроде бы в тех песнях звучало и выглядело до примитивности незамысловатым, тоска вечной девочки о вечно голубом шарике — мечте, встреча с никем нагаданной женщиной, которая «на той же улице живет», упрямый огонек среди непогод судьбы, но их — этих песенок — колдовская стихия, самой простотой своей внутренней логики в тот вечер как бы вывела Влада за пределы его представлений о насущном и дозволенном в литературе, властно раздвинув кольцо неприкасаемых табу и обязательных запре-

тов, которые — вот так, лицом к лицу, оказались не-всамделишными, как чудища в детском спектакле.

Даже потом, спустя годы, еще и еще раз вслушиваясь в знакомые слова, уже в записях и переложениях, Влад всегда поражался их самовоспроизводящейся новизне: они неизменно возвращались к нему в прежнем качестве, как тот шарик, что до скончания веков обречен оставаться голубым...

Так и запечатлелось с тех пор: весенний вечер, Москва-река в синих сумерках за окном, гитарные струны в ломких пальцах хозяина и ликующее чувство свободного парения над всем сущим и над самим собой. Бездна соблазном сладостно беспредельного полета поманила Влада и он, не оглядываясь более, двинулся к этой бездне следом за своим новым поводом. Где ж ему было знать тогда, что на полдороге поводирь не выдержит, ослабнет духом и свернет с нее, оставив ему вместо путеводителя облегчающее волшебство своих песен...

Влад тянулся за ним, словно нитка за иголкой, по всем литературным торжищам и коридорам от «Литгазеты» до Союза писателей, стараясь шагать по-саперному — след в след, не отставая, но и не рискуя забегать вперед, что, кстати сказать, ему было и не по силам. С жадностью и любопытством он изучал за спиною у вожатого уже освоенное пространство, вслушивался, вдумывался, запоминал, не оставлял без внимания даже самые пустяшные мелочи, а затем двигался дальше, в покровительственной тени идущего впереди. Этот путь стоил ему, при его врожденной гордыне, многих обид и унижений, но положив для себя однажды попытаться дойти до сути вещей, он, давась от яростных слез, поступался собою ради (пусть тщетной, пусть иллюзорной) возможности достичь поставленной цели.

Среда, в которой он волею судеб наконец оказался и к которой так долго и с таким упорством стре-

мился, удивила его прежде всего тем, что жила, существовала, функционировала вне какой-либо зависимости от окружавшей ее реальной действительности, как совершенно непроницаемое для породившей ее почвы автономное тело. Естество живой яви отражалось в нем словно в фокусе множества кривых зеркал, обезображенное до неузнаваемости набором искаженных повторений, порождало здесь в людях такое состояние ума и души, что временами Владу казалось, будто его нежданно-негаданно занесло в водоворот некоего фантастического маскарада, где каждый обманывает прежде всего самого себя, а потом уже, все вместе, — друг друга.

Иному неискушенному новичку инопланетяне, наконец, увиделись бы куда более простыми и объяснимыми, чем обитатели этой, почти противоестественной, камеры-обскуры, хотя большинство из них — этих ее обитателей — прошло, что называется, огни, и воды, и медные трубы, и кое-что еще, о чем, тем паче к ночи, иному и вспоминать не захочется. Бывшие чекисты и вчерашние лагерники, «завязавшие» блатари и графоманствующие оперуполномоченные, рабочекрестьянские выдвиженцы и отставные партработники, подающие надежды нимфетки и стареющие потаскухи, стукачи, расстриги, службисты — они несли в себе многое знание падших ангелов, но оно, это знание, не умножало их печали или прозорливости, а лишь облегчало им умение лгать и притворяться друг перед другом, не становясь при этом сколько-нибудь счастливее.

Здесь отпрыск вельможной фамилии, чуть ни с пятнадцатого века торчавшей в «бархатной книге», мог свалиться в инфаркте после получения не той совдеповской побрякушки, на которую он рассчитывал, а почтенный прозаик, оттянув два десятка лет по колымским командировкам и чудом уцелев, перво-наперво, уже с порога, спросить у ошарашенной его

появлением жены: «Мне из секции не звонили?». Здесь поэт с европейским именем запивал мертвую только потому, что его не избрали в правление, а два побитых молью версификатора забивали друг друга до полусмерти в споре, кто из них первый стихотворец России. Здесь маститые литературоведы с мировой скорбью на сократовском челе становились смертельными врагами, не поделив места на очередном пленарном заседании, а военные романисты из вчерашних окопников плакали навзрыд, будто малые дети, не попав, после унижительных хлопот, в список туристической группы, отбывавшей в Венгрию или Болгарию. Тень Орвелла — печального рыцаря безумной эпохи — витала над этой средой без каких-либо шансов когда-нибудь раствориться или исчезнуть. Оставь надежды, всяк сюда входящий!

Горький океан огромной страны яростно бушевал вокруг, порою даже проникая под здешнюю кровлю то моровым ветром ежовщины, то гарью большой войны, то мутным похмельем запоздалых реабилитаций, но обжигающие волны его, едва коснувшись гладкой поверхности, откатывались назад, не в состоянии изменить или хотя бы поколебать ее внутреннего монолита. Внешняя явь, сколь бы зримой она ни была, не вызывала здесь особенного интереса (и чем зримее, тем меньше!), а лишь скоропреходящую досаду.

Тем более не вызывала здесь интереса прожитая Владом жизнь. Слушая его, окружающие, даже из тех, кто поспособнее и посовестливее, только снисходительно посмеивались или сочувствовали, относясь к услышанному как к уходящей в небытие экзотике: довелось, мол, парню хлебнуть, но ведь когда это было да и было ли вообще!

— Тоже мне проблемы! — говорил ему в таких случаях один подающий надежды молодой критик, недавний золотой медалист школы для дефективных.

— Нищий с нищей переспал, бродяжка бродяге исповедовалась! Деятнадцатый век, а мы, слава Богу, в космическую эпоху живем, учись вон у Икса, какие пласты поднимает: коренная перестройка сельского хозяйства, реформа школьного образования, перевод качества борьбы с религией в духовный план, и без оглядки, режет правду в лицо, говорят, в цека за голову хватаются.

— Чего ж тогда печатают?

— Темный ты еще, Самсонов, много не понимаешь, — «профессорские» очки на угреватом носу критика вызывающе вздергивались. — Учись, приглядывайся, а не задавай глупых вопросов. Будешь умных людей слушать, поймешь.

Но Влад не понимал. И не хотел, отказывался понимать, почему в доступной ему западной литературе, созданной в мире, где эта самая «космическая эпоха», казалось бы, автоматизировала все чуть ли не вплоть до деторождаемости, герои — издольщики и ростовщики, бродяги и проститутки, клерки и прогоревшие банкиры, рыбаки, шоферы, люмпены — терзались извечными людскими страстями: любовью, смертью, завистью, милосердием, тайной рождения и смыслом жизни, — а тут, в стране, где народ (и народы!) годами и годами захлебывались в крови и блевотине, где для половины населения новые кирзовые сапоги были неслыханной роскошью, а для еще большей половины отхожим местом служил собственный участок, где водопровод, «сработанный еще рабами Рима», даже в областном центре считался привилегией, а мотоколяска оставалась пределом мечтаний любого инвалида, на страницах книг (к тому же — лучших!), в спектаклях и фильмах (к тому же — талантливых!) лицедействовали отважные председатели колхозов, засевающие, вопреки начальству, свои поля рожью, а не ананасами, героические изобретатели — враги рутины и бюрократизма, комплексующие стю-

ардессы и кинорежиссеры, физики и лирики с проблемами мьюмезонов и сложных аллитераций на задумчивом челе? «Какие, к чёрту, физики, — хотелось кричать ему благим матом, — какие лирики, какой к евоной матушке «мьюмезон», когда большинство из вас — авторов и исполнителей, — каждое утро выстраивается в очередь у коммунальных клозетов с куском «Правды» в руках для подтирки! Окститесь, окаянные, разуйте глаза и оглянитесь вокруг себя, заживо ведь сгниваете!»

Все чаще и чаще яростное недоумение принималось источать его: как это получалось у стариков, что маленькие и сами сознававшие свою малость чернильные души из Богом забытых департаментов, вроде Башмачкина, под пером разрастались до гигантских размеров, оставаясь в памяти поколений живым укором и поучением, а в обступавшей его литературе полные генералы и сановники высшего ранга титаническими усилиями нынешних сочинителей превращаются в ряженных в ослепительные мундиры титулярных советников? Лишь спустя много лет до него дошло, что этим читатель обязан плодам всенародного просвещения: Башмачкины больше не желают быть героями литературы, они взялись ее делать.

И конечно же, взявшись за перо, они, по мере увеличения личной продуктивности, свято уверовали в свою исключительность, дающую им право взирать на окружающее и его обитателей как на объект для самоутверждения или материального обогащения. Мир в их сознании четко делился по водоразделу «они» и «мы», то есть, те, кто прозябает в колхозах, тянет лямку на производстве, просиживает стулья в присутственных местах, штурмуя по утрам транспортные средства, а вечером выстаивая в очередях, и те, которые считали себя вправе воссоздавать их жизнь на бумаге по своему произволу и усмотрению, заливая совесть горячительными напитками под дефицитную

закусь из закрытых распределителей. Гусь свинье не товарищ.

Влад чувствовал себя здесь случайным гостем, чужаком, иностранцем, занесенным сюда попутным ветром капризной удачи, тоскливо изнывал, пытался внутренне сопротивляться общей инерции, но когда становилось невозможно от этой ярмарки тщеславия и самодовольства, он безоглядно устремлялся в сладкую пропасть пьяного забытья, откуда навстречу ему выносились, будто фантом за фантомом, отстоявшие-ся потом в памяти видения...

Сквозь похмельное пробуждение распахивалась перед ним залитая ослепительным светом августовского утра аудитория МГУ на Моховой, в глубине которой маячило неизменно смеющееся, в рыжей щетине, лицо чеха Франтишека, бежавшего из туристической группы вместе со своим запившим гидом Славкой Сарычевым, непризнанным стихотворцем и давним собутыльником Влада по литературной богеме.

— Огогого! — приветствовал его пробуждение не знающий ни слова по-русски беглый чех и подмигивал ему, выпрастывая откуда-то из-под ног едва почагую четвертинку. — Хо-хо!..

Чернильный рассвет ранней зимы линиял над ним в окнах загроможденного допотопной фауной зала Зоологического музея, где в укромном месте за скелетом динозавра старик-сторож угощал его очищенным по собственному рецепту формалином под валидол вместо закуски.

— Ох крепка, — выцедив свою долю, мотал сивой головой сторож, — поссать пойдешь — сапоги прожигает...

В лабиринте автомобильного затора, сквозь выюжную замаять мокрого снега скользила от подъезда школы-студии МХАТа хрупкая девочка в мальчишеской шапке — Люда Гаврилова — с умоляющим криком на горячих губах:

— Не трожьте его, я его знаю, я отвезу его домой, ради Бога, отпустите человека, отпустите же!..

Страхивая с себя мучительное наваждение и приходя в память, Влад принимался поспешно освобождаться от распиравших его слов и видений и бумага корчилась у него под рукой, под их лихорадочным напором. «Наконец-то, наконец-то, — грезилось ему, — вот оно — настоящее, теперь само пошло, не оставишь!».

Но, видно, в обманчивой легкости, с какой выстраивались у него строчки, таился коварный подвох, если всякий раз, когда он отдавал их на суд вновь обретенному другу, тот, небрежно листая рукопись, морщился.

— Ну, сам посуди, Влад, кому это нужно? — Желтые, с темным отливом глаза его светились досадой. — Опять какие-то Богом забытые типы, ни то, ни сё, сплошной горьковский маскарад, не более того, только еще на церковный лад, брось ты эту свою ахинею, возмись за настоящую тему, смотри вон, Г. в новой вещи какой пласт поднял — молодежь после двадцатого съезда, или возьми нашего с тобой приятеля Борю М., о предвоенных мальчиках, завтрашних фронтовиках замечательную вещь выдал, Паустовский, говорят, плакал, а это на, бери, спрячь и больше никому не показывай.

Влад выходил от друга, и небо над ним выглядело в овчинку, и солнце казалось черным. «Что же тогда делать мне, если они есть — эти люди? — изводился он горьким недоумением. — Я с ними жил, ел, пил, спал, работал, их миллионы, им нет никакого дела до двадцатого съезда или духовного кризиса интеллигентных мальчиков, у них просто нет времени, чтобы об этом думать, они заняты одной-единственной заботой от колыбели до гробовой доски: как прожить, прокормиться, просуществовать, неужели их

судьба не представляет никакого интереса и не стоит слез Паустовского?».

Нет, с этим Влад смириться не мог, не хотел! Смириться с этим означало для него предать тех, кто остался у него за спиной, продолжая отчаянно выживать в этом мире, где день начинался с мыслью о куске хлеба, а ночь с надежды на милость Всевышнего.

И Влад писал, писал и писал. И только о них.

6

Пройдет достаточно много лет, в течение которых медленно, но неумолимо забудутся, истлеют на полках, пойдут под картонажный нож пухлые фолианты об идейно комплексующих мальчиках, находящихся в конце концов внутреннее удовлетворение в общественно полезном труде, об одиночках-изобретателях, преодолевающих бюрократическую косность, о радикальных хозяйственниках — победителях советского бездорожья и разгильдяйства, а его, осмеянные и обруганные даже самими близкими ему людьми, неказистые опусы с их «горьковским, только на церковный лад маскарадом», будут заново и заново возрождаться во множестве изданий, захватывая в поле своего притяжения все новых и новых читателей. Кто ответит, в чем здесь секрет? Сам он и не может ответить на этот вопрос до сих пор.

С тем давним своим другом ему придется встречаться еще не раз, но знакомые песни, не теряя своего печального обаяния, уже не вызовут в нем того захватывающего дух ощущения раскрепощенного полета, какое охватило его тогда на Фрунзенской набережной в тот первый вечер их неожиданного знакомства. Мир вокруг нас катастрофически линяет, и голубой шарик на этом стерильном фоне начинает

казаться тем, чем он является на самом деле, — просто детским шариком, а не знаком судьбы.

«Боже мой, — тоскливо возопит Влад, — ради того ли мы когда-то начинали и к тому ли рвались, чтобы прийти к такому концу, а жизнь-то наша ведь на исходе, на излете, на последнем, можно сказать, издыхании. Люди добрые, караул!».

Такие дела, дорогой, такие дела, из песни, как ни крути, ненаглядный, слова не выкинешь. Как труп в пустыне я лежал.

7

С утра, как заколодило. Слова под рукой теряли цвет и объем, фразы беспомощно рассыпались, диалог развивался через пень-колоду. То, что вчера еще выглядело таким легким, почти летучим и податливым, сегодня отвердело, высохло, сделалось мертвым. Казалось, бумага корчится у него под рукой, отказываясь воспринимать словесную шелуху. Нетерпеливое желание высказаться обо всем, что плавилось в нем, не находило выхода, словно запекаясь полым шлаком в горловине кратера kloкочущая внутри лава. «Господи, — тягостно мутило его, — неужели выдохся, ведь толком и начать-то не успел?»

Осторожный стук в дверь несколько облегчил Влада, обещая временную, но, может быть, спасительную передышку:

— Чего стучать, открыто!

Мгновенно на пороге объявился молодой человек в импортном плащике по моде — до колен, при фирменном галстучке на резинке, над которым светилося дружелюбной, чуть ли даже не умильной улыбкой тугое, курносое, с ямочкой в безволосом подбородке лицо:

— Здравствуйте, товарищ Самсонов, — распахнув настежь дверь, он так и остался стоять на пороге, — я из «Литгазеты», Валерий Алексеич Косолапов вызывает вас по срочному делу. — Говорил он слишком заученно, намеренно громко, скорее не хозяину, а кому-то у себя за спиной в кухне. — Я — на машине.

Ситуация представилась Владу вполне прозрачной, удушливый холодок подкатил к горлу, но, стараясь оттянуть время, чтобы успокоиться, он принялся отвечать короткими фразами, все удлиняя их по мере обретения полной ясности:

— Закройте сначала дверь. Мои соседи все равно не знают, кто такой Косолапов. Это во-первых. Во-вторых, Валерий Алексеич приезжает в редакцию к одиннадцати. Сейчас половина десятого. В-третьих, я не такая фигура, чтобы главный редактор «Литгазеты» чуть свет присылал за мною нарочного, а в-четвертых, я знаю в редакции всех и каждого, включая кошек, вас мне там встречать не приходилось. Давайте начистоту, я не мальчик — не разревусь.

Тот послушно закрыл за собой дверь и, умоляюще скрестив на груди короткопалые руки, потек мольбой и елеем:

— Вы не подумайте ничего плохого, товарищ Самсонов, теперь другие времена, мы восстановили социалистическую законность, опять же принципы товарища Дзержинского, руководство хочет побеседовать с вами, по-дружески, как старший товарищ, как отец, без всяких там формальностей, за стаканом чаю...

— Чай не водка, сами знаете, — входя в роль, подыграл ему Влад, — много не выпьешь, чего нам с вами в прятки играть, ехать-то все равно придется?

Тот потупил глаза, вздохнул соболезнующе:

— Придется.

У ворот их ждала новенькая, с иголки «Победа». По дороге спутник не переставал оправдываться и уговаривать его:

— С беззаконием у нас теперь покончено раз и навсегда, товарищ Самсонов, все старье вычищено под корень, из старшего поколения остались только честные, незапятнанные работники — учить нас — молодежь, передавать нам, так сказать, опыт. Возьмите, к примеру, меня, я сам еще недавно в обкоме комсомола сектором внешкольной работы заведовал, но партия приказала в органы, а я — солдат партии, товарищ Самсонов. И таких, как я, у нас в организации теперь — большинство. У нас другие методы, мы не караем, мы — воспитываем. Что говорить, сейчас сами увидите...

Воспринимая парня вполуха, Влад неотрывно смотрел на бритый, в первой седине затылок шофера, надменная молчаливость которого едва заметно — зоркими поворотами головы из стороны в сторону, покачиванием округлых плечей в такт виражам машины, легкими, будто невзначай, покашливаниями — выражала откровенное презрение к тому, о чем толковал Владу его спутник. Видно, за свою жизнь этот седеющий чекист перевозил у себя за спиной столько всякого народу и переслушал столько всяческих речей и заклинаний, что никакие нововведения были уже не в состоянии поколебать его уверенности в жалкой тщете каких-либо разрушительных попыток: мы были, мы есть, мы будем!

Если бы у Влада спросили, что более всего бросилось ему в глаза в здании, куда его призвали, он не задумываясь ответил бы: «бесшумность». Равнодушный ко всему, похожий на глухонемого часовой, внимательно изучив удостоверение парня, бесшумно отсалютовал, бесшумный лифт бесшумно поднял их на четвертый этаж, по бесшумным, благодаря цельному ковру, коридорам они дошли до двери, как две капли воды похожей на все остальные, спутник бесшумно потянул ее на себя, сунул в открывшийся про свет голову и сразу же отпрянул назад, коротким кив-

ком приглашая Влада войти, а сам оставаясь в коридоре.

Кабинет оказался довольно скромным, с двумя канцелярскими столами, расставленными буквой «Г», и с большим окном, выходящим в затененный соседними зданиями двор, отчего все здесь выглядело сумрачно и уныло.

— Здравствуйте, здравствуйте, Владислав Алексеевич, — из-за стола, стоявшего торцом к двери, навстречу ему выкатился небольшого роста рыжеватый крепыш лет сорока пяти в ладно скроенном двубортном костюме, — давненько хотел с вами познакомиться да все, знаете, дела, дела, работа у нас, сами знаете, круглые сутки без выходных и праздников. — Он тоже, как и его подчиненный, прямо-таки излучался доброжелательным радушием. — Наслышан, Владислав Алексеевич, наслышан, слухом, надеюсь, догадываетесь, — доверительно подмигнул он, — земля полнится. — Подхватив Влада под локоть, он повлек его к стулу за столом у окна. — Давайте знакомиться, Бардин Михаил Иванович. — И дружески заглядывая в глаза. — Чаю? — Но тут же подмигнув вновь, все с тою же доверительностью, явно подчеркивая этим степень своей осведомленности. — Или, как там теперь говорят, чай — не водка, много не выпьешь? — В этот момент у него даже лицо осунулось от душевного сокрушения. — Рад бы в рай вместе с вами, Владислав Алексеич, но у меня закон: на работе — ни-ни. Вот как-нибудь на досуге, в хорошей компании, а то и тет-а-тет, как говорится, соберемся и разопьем бутылочку-другую армянского, а сейчас давайте займемся делом. — Но и в его деловитости сквозил все тот же игривый душок. — Мы, Владислав Алексеич, хотели посоветоваться с вами, есть мнение организовать при Московском отделении союза писателей молодежное объединение, что вы думаете по этому поводу?

Влад с самого начала решил принять навязанный ему тон, чтобы укрепить в собеседнике уверенность в безошибочности примененного к новичку метода:

— Есть мнение, говорите? — дурачась, осклабил-ся он. — Это у кого же?

— У нас, Владислав Алексеич, у нас, в комитете государственной безопасности. Ну-с?

— Зубатов когда-то тоже пытался, — по-прежнему дурашливо отшутился Влад, — к сожалению, не вышло.

— Мы всерьез, Владислав Алексеич.

— Да ведь он тоже не в бирюльки играл.

— Вы, я гляжу, шутник, Владислав Алексеич. — Лицо у него сделалось словно у обиженного ребенка. — По-вашему, конечно, мы все здесь звери и бюрократы, только и думаем, как бы кого поймать и посадить, а у нас тоже обо всем душа болит. Вы что же считаете, мы не видим недостатков, безобразий, упущений всяческих? Видим и боремся с ними, вот вы нам и помогите, Владислав Алексеич, — отвердевший взгляд его пристально уперся в переносицу собеседника, — ведь вы же советский человек?..

Возникшая вслед за этим мимолетная пауза во-брала в себя долгие перипетии их мысленного рис-талища:

«Вот приходится с тобой возиться, разговоры разговаривать, рвань несчастная, ничего не поделаешь, такие времена, лет десять назад ты бы у меня дерьмо собственное ел, мочой умывался, сукин сын, а нынче терпеть приказано, воспитывать себе на голову. Хотя, шут тебя знает, может из тебя еще и толк получится, молодая дурь играет, перебесишься — поумне-ешь, кто в молодости не чудил? Не глуп, но прост, хоть и артачишься, и доверчив, приручить можно, только потихоньку-полегоньку, самолюбив больно, если чуть пережать — сорвешься...»

«Знаю, знаю, чувствую, что ты обо мне думаешь, но ошибаешься, уважаемый, как до тебя ошибались многие и многие, не по плечу я тебе, не по зубам, хотя волк ты, кажется, опытный. Пока ты меня изучал, пока делал выводы, я менялся, впитывал как губка все, что слышал, видел, читал. И чем больше я впитывал, тем больше становились мои претензии к самому себе. И так всегда было, и так всегда будет. Нет у тебя и у тех, кто выше тебя, и у тех, кто еще выше, таких золотых гор, таких молочных рек, таких кисельных берегов, чтобы посулить мне. Мне все равно будет мало, я большего хочу, а чего и сам не знаю, чувствую только, что не по карману тебе и твоим начальникам эта плата...»

«Наши из союза писателей докладывают, что талантлив, мне на это, откровенно говоря, наплевать с высокой колокольни, не такие таланты у нас под себя ходили, но есть указание воспитывать, значит, будем воспитывать. Биографию твою я изучил, как свою собственную: из рабочей семьи, отец, правда, с троцкистами путался, но скорее по честолюбию, чем из убеждений, да и какие там убеждения после армейского ликбеза, беспризорничал, побывал в семи колониях, судим, отбывал в детском лагере, бежал, разумеется, пойман, иначе и быть не могло, мы не задарма деньги получаем, отправлен на экспертизу в вологодскую психбольницу, признан душевнобольным, «липа», но мне и это сгодится, сговорчивее будешь, колхоз, газета, московские знакомства, разговоры — всё на учете, копии милицеских протоколов и те к делу подшиты, очень трепыхаться не советую, а если, действительно, голова на плечах есть, то и договоримся...»

«Зря, зря стараешься, гражданин начальник, одно обещаю, что дам тебе время для заблуждений, оно мне самому, это время, нужно, я еще только начал, я еще бреду почти вслепую, мне раньше времени в

петлю лезть себе дороже, поэтому я должен позволить тебе сыграть роль кошки, но, как бы, гражданин начальник, в конце концов нам не поменяться местами: я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя рыжего и подавно ускользну, была бы только ночка, да ночка потемней!...»

А вслух у них складывался совсем иной разговор:

— Вы же умный человек, Владислав Алексеич, — Влад еще с беспризорных своих лет усвоил, что такое начало всегда рассчитано именно на дураков, но виду не подал, позволяя собеседнику выговариваться первому, так надежнее, — подумайте сами, зачем нам озлоблять творческую молодежь, толкать ее на нелегалщину, мы хотим помочь вам публиковаться, найти для вас место, где вы могли бы обсуждать литературные и другие проблемы в нормальной обстановке, а не по подвалам Бог знает с кем. Прошу извинить за банальность, но враг-то — он действительно не дремлет, а к вам уже, как известно, иностранцы зачастили, а мы этих самых иностранцев знаем, как облупленных, за редким исключением — сплошная агентура, мягко стелют да жестко спать будет. — Белесые брови его вопросительно вскинулись, но в белых глазах вопроса не было, был вызов. — Давайте откровенно, Владислав Алексеич, без околичностей, а?

— Эх, Михаил Иванович, — Влад решил играть свою роль до конца, — не все ли равно, где пить, что в подвале, что в Доме литераторов, ухо у вас и там, и там есть, не спрячешься, а вот если ребятам печататься поможете, польза будет, сбросить пар давно не мешало бы, взорвет — хуже получится, журнал позарез нужен, у стариков нам не пробиться.

Пожалуй, впервые с начала встречи в быстром, вскользь, искося взгляде Бардина промелькнула неподдельная заинтересованность с примесью некоторого

даже удивления, как бы вдруг продолжив их молчаливое единоборство:

«Э, да ты не так прост, как я погляжу, что ж, пощупаем тебя и с этой стороны, учтем, и это учтем, человек вроде луковицы, сколько слоев снимешь, пока до сердцевины доберешься, но мне спешить некуда, на меня время работает, раздону, как миленького, никуда ты от нас не денешься, ты себе на уме, а я себе, посмотрим, чей козырь старше, тактику только, видно, с тобой придется прокорректировать, оперативные данные для нас не догма, а руководство к действию...»

«Не спеши, не спеши, гражданин начальник, опять ошибешься, не гадай попусту, нету у тебя ко мне ключика и не будет, не подберешь, отмычка тоже не годится, щели во мне нет, был бы ты подальновиднее, раздавил бы и — концы в воду, ни шума, ни памяти, кто он такой, этот самый Самсонов Владислав Алексеич, был и нету, только ведь не догадаешься, потому что привык, приучили решать задачки в пределах четырех правил элементарной арифметики, а тут тебе даже не высшая математика, что тоже не так уж сложно выстроить, тут, может быть, термоядерная, пусть маленькая, но такая же неуправляемая стихия, попробуй, найди ей магнитное поле, чтобы на месте удержать?...»

Это их заключительное столкновение спрессовалось в считанные мгновения, после чего Бардин придвинул к себе настольный блокнот, открыл, смаху выдернул из пластмассового стаканчика карандаш, что-то записал и, вырвав листок из блокнота, протянул его через стол Владу:

— Благодарю вас, Владислав Алексеич, за беседу, мне это помогло кое в чем разобраться, вот вам мой телефон, если что, звоните, не стесняйтесь, я всегда на месте, когда нет, вам скажут, где меня искать.

— Собственно, зачем, — попробовал было отбояриться Влад, — понадобится, найдете ведь.

— Найдем, — спокойно согласился тот. — Но всякое может случиться, Владислав Алексеич, — и будто невзначай, — вы ведь, кажется, на учете в психдиспансере? — И опять, как ни в чем не бывало. — Берите, берите, можете звонить, можете не звонить, ваша воля, я к вам в приятели не навязываюсь, для вашей же пользы предлагаю, выбросить никогда не поздно. — Он нажал кнопку звонка, выкатился из-за стола, жестом приглашая Влада к выходу, а у двери протянул руку. — До свидания, Владислав Алексеевич, рад познакомиться. — И уже обращаясь к мгновенно возникшему на пороге недавнему Владову спутнику. — Проводите товарища, Виктор Семеныч.

В их скрестившихся напоследок взглядах, словно в двух сабельных ударах, молча определились занятые ими позиции:

«По нулям, гражданин начальник, — подытожил Влад, — ничья».

«Нет, — было ответом, — игра не кончена, после перерыва начнем снова...»

Теми же коридорами, на том же лифте, мимо того же истукана — часового они вышли на Кузнецкий, где спутник Влада, все так же расплываясь дружелюбием, протянул Владу руку:

— Всего хорошего, товарищ Самсонов, я же говорил вам, что у нас теперь полный порядок, а по душам, почему не поговорить, и вам, и нам полезно, мы же все советские люди. До свидания.

Тот мигом исчез, откуда появился, а Влад остался стоять среди людной улицы с листком бумаги во вспотевшей руке. «Надо уезжать, — было его первой мыслью после всего только что происшедшего. — Эти, если вцепятся, не отстанут».

И сразу пришло решение: в Казань.

Спустя несколько лет, прочитав «Хранителя древностей» Юрия Домбровского, Влад вспомнил историю с бардинским телефоном, точь-в-точь похожую на ту, что произошла с одним из героев этого романа. «Телефонный» прием был, оказывается, обычной в ряду многих приманок, бросаемых здесь, как правило, наугад, так сказать, вслепую, но постоянно отзываясь в памяти, она, эта приманка, дразнила воображение, тревожила, обольщала и притягивала, как притягивает слабую душу близкая бездна. В конце концов нехитрый расчет оправдывал себя: сколько числится их в потайных списках, этих человек, уловленных таким размашистым неводом?

Уже потом, на чужбине — в уличной толчее, в русском ресторане, среди диссидентских собраний и на эмигрантских посиделках — перед ним не раз возникали лица, отмеченные каиновой печатью «телефонного» образца. Их нетрудно было узнать по вызывающей агрессивности в затравленных глазах, по претензиям на исключительную демократичность, по неизменной готовности перед угрозой разоблачения прикриться «сению закона», с пеной у рта требуя непровержимых улик и юридических доказательств, как будто бывшему заключенному нужно гадать, кто его сосед, если тому разрешается дополнительный паек или вольное хождение за зону.

От яростного соблазна обрушить на гадину карающий кулак его в такие минуты удерживала только инстинктивная вера в то, что наступит все же наконец время последних итогов, когда, как было сказано, мы назовем их поименно, ибо страна должна знать своих стукачей!

Волга в ту весну распласталась особенно мощно. Прибрежные крыши, казалось, плыли над водой, которая, разлившись по впадинам и низинам, просматривалась до самого горизонта. По утрам со стороны реки тянулась волокнистая вата тумана и тогда поселок выглядел, будто скопище перегруженных барок, дрейфующих на плаву под парусами шиферных кровель. С каждым днем тяжесть влажного воздуха все более насыщалась запахами лесной трухи и разбухающей древесины. Еще одна весна переписывала черновик земли, чтобы уже в следующем году начать все сначала.

Из сторожки на пригородной станции Обсерватория, где обосновался Влад, стоявшей на взгорье, окрест гляделся, как на ладони, широко распахнутый на три стороны света. По утрам, наскоро растопив печку-временку и кое-как сготовив себе немудрящий завтрак, он садился за стол и у него под рукой принимался возникать знакомый мир его дворовой поры:

«Жизнь Василия Васильевича текла своим чередом. Неожиданный приезд брата и его внезапное исчезновение не нарушили ее безликого однообразия. С утра до вечера сидел он, сгорбившись, перед лестничным окном второго этажа во флигеле и оттуда — как бы с высоты птичьего полета — печально и трезво оглядывал двор. За вычетом ежемесячной недели запыля Лашков просиживал там ежедневно — зимой и летом. Он подводил итог, зная, что скоро умрет».

Видения возникали перед ним одно за другим и люди, которых он знал и помнил, заговорили в нем своими подлинными голосами, вызывая у него чувство естественной сопричастности к их жизни, судьбе, страстям и волнениям.

Пронзительный запев трехрядки плыл к нему из далекого сокольнического далека под хмельной тенорок Ивана Левушкина:

— «Бывало вспашешь пашенку...»

Следом за ним, пронизывая слух, несло из пространства умоляющее храмовское:

— Что же ты плачешь, Иван Никитич? Что же ты плачешь? Ты же класс-гегемон. Все — твое, а ты плачешь. Тебе нужно плясать от радости, петь — от счастья. Земля — твоя, небо — твое. Исакиевский собор — тоже. А ты плачешь, Иван Никитич. Или тебе мало? Исакия мало? Метрополитен бери. Плачешь? Плачет российский мужик. Раньше — от розог, теперь — от тоски. Что же случилось с нами, Иван Никитич? Что?

И словно отвечая тому, отдаленно гудел голос участкового Калинина:

— Заруби, Лашков, не таких, как ты, нынче к стенке ставят. Там не спрашивают, сколько у тебя огнестрельных, а сколько осколочных? Там спрашивают, где и когда завербован? знаешь, как? Вот то-то.

Все звучало и двигалось перед его глазами, в том виде и с тою естественной рельефностью, какие сообщало происходящему действию освобожденное от мелочной памяти воображение, когда чудо выдумки становится убедительнее самой реальности. Явь прошлого парила в нем, распахивая его душу навстречу краскам и голосам. И вырвал грешный мой язык.

К вечеру, когда все оглохло в нем от усталости, а сердце принималось млеть и томиться, Влад спускался вниз, к дому обсерваторского шофера Вани Никонова, где вел с хозяином разговоры, что называется обо всем понемногу: сам под бутылочку, а тот — некурящий трезвенник — под чаек.

Жена шофера — Таисия — бабенка живая и ухватистая, привчала Влада с особой ласковостью, объ-

ясняя свое радушие с обескураживающей откровенностью:

— Мужиком в доме запахло, — любовно светилась она в сторону мужа озорными глазами, — а то ведь что такое, у всех мужья, как мужья: и пьют, и курят, только у меня одной такой малохольный, кроме чая ничего не потребляет, одно название, что мужик, горе мое!

В ответ Иван только посмеивался, прихлебывая чаек, покачивал чубатой головой, подмигивал гостю:

— Во дает баба, скажи, а ей бы алкаша какого ни есть, чтобы он ей тут провонял, просмолил все да еще бы за косы по пьянке таскал, это у нее мужик называется, да таких мужиков пруд пруди, только свистни, отбою не будет, вот она тебе, бабья логика!..

Этой игрой при нем хозяива принимались заниматься, едва Владу стоило переступить их порог. На самом же деле любили они друг друга без памяти, жили душа в душу и ничто не могло омрачить их брачный союз, даже отсутствие детей.

По воскресеньям с полуночи Иван увозил Влада на один из речных островов, и там, в ивняке, у костра изливал перед ним свою переполненную счастьем душу:

— Ты писатель, тебе все надо знать, глядишь пригодится, в книжку вставишь, как у меня с Таисией началось, ни в сказке сказать, ни пером описать, кому другому Расскажи, не поверит, знал бы ты, Владислав Алексич, как я пил, страшно, по-черному, я и за рулем сроду трезвым не сидел, а уж когда калым или, там, получка, то не приведи, Господи, что тут началось, со всех работ повыгоняли, до ручки дошел, по чайным, поверишь, из стаканов, из кружек допивал, совсем с круга сошел, ни кола, ни двора, в одних обносках по вокзалам, по товарнякам ночевал, а впереди, как в песне поется, ни зги не видать, Таиска моя меня тогда на вокзале и подобрала, она тогда там уборщицей работала посменно, привезла к себе, об-

мыла, обстирала, одежонку кой-какую исхитрилась справить на первый случай, а когда я в себя от чертей пришел, сказала мне свое женское слово: «Слушай, — говорит, — меня, Ваня, и не обижайся, отходить я тебя отходила, можешь оставаться, можешь идти на все четыре стороны, но коли во второй раз с рельсов сойдешь, дуры такой вроде меня не отыщется, не надейся, возьмишь ты за ум, молодой ты еще совсем, здоровый, со специальностью, брось ты это дело, пропадешь ведь ни за что, ни про что, а теперь твое дело решать, как дальше жить будешь, я тебе все сказала, больше нечего». И тут, поверишь, Владислав Алексеич, здоровый я лоб, в жизни не плакал, а тут повалился я ей в ноги: «Прими, — говорю, а сам навзрыд, — меня, Таюшка, какой я есть теперь, некуда мне от тебя идти и незачем, а я тебе ноги буду мыть, юшку пить». В этом месте Иван прервался, видно, вновь переживая тот первый их разговор, потом коротко выдохнул, откидываясь на траву. — Так и живем с тех пор, дай Бог всякому...

Над студеной рекой занимался тусклый рассвет, тихие ивняки высвобождались из ночного тумана, рыба оживала, поплескиваясь у самого берега, мир вокруг просыпался для нового дня и новых забот, в которых только что услышанная здесь судьба двух людей лишь крохотная частица вещей судьбы человеческой.

«Боже мой, — удивлялся и не переставал удивляться Влад, — еще две жизни, а сколько их оставлено за спиной и сколько предстоит впереди! Запомнить, все запомнить, ничего не забыть, больше ведь и сказать об этом некому, не удосужатся, мимо пройдут».

Потом наступал еще один рабочий день и следующая страница оживала у него под рукой, где смеялись и плакали, рождались и умирали, любили и ненавидели, голодали, бродяжничали, стрелялись и под-

нимались вновь для другой жизни маленькие, забытые даже собственными близкими люди.

— Мы слабы в своих желаниях, — тосковал один из них. — Нам всего подавай сейчас, немедленно, еще при жизни. А когда нам отказывают в этом, мы в конце концов стараемся удовлетворить свои страсти силой. И так из поколения в поколение, из века в век льется кровь, а идеалы, ради которых якобы льется кровь — увы! — остаются идеалами. Переделить добытое, конечно, куда легче, чем умножить его. И к тому же для этого требуются терпение и труд. А терпения-то и нет, и работать не хочется. И пошло: «Бей, громи, снова живем!» Ты понимаешь меня, Лашков?

А тот, в свою очередь, прежде чем навеки смежить глаза, вторит ему, вызывая к соплеменникам и к самому себе:

— Что мы нашли, придя сюда? — думал он их мыслями. — Радость? Надежду? Веру? Вот ты, Цыганиха, растерявшая все? Ты — Левушкин? Где твой сын-дантист? Ты — безумный Никишкин? Что мы принесли сюда? Добро? Теплоту? Свет? Кому? Меклеру? Храмовой? Козлову? Нет, мы ничего не принесли, но все потеряли. Себя, душу свою. Все, все потеряли. А зачем? Зачем? Ведь в каждом из нас жило доброе слово и, может быть, живет еще. Живет! Лева знал, что говорил: «Плачьте, плачьте, люди, у слезы тоже сила есть!»

А вечером, когда почти в изнеможении Влад сходил к знакомому дому под горой, к нему подступался еще один, уже завтрашний его герой:

— Вот ты писатель, Владислав Алексеич, инженер, так сказать, человеческих душ, все, значит, науки превзошел, скажи мне, разъясни, зачем люди живут вообще, какая в этом загадка? В муках нарождается человек, в муках помирает, а уж сколь за жизнь намается, нахлебается всякого, и говорить нечего, а ино-

му и вовсе бы на белый свет не вылезать, калеки там, слепые, глухие, уроды всякие, а посмотришь, все равно за жизнь изо всех сил цепляются, я вот одного знал, куда б ему, вроде, жить, не жизнь, а одно название — родился, за вместо рук две культи, все ногами делал: ел, пил, прикуривал, и смех, и грех, даже в протоколе расписывался, а скажи ему помереть, таким матом загнет, что мильтоны, на что битый народ, и те удивлялись, слова списывали. И потом, отчего одному пышки, а другому одни шишки со слезьми в придачу, по какой-такой сетке? Ты, Владислав Алексеич, книжки пишешь, научи уму-разуму: у кого спросить, кто ответ по совести даст, где правды искать, с кем об этом разговаривать?

Таисия хлопотала вокруг них, посмеивалась:

— Вот оглашенный, и чего языком мелет, будто понимает чего, иной раз такое загнет, хоть святых выноси, что тут думать, все живут и ты живи, авось не умнее других.

Но здесь она была неправа. Вопросами ее домашнего философа мучались люди с тех пор, как началась человеческая история, и, зная бы ей, какие люди! В других обстоятельствах и в другой среде из таких вот Никоновых выходили Сократы и Аврелии, Савонароллы и Руссо, а у нас Аввакумы и Пастернаки: «во всем мне хочется дойти до самой сути...» Но, видно, придется этому Ивану так и закончить шофером на станции Обсерватория, что на Казанской железной дороге. А жаль, этот парень, на взгляд Влада, заслуживал лучшей участи.

По обыкновению Иван увязался провожать его, они вышли в ночь, продолжая начатый в доме разговор.

— Алексеич, ты на меня не сердись, я человек малограмотный, — продолжал терзаться своей мукой Иван, — у кого ж мне еще спрашивать, как не у тебя, другого-то раза не будет, не встретимся ведь больше.

- Кто знает, Ванек, кто знает.
- Есть Бог, Алексеич, как ты думаешь?
- Самому, Ваня, у кого спросить бы.
- Эх, Алексеич, не хочешь ты со мной по-серьезному говорить, не ровня я тебе.
- Честно тебе говорю, Иван, сам не знаю, сам у людей спрашиваю...

С этим разговором они шли через разреженный лес, поднимаясь в гору к темнеющей впереди обсерваторской сторожке. С Волги тянуло водяной мощью и дымом рыбацких костров, отдаленные гудки пароходов и самоходных барж звучали в размашистой ночи, словно потерянные, тьма вокруг казалась полой и бесконечной, как в полете долгого сновидения. И Владу внезапно подумалось: «А действительно, у кого спрашивать?»

Но едва засветив лампу на столе, он вдруг озабоченно зашелся: «Да что же это я до сих пор гадаю, а ведь тут и гадать нечего: что значит «у кого», у Господа, у кого же еще!»

И концовка вещи вылилась тут же, на одном дыхании:

«Василий Васильевич даже подался весь вперед и вдруг увидел в глубине двора, там, где когда-то стоял штабелевский дом, старуху Шоколинист. Черная и крохотная — она стояла беззвучно шевеля губами, и постепенно вырастала, увеличивалась в его глазах, пока не заняла неба перед ним, и он рухнул на подоконник и, наверное, только земля слышала его последний хрип:

— Господи...»

Чувство почти головокружительного облегчения повалило его на скрипучую койку и он не выдержал этой легкости, заплакал навзрыд, как ребенок, а когда затих и провалился в забытие, сны ему снились тоже ребячьи: текущие, цветные, с ликующими парениями

над землей и упоительным скольжением по высоким травам.

Утром Влад быстро собрался, благо собраться ему было, как говорится, только подпоясаться, и подался было к станции, но Иван, едва узнав от него об отъезде, только укоризненно помотал чубом:

— Ну нет, Алексеич, не знаю, как у вас там в столицах, а у нас, темных, так не делается, мы добрых людей без посошка еще не провожали, хотя, если брезгуете, то оно конечно. И потом, какая же станция, если я за рулем, здесь до Казани доплюнуть можно.

Таисия тоже поджала губы:

— Столичному человеку чего ж с нами, лапотными, стесняться...

И Влад, как ни спешил, сдался. Посошком не кончили, а только начали, Иван чаек свой похлебывал, а гостью Таисия подливала да подливала, поэтому, когда, с помощью хозяина, он наконец очутился на вокзале в Казани, его уже понесло вовсю и несло всю дорогу до Москвы и в одиночку, и в случайных компаниях, и в другую разную перемежку, под гул и говор тех самых «зеленых» вагонов, в которых испокон веков в России неизменно только и делали, что «плакали и пели».

Сокольники встретили Влада солнечной майской благодатью, в какой медленным снегопадом кружился пух уличных тополей, под которым дом на Митьковской выглядел, как отставленная за ненадобностью театральная декорация.

Едва увидев племянника, тетка только руками всплеснула:

— Это где же тебя, голубчика, носило, в каких полях леживал! Сдирай-ка свои манатки тетке на обработку да ложись-ка спать, хорошенького понемножку...

До ночи она отпаивала Влада крепким чаем, пичкала молоком, даже ухитрилась кое-как вымыть его перед сном, а когда утром он окончательно пришел

в себя, подала ему распечатанную телеграмму: «Просьба зайти оргсекретарю московского отделения союза писателей товарищу ильину ве эн».

10

Проскакал на розовом коне...

11

Это был дом, где дела делались так же быстро, как и сказывались сказки. Влад заглядывал сюда и раньше, но только в компании с каким-нибудь уже «обилеченным» литератором, чаще всего с Булатом Окуджавой. Пьянка здесь начиналась где-то после полудня и, стремительно раскручиваясь, заканчивалась уже около полуночи, после чего наиболее стойкие и настырные растекались по более поздним артистическим кабакам, откуда для окончательно загулявших оставалась одна дорога — в аэропорт Внуково, где поили до трех. Гей да тройка, снег пушистый! Хотя и в августовскую жару маршруты оставались те же самые.

Правда, на втором этаже, где как раз и делались, вернее обделывались эти самые сказочные дела, Владу бывать не приходилось, по той простой причине, что доступ туда ему, как не члену этой почтенной организации, оставался заказан.

Но свободно, с помощью чудодейственной телеграммы войдя сейчас сюда и поднимаясь по священной лестнице на парящий где-то в заоблачных высях второй этаж, Влад испытывал не чувство благоговения — о нет! — а торжество триумфатора, возносимого капризной фортуной на давно заслуженный

им его личный Олимп. Король умер, да здравствует король!

В приемной царственная секретарша (оказавшаяся, впрочем, впоследствии весьма достойной теткой), едва взглянув в телеграмму, мгновенно преобразилась, кокетливо тряхнула в сторону Влада роскошным, пшеничного цвета перманентом и, проплыв мимо него, скрылась за начальственной дверью.

У Влада оказалось время, чтобы еще раз взвесить ситуацию и подготовиться к неожиданностям. Он с молодых ногтей усвоил спасительное правило — всегда готовиться к худшему. Поэтому и теперь, при явных признаках удачи, он все же на всякий случай перебирал варианты для вынужденного отхода. В этих совдеповских лавочках, это он знал по опыту, мягко стелят, но чаще всего жестко спать. Почему-то вспомнилось старое, дворовое детское, тоже спасительное: «Не надо — я и не хотел».

Секретарша выплыла из кабинета с таким видом, будто посетитель приходился ей, по меньшей мере, если не новым любовником, то во всяком случае ближайшим и долгожданным родственником:

— Вас просят, Владислав Алексеич...

Размеры кабинета (с небольшую теннисную площадку) и его обстановка (сплошные ковры и резное дерево) идеально соответствовали росту и осанке двух, поднявшихся ему навстречу, хозяев. Первого он узнал сразу по примелькавшимся с детства портретам на обложках книг — Степан Щипачев, поэт, хотя и не главарь и не горлан, но горлохват, по слухам, тоже порядочный. Благородные седины и вечное, будто приклеенное выражение доброжелательности на благообразном лице создали ему в известных кругах репутацию неисправимого добряка, но злая молва гласила, что на совести этого святочного деда Мороза не один десяток литературных и внелитературных душ.

Другой — помоложе, подтянутый, с гладко прилизанными жидкими волосами над породистым, несколько бабьим лицом — тоже смотрелся эдаким добродушным дядькой «службой царю, отцом солдатам», но глаза — жесткие и изучающие — выдавали его: ную у Влада на публику такого полета с годами выработался безошибочный, ему сразу стало ясно, что у э т о г о рука, как говорится, не дрогнет.

Оба они излучались навстречу Владу улыбками и гостеприимством, холеные длани обоих тянулись к нему с рукопожатиями, обоим, судя по всему, не терпелось заключить его в свои почти родственные объятия, и было мгновение, когда он съязвил про себя, что стоило запечатлеть эту сцену в виде «Нового возвращения блудного сына».

— Давайте знакомиться, Владислав Алексеич, — тот, что помоложе, первым навязал ему свою холеную длань. — Со Степаном Петровичем, я думаю, вас знакомить не надо, его знает вся страна; кроме всего прочего, Степан Петрович возглавляет и нашу московскую писательскую организацию, а я здесь, — он, скромно улыбаясь, потупился, — всего лишь секретарь по оргвопросам, так сказать, солдат партии на боевом посту. — И снова приосанившись: — Вот хотели познакомиться с вами, Владислав Алексеич, узнать, в чем нуждается, не нужно ли чем помочь. — Тут он, как бы что-то вдруг вспомнив, неожиданно вскинулся: — Кстати, Владислав Алексеич, почему вы до сих пор еще не член Союза?

— Не рановато ли, — опять состорожничал Влад, подозревая ловушку, — у меня еще и книжки нету.

— Ну, книжка, положим, есть, — продолжал тот охоту, — вышла в пятьдесят шестом, в Черкесии, — он выдержал мгновенную паузу, как бы проверяя, оценил ли гость степень его осведомленности, — книжка, правда, не фонтан, — уперся он во Влада со снисходительной насмешливостью, — но при вступлении в

Союз можно учесть и намерения, а намерения в ней наши, советские. К тому же, недавно в сборнике целая повесть.

— Так ведь разругали же, — опять попытался уйти Влад от угрозы ловушки, — тем более, по идеологическим мотивам.

Хозяева, снисходительно посмеиваясь, переглянулись: мол, о таких пустяках здесь и говорить не стоит, мол, здесь делается политика, по сравнению с которой все это яйца выеденного не стоит. Но выработанным за жизнь, почти звериным чутьем своим Влад догадывался, уверен был, что они разыгрывают сейчас перед ним заранее отрепетированный спектакль, поэтому радоваться не спешил, в любую минуту все могло обернуться против него.

— Ну так что? — сделал новый заход Ильин.

Влад снова ушел от прямого ответа:

— Чего что?

— С Союзом.

— Я-то всегда готов, — Влад, соблюдая крайнюю осторожность, двинулся навстречу собеседнику, — только ведь вы сами знаете, нужны рекомендации и все такое прочее, а где я их возьму?

Здесь хозяева откровенно, хотя и в меру, рассмеялись: мол, это-то уж и совсем не стоит разговора, мол, о чем толковать, когда все в их руках.

Отсмеявшись (впрочем, как уже было замечено, в меру), первым отозвался молчавший до сих пор Щипачев:

— Это чистая формальность, Владислав Алексеич, вы же умный человек и, надеюсь, догадываетесь, что если я попрошу, товарищи мне не откажут. Слово за вами.

Жар-птица удачи выпорхнула вдруг перед Владом, и он, ослепленный нестерпимым сиянием ее оперения, наконец сдался на милость судьбы:

— Если так, как вы говорите...

Ему не дали закончить. Не скрывая облегчения, оба поднялись и двинулись к Владу с двух разных сторон, как бы охватывая его в некое магическое кольцо. Выражение лиц у них при этом было, как у людей, которые после долгих поисков наконец-то нашли что-то очень дорогое и важное для себя.

— Владислав Алексеич, дорогой! — восклицали они почти хором, ухитряясь не перебивать друг друга. — Мы же ваши друзья, для талантливого человека у нас всегда двери открыты, в любой день и час. Если какая нужда или беда, милости просим, без поддержки не оставим. Вы, можно сказать, наша смена, наш золотой фонд!

— Да, — как бы вдруг вспомнив о чем-то важном, вырвался в соло Щипачев, — а как у вас с деньгами? Не стесняйтесь, Литфонд нам не откажет.

— Пока обхожусь.

— Понимаю, понимаю, — снисходительным делушкой ослабил тот, — у советских собственная гордость. Это похвально, хотя мы коллеги и можно бы уже без лишних церемоний. — Они наконец зажали его с двух сторон. — Что ж, — с чувством потряс его руку Щипачев, — до встречи на приемной комиссии! Проводите Владислава Алексеича, Виктор Николаич...

Отечески полуобняв Влада за плечи и победительно усмехаясь, Ильин повлек его к выходу, у двери светски посторонился, молчаливо предлагая гостю пройти первым, и вышел следом за ним. Таким порядком они и проследовали мимо лучезарно озаренной секретарши в безлюдный в утренние часы коридорчик, где спутник легонько придержал гостя, доверительно наклонился к нему:

— Ай-ай-ай, Владислав Алексеич, товарищи из комитета поговорили с вами по душам, а вы уже и крайние выводы поспешили сделать, в Казань отправились, как будто в Казани советской власти нету и

некому за вами присмотреть! — Изучающие глаза его засветились кошачьим злорадством. — Запомните раз и навсегда, дорогой Владислав Алексеич, советская власть — она везде и всюду! А вещицу, что вы там в Обсерватории сочинили, приносите, посмотрим, обсудим по-товарищески, без заушательства, без оргвыводов. — И снова вложил свою руку в его. — Так договорились, Владислав Алексеич? Тогда всего хорошего и всегда ко мне запросто...

Первая мысль Влада по выходе была: «Кто? Кто продал? Не Иван же с Таисией!». Вторая относилась уже к Ильину: «Матерый, гад!». Теперь, спустя много лет, он не боится признаться себе, что ошибся. С Ильиным впоследствии все оказалось и проще, и сложнее одновременно. Проще оттого, что со временем многое Владу стало понятнее в нем, а сложнее, потому что человек этот оказался не таким однозначным, каким мог увидеться на первый взгляд. Что, к примеру, заставляло этого действительно матерого чекиста не раз вытаскивать Влада (и не только его!) из, казалось бы, безвыходных положений, когда стоило слегка подтолкнуть и — конец: другие на его месте (и даже из либеральных!) не преминули бы подтолкнуть? Отчего также не пользовался он никакими привилегиями своего положения: не лез в писатели (другие околотитературные чиновники, а численность их при Союзе легион, обязательно влезали), дачки не имел даже самой завалающей, хотя сам их — эти дачки — распределял, жил (будучи в генеральских чинах) вместе с женой — доктором наук — и двумя дочерьми в обыкновенной трехкомнатной квартире? И с какой-то такой стати поднимал он на ноги чуть ли не всю совдеповскую иерархию, чтобы вытащить писательского изгоя, великого Юрия Домбровского из коммунальной клоаки? Немало загадок задавал тот Владу в течение десяти лет их знакомства, а разгадывать их при-

шлось ему исподволь, ощупью, почти вслепую. Но об этом речь впереди.

Спустившись вниз, Влад застал здешнюю пьянку в буфете в самом истоке, когда еще можно было вести с первым встречным хоть какой-то осмысленный разговор. Правда, из более или менее знакомых на месте оказался лишь Гена Снегирев — прозаик, принципиально считавший трезвенников врагами рода человеческого. К немалому удивлению Влада, перед Геной одиноко торчала бутылка «Нарзана», а сам прозаик выглядел печальным и абсолютно трезвым.

— Старичок, — засветился тот навстречу Владу, — не люблю тосковать один, составь компанию. — Владово удивление от него не ускользнуло. — Вчера из больницы, лечение голодом по методу профессора Николаева. Замечательный метод! Полный курс — девятнадцать дней, а я уже, поверишь, на седьмой день услышал, как птички поют. Наука, старичок, в наше время чудеса творит. Там со мной один псих лежал, странный, понимаешь, синдром — собственное дерьмо хавал. И что же ты думаешь, на двенадцатый день, как рукой сняло, сам понимаешь, если есть нечего, то и нечего есть. Наука, старичок!

Выслушав собеседника, задумчиво потер давно небритый подбородок, понимающе пожевал сухими губами, молвил решительно:

— Старичок, цитирую по памяти Михаил Аркадьича Светлова: все на свете дерьмо, кроме мочи. Но, старичок, я только что из клиники, девятнадцать дней просвещался. К сожалению, спектральный анализ показал, что моча — это тоже дерьмо. Понимаешь, старичок...

Ситуация становилась безнадежной, но, на счастье Влада, в проходе показалась приземистая, но в то же время не лишенная известного изящества фигура поэта Юры Л. Едва выделив Влада из общей мизансцены, он

стремительно ринулся к нему, царственным жестом предупреждая его рассказ:

— Знаю, старик, знаю, я только что оттуда, девчата уже дали мне всю информацию. — Грустные овечьи глаза поэта возбужденно поблескивали. — Ло-ви момент, старик, исчерпывай ситуацию до конца. Помни Мичурина: мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача. Диктуй свои условия, старик!

— Юра, например?

— Ты меня удивляешь, старик! — Его коньяк уже стоял перед ним и он сделал первый глоток. — Квартира — раз. — Он хлебнул вторично. — Бесплатную путевку в Дуболты или Коктебель — два. — Хлебнул еще раз. — Очередь на машину — три.

Гена печально дополнил его:

— Юра, ты забыл дачу. И бабу тоже забыл.

— Гена, я — реалист. — Коньяк в фужере перед ним все убывал и убывал. — Нельзя требовать невозможного. Даже от природы: за дачами в очередь годами стоят лауреаты, а бабы сами стоят в очередь за писателями, вот, к слову, Ирка Лесневская в одиночестве ждет своего часа. — Он слегка привстал. — Ира, причаливайте к нам, могу познакомить с одним замечательным писателем, восходящая звезда!

Теперь об этой Ирке и вспоминать-то тошно, но тогда ему, еще не попривыкшему к своему новому положению, она показалась чуть ли не сказочной богиней: порочное, семитского типа, совсем юное лицо с оленьими глазами, в которых неизменно светилась готовность.

Впоследствии это существо в союзе со своей мамой-учительницей из идейных попортит ему немало крови, пытаясь наставить его на путь истинный и сделать добропорядочным писателем с положением и достатком, но, в течение двух-трех лет растеряв иллюзии, они примутся поносить его на каждом углу, при

активной помощи братца дочери — записного критика-блкоеда с наклонностями к стукачеству. Чтобы там ни было, но теперь, перешагнув пятый десяток, он не может, не вправе вычеркивать из жизни и этих двух-трех лет: они есть в его жизни, и не всё, и не всегда было в них только черным. Чего уж ему на старости лет сводить счеты с людьми, да еще такими маленькими. У них своя судьба, у него — своя.

Тем временем застолье разворачивалось, что называется, с кинематографической быстротой и тою же калейдоскопичностью. Менялось время дня и бутылки, но состав участников почти не менялся. Только что вылечившийся Гена Снегирев вскоре уже лыка не вязал, а у Юры Л. возможности Влада вырастали по мере выпитого, пока не достигли размеров прямо-таки гомерических.

— Нет, старик, ты должен помнить еще по советской классике, что жизнь нам дается один раз. — Печальные глаза его вдохновенно округлялись. — И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно. А что получается? Вот ты проснешься завтра с тяжелого похмелья, вспомнишь вчерашнее и сгоришь от стыда, поверь мне, я не преувеличиваю. У тебя в руках волей случая оказался не какой-нибудь призрачный фантом, а жирный самодовольный гусь. И что же ты имел с этого гуся? Разрешение ходить в этот гадюшник. Ты и без его разрешения сюда ходил. А что еще? Любовь начальства. Так оно, как ветер мая. А что еще? От жилетки рукава, вот что. Нет, старик, Николай Островский так не поступил бы, недаром он написал такие золотые слова о смысле жизни. Николай Островский взял бы с них тут же, чистоганом, у них там в Литфонде денег — куры не клюют. Николай Островский так, между прочим, и делал, не строил из себя целку, что значит герой Гражданской войны! — Он взыскующе наклонялся к Владу. — Ну, чего тебе стоило содрать с них косую новыми или даже две,

они вон Мишке Луконину на днях пять косых отвалили только на творческий период, а ты! — Он погрозил кулаком куда-то в потолок. — У, сволочи, кровососы!..

Пьяный Юра, это Влад усвоил с первого дня их знакомства, не умел, а может быть, и не хотел говорить всерьез. Его, в трезвом уме — спокойного, блестяще думающего и пишущего человека, — коньяк разедал, как щелочь, сообщая его речам саркастическое ерничество. Многому научился Влад у этого постаревшего еврейского мальчика, у которого за плечами осталось две войны, а номер его ордена Красной Звезды числился где-то в первой сотне. При всем при этом стихи его отличались добротой и проникновенным вниманием ко всему простому и малозаметному: свойство вдумчиво поживших людей. Перед расставанием между ними пробежала кошка, но теперь, подводя итог, Влад вспоминает о нем с благодарностью. Дай-то тебе Бог, Юрий Давыдыч!..

В разгаре гульбы из табачного облака неожиданно выявился Булат, протиснулся к Владу, наклонился, сообщил шепотной скороговоркой:

— Слушай, Влад, не знаю, что случилось, но Валерий Алексеич хочет с тобой познакомиться, давай завтра часам к двенадцати в редакцию и не пей больше, утром не поднимешься...

И тут же исчез, не любя шумных попоек.

Дело шло к закрытию, но пьяный азарт все нарастал и нарастал, поэтому первое же предупреждение дежурной по клубу было встречено в штыки, требовали еще и клялись всеми святыми сразу же разойтись, а стоило появиться самому директору — маленькому седовласому колобку с лицом оперуполномоченного на пенсии, возмущение вспыхнуло с новой силой: пьяная жажда грозила смести на своем пути любые преграды.

Гном, как в незнакомого, в первого вцепился во Влада:

— Ваш членский билет, как вы сюда прошли и кто вас впустил?

Такого Влад не спускал никому:

— Слушай ты, мучной червь человеческих размеров, если ты сейчас же не скроешься с глаз моих, то я буду бить тебя долго и больно, так больно тебя еще никогда не били, понятно?

С этого момента смешалось все: кони, пушки, люди. Кто-то чего-то кричал, кто-то куда-то бежал, кто-то во что-то свистел. В конце концов завершилась эта баталия в ближайшем отделении милиции, откуда утром на санитарной машине Влад был доставлен в психбольницу, что на Матросской Тишине.

Увы, Фортуна действительно капризна.

12

Искусство — не подарок Грации,
Не даровая благодать,
А бой, где выжить — значит сдаться,
Быть только раненым — предать.
Забыв о славе и обидах,
Солдат ложится вверх лицом:
Искусство — это только выдох
Перед концом.

13

С тех пор, как Влада провозили через эту больницу на принудительное лечение в Столбовую-Троицкую, здесь ничего не изменилось. Те же санитары и нянечки, те же врачи, тот же унылый свет сквозь небьющиеся стекла окон. По сквозному коридору, ко-

торый по вечерам кажется бесконечным, словно по некоему простору, с утра до ночи фланировала публика в халатах и пижамах, разговаривая вслух или занятая своими мыслями. По обочинам коридора резались в домино, сосредоточенно склонялись над шахматной доской, почитывали, пописывали. Жизнь, как жизнь, не лучше и не хуже всякой другой.

Влад, кстати сказать, никогда не испытывал никакого страха или хотя бы тревоги перед подобного рода заведениями. С того первого своего кувшиновского опыта в нем навсегда отложилось ощущение их бытовой обыденности. Люди здесь, на его взгляд, существовали по тем же самым законам, что и на воле: добрые оставались добрыми даже в самом тяжелом состоянии, сволочь — сволочью, только сволочизм этот удесятерился болезнью. Как правило, никакой опасности для окружающих псих средней руки не представлял, что же касается гадов, то статистически их никак не больше, чем вовне, скорее даже меньше. По твердому убеждению Влада, за стенами больницы у человека гораздо больше шансов быть убитым, ограбленным или изуродованным, а уж обиженным тем более. Пребывание в такой больнице не только никогда не выводило его из равновесия, но, в известном смысле, даже успокаивало, по крайней мере, больничные стены надежно защищали его от того безумного мира, которого он по-настоящему не любил и боялся. Гарун бежал быстрее лани.

Завотделением Народицкая встретила его, как старого знакомого, но не без некоторой укоризны:

— Владислав Алексеич, опять к нам? И как вам не надоест? Вы же взрослый человек, пора за ум браться.

— А вы знаете, Ирина Давыдовна, мне здесь нравится.

— Все шутите.

— Нисколько.

— Что ж, могу запереть вас надолго.

— Сделайте одолжение, Ирина Давыдовна.

— Не юродствуйте, Владислав Алексеич, — снисходительно поморщилась та, — вам это не к лицу, хотя вы и поэт.

— Прозаик, Ирина Давыдовна, прозаик.

— С каких это пор?

— Ничто не стоит на месте, Ирина Давыдовна, даже телеграфные столбы: помните, «по деревне от избы и до избы...»?

Народицкая устало отмахнулась от него:

— Вы неисправимы, Владислав Алексеич, идите в палату, я подумаю, что мне с вами делать, но, буду откровенна, бумага на вас из писательского клуба весьма серьезная.

Выходя, он только и успел сказать:

— Чем бы дитя ни тешилось...

С первых своих больничных дней Влад почувствовал, что чье-то могущественное внимание неусыпно обращено на его скромную особу. Народицкая день ото дня становилась все приветливее, что, конечно же, передалось и персоналу, который тоже стал выделять его из общей массы, проявляя к нему доступные им знаки внимания и поблажки: свидания в любое время без ограничений, покупка спиртного, допуск к телефону.

Но высокое покровительство простиралось все дальше. Однажды возник переполох, какой бы мог здесь произойти только в случае пожара или явления Христа народу. Гул и топот девятым валом все приближался и приближался к палате Влада, пока не ворвался к нему в лице взмыленного от священного ужаса санитар Мокеича:

— К вам, Владислав Алексеич, Баталов. — И словно нечистая сила, растворяясь в воздухе, успел выдохнуть на прощанье. — Киноартист!

Ах, Баталов, Баталов, Алексей Владимирович, дорогой, ну затевали вы некое кинодействие, из кото-

рого, кстати сказать, так ничего и не получилось, ну поели-выпили раз-другой, на высокие темы между делом поговорили, но чтобы вы, вот так, запросто да в психбольницу на Матросскую Тишину! Или не изучил он вас за короткое ваше знакомство, как облупленного? Да вы без указания начальства шагу не ступите, не вздохнете, не чихнете лишний раз! У вас, при всех ваших высоких достоинствах, душа титулярного советника, куда уж вам в герои, когда сердце ваше от одного вздоха барского в пятки уходит. Но уж коли явились по указанию свыше друга разыгрывать, то и мы не лыком шиты, подыграем знаменитому гостю в лучших традициях школы МХАТа!

Все-таки талантлив был, ничего не скажешь, этот самый Баталов. Порученную ему роль он провел на высшем уровне, в полном соответствии с системой Станиславского, который, как известно, превыше всего ценил в искусстве сверхзадачу: встреча двух лучших друзей произошла, что называется, в духе сердечности и полного взаимопонимания, после чего, сопровождаемые благоговейным восхищением психов, симулянгов и обслуживающего персонала, они плечом к плечу вышли в парк, где, изображая творческую прогулку, им пришлось сделать несколько кругов по его замкнутой аллее, а на прощание даже троекратно расцеловаться.

Через минуту от гостя и след простыл. И никогда впоследствии они уже не встречались, хотя положение Влада складывалось куда благоприятнее, чем в ту пору, да и причин встретиться было гораздо больше. Но сказано же: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». К А. В. Баталову это относится в первую очередь. В конце концов, он достиг предела своих тайных вожделений, сел в чиновничье кресло и, говорят, успокоился, приобрел соответствующую осанистость, обрюзг, облысел и, разумеется, пишет воспоминания.

Знать бы только, о чем? Наверное, об искусстве, о чем же еще?

Во всяком случае, после такого визита Владу вернули даже собственную одежду, в которой он мог исчезать из больницы когда и куда ему вздумается. И он всюду пользовался этой привилегией, уходя в лес за Яузой, где в ожившей от зимней спячки чаще вышагивал слова и расцветки для будущего их единоробства с чистым листком бумаги.

В этих-то кружениях по лесам и окраинам Преображенки он и забрел однажды на здешнее кладбище, где, казалось, еще совсем недавно упокоилась его мать — Федосья Савельевна — старая девочка — химеристка, так и не настигшая в нескладной своей земной жизни синей птицы терзавших ее до гроба химер. Крохотный кленок, посаженный над ней в день похорон, разросся, отбрасывая от себя кружевную тень, могильный холм схватился матерой травой, скамейка, на которой уже давно никто не сиживал, рассохлась и позеленела, что сообщало месту, огороженному полинялым штакетником, ощущение прочности и покоя. Ничто не уходит от нас на этой земле навсегда, даже если мы теряем все, нам остается память, а памятью уже можно жить.

Влад стоял у изгороди, не решаясь войти вовнутрь, безмолвно всматривался в захоронение, а скорее в самого себя и думал, как это ни странно, о каких-то пустяках, не имевших никакого отношения ни к месту, где он в эту минуту находился, ни к той, что здесь покоится, ни к чему соответственному этому вообще. Думалось о скорой выписке, о предстоящих вечером пререканиях с Лесневской, которая опять, в который уже раз будет фальшиво и долго клясться ему в любви, о последствиях, какие ожидают его после выписки, и хотя усилием воли он заставлял себя то и дело вспоминать, что стоит у могилы собственной матери, мысли его неизменно возвращались в прежнее русло:

выписка, пререкания с Лесневской, последствия и еще дальше, и еще мельче.

С этим он и отошел, кляня себя за свое равнодушие, с этим выбрался за ворота, с этим же, почти машинально завернул в кладбищенскую церковь. Храм оказался тих, пуст, темен, и только два открытых гроба маячили у бокового окна в ожидании заупокойной. В церковь Влад заглядывал и раньше, но более из любопытства, чем по душевной потребности. В последний день это случилось с ним в день похорон матери, но тогда он лишь соучаствовал в семейном действе, ни к чему серьезному себя не обязывая: отзвонил и с колокольни долой.

Теперь же, стоя в пустом и темном храме, наедине с двумя покойниками, Влад вдруг почувствовал себя маленьким, предельно ничтожным существом, до бед и забот которого нет дела никому, кроме той ничем незамутненной тишины, которая струилась здесь вокруг него, сообщая ему ощущение сопричастности ко всему, что в этих и на этих стенах безмолвствовало, излучая собственный свет и тревожа воображение. Хотелось стоять вот так, долго-долго, вслушиваясь в эту струящуюся тишину, молчать и, глядя перед собой, глядеть в себя. «Что это со мной, — попытался он внутренне скептически усмехнуться, но усмешки, как он ни силился, не сложилось, скорее жалобная гримаса, — так и поплыть недолго, тогда с Матросской Тишины век не выберешься?»

Но заупокойную Влад выстоял без усилий, молитва уже не тяготила и не раздражала его, как раньше, он даже поймал себя на том, что время от времени подтягивает хору да и по завершении обряда уходит не тянуло.

После службы батюшка, на ходу разоблачаясь, устремился почему-то прямо к нему:

— Вы ко мне?

— Нет... Но если позволите...

— Обязательно позволю, — он был еще совсем не стар, с круглым почти без морщин лицом и смеющимися глазами, — идите за мной.

Тот устремился к алтарю, кивком предлагая гостью следовать за собой, и Влад покорно потянулся за священником, сам не зная, зачем он это делает и что из всего этого может получиться? Здесь, в святая святых любого храма, где, по давнему убеждению Влада, не могло быть места ничему мирскому и низменному, мирно пофыркивал чайник на электроплитке и все на обычном столе было готово к чаепитию: сахар, кекс, умело нарезанный лимон.

— Располагайтесь, сейчас чай пить будем. — За нехитрой сервировкой он то и дело быстрыми глазами посматривал на гостя, как бы изучая его. — Вы от кого?

— Я, собственно, сам... Случайно. Но если помешал...

Тот заспешил, заторопился, даже руками замахал:

— Что вы, что вы, кому вы здесь можете помешать, ведь вы в Храме Божьем! Это даже лучше, что ни от кого, что сами, что случайно, замечательно даже! В Храм Господь приводит, а кого Он привел, того и отметил. Давайте знакомиться. Я — отец Дмитрий, служу в этом Храме. С кем имею честь?

— Владислав Самсонов, литератор.

Тот даже озарился от удовольствия:

— Как же, как же, наслышан, так значит, вы тот самый Самсонов из знаменитого сборника? Очень рад познакомиться, давно мечтал, я ведь, знаете, тоже балуюсь. — И тут же рассмеялся, предупреждая невольный испуг гостя. — Не пугайтесь, я только для себя, даже никому не показываю. Вам с вареньем?

Сам того не заметив, Влад под чаек и под междометия собеседника выложил ему собственную подноготную, не скрыв от него и своей питейной слабости.

Тот слушал, не перебивая, только похмыкивал со значеньцем, покачивал сокрушенно головой, досадливо морщился, а когда Влад умолк, он впервые без улыбки взглянул на гостя как бы с другого берега:

— Спросил с вас, Владислав Алексеич, Господь много, но ведь лишнего Он никогда не спрашивает, значит, по плечу вам была эта ноша, значит, многое вам Господом дано. Я священник, мое дело прежде всего утешить человека, но вас мне утешать — только слова попусту тратить, вы — человек сильный, очень сильный, вам вдвое дай, вытянете, слабость ваша не в вине, знаете, как говорят, пьяный проспится, дурак — никогда, слабость ваша — в гордыне, это у всех у нас, у кого больше, у кого — меньше, но у вас — непомерная, смирять себя пора, Владислав Алексеич, с собой-то вы справитесь, а вот с ней, с гордыней этой, справитесь ли?

— Не ко врачу же идти?

— В церковь.

— Поможет ли?

— Захотите, поможет.

— Чем?

— Молитвой.

— Попробовать можно...

— Вот-вот, — заволновался и снова засиял отец Дмитрий, — чтобы человеку в гору камушек бросить, надо к ней, горе этой, подойти поближе, вот и сделайте первый шаг, Владислав Алексеич, увидите, вам же легче станет, а потом видно будет. Приходите завтра на воскресную службу, примите причастие, вот вам и первый шаг.

— Я же некрещеный, отец Дмитрий!

— Господь всех принимает, кто с чистым сердцем идет, Ему, как сказано, грешные-то ближе праведников.

— Пора мне, отец Дмитрий.

— Ну, ну, — не стал задерживать тот, даже как бы обрадовался, — с Богом, а я тут помолюсь обо всех страждущих соседях ваших больничных. Не обходите отца Дмитрия, Владислав Алексеич, всякое с человеком может случиться, еще пригожусь...

Он проводил Влада до церковной ограды и молча перекрестил на прощанье.

На следующее утро в палату торопливо вскользнула заведующая Народницкая:

— Пройдите ко мне в кабинет, Владислав Алексеич, — у нее было такое выражение лица, как будто у нее в кабинете Влада ожидал покойник, — с вами хотят побеседовать...

Тон, каким это было сказано, не оставлял сомнений по поводу намерений визитера и его принадлежности к Лубянке, поэтому Влад, идя по коридору к ординаторской, заранее готовился к обороне, но каково же было его удивление, когда навстречу ему с продавленного профессорского дивана поднялся улыбающийся во весь рот его старый знакомец — Бардин.

— Рад видеть вас в добром здравии, Владислав Алексеич, — из-под белесых бровей его белесые глаза излучали одно сплошное белесое сияние, — видно, не ожидали? Но, знаете, как поется в песне, работа у нас такая.

Но Влад, уже изучивший эти повадки, явственно прочитывал сквозь его слишком нарочитый, слишком показной елей другие слова и другую речь: «Опять, ханыга, приходится с тобой возиться, черт бы тебя побрал, но, видно, начальству моча в голову вдарила, блажат на старости лет, из шпаны новые литературные кадры вздумали ковать, много тут накуешь из этого дерьма, одна морока, ты же нам потом на голову и нагадишь, мерзавец, взять бы тебя, стервеца, да отправить на лесоповал, куда больше пользы станется.

Но приказ есть приказ, будем валандаться, пока начальству не надоест».

— Почему же не ожидал, Михаил Иванович? — снова принял его тон Влад — сами же говорите, работа у вас такая, вас всегда и везде ждать можно, не правда ли?

А мысленно отвечал гостю: «Умный ты, видно, человек, Бардин, но дурак. Ведь сам успел убедиться, что нельзя ко мне с отмычкой рваться. Ведь было же у тебя время инструментом потоньше обзавестись, чего ж ты время даром терял, а теперь снова с той же фомкой лезешь. Ну подумай, пораскинь мозгами, ты же, судя по глазам, мужик сообразительный, а то ведь опять уйду, выскользну, следов не оставлю, опять тебе голову ломать, что со мной делать, но если уж на полную чистоту, то нечего тебе со мной делать, потому что, пока ты свою вшивую карьеру делал, я думал, учился, Россию пехом вдоль и поперек прошел, и бит был, и милован, и снова бит, что твоя карьера по сравнению с этой?»

— Правда-то оно, правда, Владислав Алексеич, — Бардин как бы даже взгрустнул от своей покладистости, — но не ко всякому мы вот так, как к вам, с хорошими вестями ходим, к сожалению, чаще — с плохими.

— Слушаю вас, Михал Иваныч.

— Сегодня домой пойдете, Владислав Алексеич, только надо нам с вами кое о чем предварительно договориться.

— О чем же, Михал Иваныч!

Короткая пауза, которую выдержал Бардин прежде, чем приступить к делу, оказалась слишком красноречивой, чтобы в ней нельзя было прочесть: «Да разве с такими, как ты, договариваются! Таких, как ты, душат в колыбели, чтобы избавить род человеческий от последующих хлопот, но что могу сделать, если мне приказывает руководство, значит, на сегодняшний

день у руководства другие соображения, а им с горы виднее, а так я на тебя и патрона не стал бы тратить, своими бы руками заделал, только бы потом руки сполоснул».

И Влад послушно вторил ему: «Ну что ты себя растравляешь понапрасну, гражданин начальник, договариваться-то все равно придется, беда твоя в том, соглашусь ли я, а ты уже душить готов, ты и так немало в своей жизни передушил, а толку что, только бессонница мучает да сердце то и дело пошаливает, возьми себя в руки, начальник, и займись-ка ты лучше делом».

Тот, будто услышав его, принялся выкладываться:

— Ничего страшного, Владислав Алексеевич, ничего недопустимого. Руководство лишь предлагает вам по-отцовски, по-товарищески знакомить Комитет со своим творчеством, поверьте мне, Владислав Алексеевич, у нас не одни следователи работают, у нас есть люди с большим литературным опытом, с прекрасным вкусом, думающие и доброжелательные, а ведь вы сами знаете, Владислав Алексеевич, хороший совет в литературе на вес золота...

Влад не удержался, съязвил:

— Поэтому их так мало, хороших советов.

— Пожалуй, — Бардин нехотя рассмеялся, — но вы не ответили на вопрос, Владислав Алексеевич.

— А если я скажу «нет»? — Влада стала забавлять эта игра. — Что тогда?

Бардин сочувственно вздохнул:

— Тогда, Владислав Алексеевич, вам придется еще полечиться, без скидок полечиться, по-настоящему.

— Как долго, по-вашему, Михал Иванович?

— Все будет зависеть от состояния вашего здоровья, мы о вас же печемся, о вашем здоровье.

«Боже мой, — облегченно усмехнулся про себя Влад, — сколько усилий, сколько денег тратят они на вот эти игры в бирюльки, подумать только!»

А вслух сказал:

— Поверьте, Михаил Иванович, мне даже лестно, что ваше начальство так интересуется моей писаниной. Можете мне поверить, я никогда и ничего от ни от кого не прячу, вы можете получить у меня любую мою рукопись в любое время.

Их взгляды скрестились в двух взаимных оценках. «Один-ноль, — заключил Бардин, — в мою пользу, но за тобой еще глаз да глаз!», а Влад не скрыл разочарования: «Я думал, ты умнее, начальник, неужели ты не видишь, что опять ничья, по нулям, начальник».

— Что ж, Владислав Алексеич, — Бардин, не скрывая удовлетворения, встал, протянул руку, — до свидания и не обессудьте, как я уже сказал, работа у нас такая...

Через час Влад был уже дома, в Сокольниках.

14

Эх, яблочко, куда котишься, ко мне в рот попадешь — не воротишься. Классический текст этот, как думалось Владу, вполне мог бы стать профессиональным гимном той самой организации, которая в нынешней России так печется о здоровье культуры вообще и литературы в частности.

Уже на чужбине он как-то, в застольном разговоре, обсуждал свой опыт знакомства с этой любвеобильной организацией со своим давним знакомцем по литературной богеме, Володей М., в странных рассказах которого он когда-то угадал пути, по каким через пятнадцать-двадцать лет начнет растекаться современная русская проза (теперь их много развелось — его эпигонов, забывших или вовсе не знающих, от кого они отпочковались, правда, победнее завязью и побледнее цветом, а он так и остался стоять особня-

ком, ни на йоту не превзойденным своими вольными или невольными подражателями и время его — впереди).

В застольном этом обсуждении выяснилось, что все приемчики и заходы «Галины Борисовны» (как принято теперь обозначать эту организацию) испытывались в той или иной степени на каждом из начинающих, почти без исключения. На их собственном жаргоне это называлось «перепускание из холодного в горячее и опять в холодное», но, казалось бы, научно проверенный метод дал осечку (за некоторыми редкими исключениями!) в применении к поколению, детство которого закалялось ежовщиной, юность — войной, молодость — скептицизмом запоздалых реабилитаций. Старые приемы уже не приносили эффекта, а новых «Галина Борисовна», при всей своей самодовольной неповоротливости, разработать не сумела или не удосужилась.

Каждый из них, этих новых мальчиков с насмешливыми глазами, был тем самым стариком из рассказа того же Володи М., который всю жизнь сидел на лавочке у заводской проходной и читал газету вверх ногами, ему это, наверное, представлялось интересным, а почему, «Галине Борисовне» догадаться оказалось не под силу.

15

Как-то ярким августовским утром, робким стуком в дверь взял разбежку еще один поворот его литературной судьбы, разнохарактерные отзвуки которого тянутся за ним до сих пор.

После стука на пороге Владовой комнаты объявилась рыжеволосая, вся в мелких веснушках юная пигалица и, нерешительно потоптавшись у двери, сообщила одышливой скороговоркой:

— Вас просят зайти в редакцию «Октября» к Всеволоду Анисимовичу Кочетову к двум часам дня, сказали, если, конечно, у Владислава Алексеевича есть время, а то можно и в другой раз, когда хотите. — Снова нерешительно потоптавшись, добавила робко: — До свидания...

Влад заранее предугадывал, какую бурю в литературном болоте столицы вызовет его визит в эту, по мнению господ либералов, цитадель политической реакции и консерватизма, но, взявши себе однажды за правило разговаривать со всеми, кто хочет с ним разговаривать, он решил пренебречь последствиями. К тому же, для него давно не существовало разницы между сортами дерьма в отхожем месте так называемой советской литературы. На его глазах и те, и другие, и правые, и левые, и прогрессисты, и реакционеры кичились одними и теми же совдеповскими регалиями, получали одни и те же роскошные квартиры на Котельнической набережной и даровые дачи в Переделкино, насыщались одной и той же дефицитной жратвой и марочными напитками из закрытых распределителей, свободно ездили когда и куда им вздумается. В известном смысле ортодоксы были даже предпочтительнее, потому что отрабатывали свои блага с циничной откровенностью, не нуждаясь в высокоумных, а по сути жалких объяснениях причин своего привилегированного положения. Теперь, спустя годы, Владу не хотелось бы ворошить тени прошлого, но, говоря по совести, следовало бы раз и навсегда обозначить, в особенности для тех, кто, и оказавшись в эмиграции, пытается утвердить здесь литературную раскладку того же самого отхожего места, слагая радиооды титулованным стукачам из породы лубяночных классиков, сколь омерзительны были ему всегда рамольные старички, обвешанные всеми побрякушками палаческого государства, но до гроба строив-

шие из себя мучеников прогресса. В отличие от них, у Кочетова хватило хотя бы мужества в конце концов наложить на себя руки.

Помнится, один довольно известный либеральный эссеист с квартирой на улице Горького, дачей и машиной, отечески предупреждал Влада от знакомства с другим эссеистом, по крайней бедности ночевавшим на вокзалах:

— Я вас прошу быть с ним осторожнее, у меня сведения из верных источников, он — стукач.

Влад не выдержал, выцедил тому в лицо, все, что он по этому поводу думал:

— Что это случилось с советской властью, если либеральных антисоветчиков вроде вас она снабжает литерными квартирами, дает им дачи и машины, а верноподданных стукачей гонит ночевать на Савеловский вокзал?

Великая Ахматова ответила однажды на упреки по поводу публикации ее стихов в одной «реакционной» газете со свойственной ей восхитительной лаконичностью:

— Я прожила жизнь, у меня нет времени разбираться в ваших, — слово «ваших» она интонационно подчеркнула, — прогрессивных и непрогрессивных органах печати...

К предупредительности присутственных мест от литературы Влад уже по привычке, поэтому, когда рыжеволосая пигалица, вся вспыхнув при его появлении, скрылась за дверью редакторского кабинета, он воспринял это, как должное.

Логово реакции, кстати сказать, выглядело не хуже и не лучше любой, даже самой прогрессивной, даже стоящей во главе прогресса редакции толстого журнала: та же окраска, та же меблировка, те же примелькавшиеся во всех учреждениях портреты. «Господи, — изумился мысленно Влад, — хотя бы в этом хоть чуточку индивидуальности!»

Дверь редакторского кабинета неожиданно распахнулась, и в ее проеме, словно в портретной раме, выявился высокий, бесстрастный, пергаментно-желтый человек в прекрасно сшитой паре и со вкусом подобранном галстуке:

— Это и есть Самсонов? — Смерив Влада с головы до ног угольными глазами, он отступил в глубь кабинета. — Заходи, Самсонов. — Обогнув письменный стол, он величественно опустился в кресло и лишь после этого снисходительно кивнул гостю. — Садись, Самсонов.

Так впервые в жизни Влад оказался лицом к лицу с этим, почти легендарным графоманом, слава которого, наподобие байроновской, с годами лишь разрастается и не только давно достигла «друга степей — калмыка», но и сделала его поэтом, если подразумевать под этим другом Давида Кугультинова.

Некоторое время тот в упор, молча, с нескрываемым любопытством и змеящейся в уголках бескровных губ чуть заметной усмешкой рассматривал его. Лишь после этого спросил громко, отрывисто, с нарочитым вызовом:

— У Твардовского был?

— Был.

— Аванс дали?

— Дали.

— Напечатали?

— Нет.

— У Катаева был?

— Был.

— Аванс дали?

— Дали.

— Напечатали?

— Нет.

— А я, — заговорил он с расстановкой, — аванса не дам, у нас лимит на нуле, зато напечатаю.

— Все обещают, — решил Влад брать быка за рога. — Когда?

— В следующем номере, — отрезал тот. — Рукопись уже в наборе. — И впервые в течение разговора болезненно осклабился. — Прикидываешь, откуда у меня твоя рукопись? Знаешь, как в народе говорят: где взял, там уж нету, хотя, может быть, копия для архива осталась. Плохой из тебя конспиратор, рукописей своих прятать не умеешь.

— А я и не прячу, — огрызнулся Влад, — не имею привычки.

— Зря, — добил его тот, — надо прятать, я вот, если хочешь знать, прячу.

У Влада даже дух перехватило от удивления:

— От кого? От кого вам надо их прятать?

— От врага, — тот с вызовом вздернул свою красиво посаженную голову, отчего кожа на его пергаментном лице напряглась и вытянулась, — чего удивляешься, думаешь, искоренили давным-давно, под корень вычистили? Вбила вам эту муть в голову нынешняя ревизионистская сволочь, а следовало бы зарубить себе на носу азбучную истину социализма: чем ближе к цели, тем беспощадней классовая борьба. Это ведь про теперешних Маяковский писал: «кто стихами льет из лейки, кто кропит, набравши в рот», а у меня, брат, пистолет и нож всегда под подушкой, в случае чего живым не дамся...

В щель внезапно приотворенной двери ввинтилась круглая с залысинами голова:

— Всеволод Анисимович, разрешите?

Кочетовское лицо сразу обмякло, посерело, осунулось:

— А, это ты, Юрий Владимирович, заходи, знакомься, это и есть гроза тайги и тундры — Самсонов, бери его к себе, оформляй соглашение, повесть ставим в десятый.

И мгновенно уткнулся в рукопись перед собой,

сразу выключив присутствующих из сферы своего внимания...

— Идашкин, Юрий Владимирович, — шепотной скороговоркой представился Владу тот, увлекая его к выходу, — Ответственный секретарь редакции.

И колобком, колобком через кабинет, приемную, коридор к себе, в свою вотчину за обитой дерматином дверью — опрятный, не без элегантности кабинет с высокими потолками и стильной мебелью.

— Ну-с, Владислав Алексеич, надеюсь, вы довольны? — сиял он в сторону гостя, хлопотливо рассаживаясь у себя за столом: успел открыть и закрыть ящик перед собой, что-то походя полистал, что-то отметил в настольном блокноте. — Не успели явиться, а рукопись уже в наборе, такое у нас не со всяким случается, шеф у нас, прямо скажем, невеста разборчивая.

— А я — это что же, жених что ли с улицы? — пресек его на корню Влад. — Подобрали, обмыли, подкормили малость и представили пред очи ясные?

От идашкинской суеты не осталось и следа, он тут же пружинисто собрался, потемнел обликом и впервые взглянул на собеседника с заинтересованной серьезностью:

— Извините, Владислав Алексеич, я, наверное, действительно взял неверный тон. — И вдруг по-мальчишески застеснялся. — Это я от волнения, ей-Богу, Владислав Алексеич!

«Умен, — отметил про себя Влад, — а может быть, хитер, кто его знает, во всяком случае не прост, надо бы с ним поосторожнее, такие без нахрапа, ювелирно умеют гнуть, сам не заметишь, как в бараночку свернешься».

В течение получаса деловито и быстро Ответсекретарь оформил соглашение, получил редакторскую подпись и договорился-таки с бухгалтерией «Правды» об авансе.

— Что ж, Владислав Алексеич, рад за вас и за нас, честно говоря, вы для нас — приобретение, чего уж греха таить, нету у нас прозы стоящей, мимо несут, по другим адресам. — Провожая к выходу, досадливо поморщился. — Когда у самих совесть не чиста, людям свойственно искать виновников, вот и нашли нашего главного. Всего хорошего, Владислав Алексеич, если какая нужда, заглядывайте...

И загудела, забулькала, заблагоухала пишущая Москва: проданся, преданся, заложил душу дьяволу! Судя по интенсивности реакции, его девятьсот рублей (минус налоги!), которые он получил за свою повестушку в «Октябре», в сравнении с фешенебельными квартирами, дачами, телефонизированными машинами, орденами и вольготными поездками за рубеж под приватные отчеты по возвращении либеральных ниспровергателей основ и впрямь выглядели хуже, чем тридцать сребренников за продажу Христа. Теперь-то он знает цену подобного сорта демагогии, к его удивлению, она оказалась глобально универсальной, но тогда ему было не до шуток.

А тут еще подоспел Манеж! Блаженный Никитушка, умело ведомый ближайшими друзьями к собственной пропасти, на кого-то топал ногами, на кого-то кричал, над кем-то смеялся (но, кстати сказать, никого пальцем не тронул!), и летело над городами и весями обалдевшей от его беснований страны теперь уже историческое: «Пидарасы-ы-ы!»

К тому времени Влад твердо усвоил истину: в этой стране ничего не дают бесплатно, за все надо платить. С него эту плату мягко, но настойчиво требовали уже незадолго до следующей публикации.

Перед сдачей вещи в набор, его чуть не силой затаскил к себе Идашкин:

— Слушай, Влад, — с некоторых пор они перешли на «ты», — шеф хочет, чтобы ты высказался.

— О чем?

— О совещании.

— Но я там не был.

— Ну, что значит был — не был, главное — это определить свое отношение к проблеме или, образно говоря, выбрать сторону баррикады, от этого зависит многое. Надеюсь, ты меня понимаешь?

Да, Влад понимал его, можно сказать, слишком хорошо понимал. И хотя ему было известно, что большинство из «пострадавших» написало все, что от них требовалось, после чего благополучно отбыло в загранку или в дома творчества, что то же самое сделали редактора всех либеральных изданий, включая самого либерального, и что казенные отписки такого характера чуть не каждый месяц позволяют себе даже гении от Шостаковича до Смоктуновского включительно, ему от одной только мысли об этом становилось тошнотворно, как перед черным провалом бездны.

Тогда, в тот день, пытаясь выиграть время, Влад не нашел в себе мужества сразу отказаться, ответить «нет» и этим дал повод заподозрить себя в слабости. Остальное для них было, что называется, делом техники, в конце концов они загнали его в угол, и он сказал роковое для себя «да», сделав первый (но, к счастью, и последний) шаг к пропасти.

Что говорить, этот текст дался ему нелегко. Влад отбрасывал вариант за вариантом, изошряя смысл сказанного до такой степени, чтобы в результате не написать ничего, кроме общих слов, в которых никакое, самое чуткое ухо не могло бы уловить и туманного намека на личностное отношение автора к теме разговора. Но — увы! — из спетых песен слов не выбрасывают, а в книге прощания и того пуще, поэтому сейчас он приводит этот текст целиком в назидание идущим следом за ним:

«С самого начала нашего столетия передовой отряд рабочего класса России начал величайшую из битв человечества — битву за переустройство мира как в

сфере материальной, так и духовной. И с первых же своих шагов огромное внимание партия уделяет становлению социалистической литературы. Кто не помнит, с каким горячим сочувствием был воспринят Владимиром Ильичом Лениным замечательный роман Горького «Мать»! А как благотворно влияла «Правда» на творчество Федора Шкулева, Демьяна Бедного, Александра Серафимовича! Только революции обязана русская литература рождением таких выдающихся мастеров культуры, как Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Леонид Леонов, Федор Панферов, Валентин Катаев. Только в условиях нового, социалистического строя могла вырасти целая плеяда замечательных талантов, среди которых многие и многие получили мировое признание.

Именно от этих мастеров принимало каждое последующее поколение эстафету века, и поэтому пресловутая проблема «отцов и детей», кстати сказать, высосанная из пальца фрондерствующими литмальчиками вкупе с группой эстетствующих старичков, никогда не вставала перед молодежью, верной революционным традициям советской литературы. Разве, к примеру, Владимов или Шим не ощущает самой кровной связи со своими ближайшими предшественниками Казакевичем, Гончаром, Нагибиным, а те, в свою очередь, с Петровым и Гайдаром, с Симоновым и Нилиным? Весь опыт нашей литературы утверждает непрерывность ее становления.

После справедливой и принципиальной критики в адрес формализма, прозвучавшей на встречах руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, кое-где подняла голову воинствующая серость, прикрывающая псевдоидейностью свою полную профессиональную несостоятельность. В связи с этим мне хотелось бы еще и еще раз повторить слова секретаря ЦК КПСС Л. Ф. Ильичева, сказанные им в докладе на одной из памятных встреч: «Всякий не-

предубежденный человек понимает, что критика формализма и абстракционизма — это не амнистия натурализма. Нет, отношение к плоскому, бескрылому натурализму остается неизменным. Надо лишь предостеречь от попыток под видом борьбы с натурализмом бить по художникам-реалистам, равно как обвинять в формализме людей, занятых поисками новых форм в реалистическом искусстве. Ведь сама природа социалистического реализма — в исканиях нового, художественно красивого, жизненно верного, осмысленного с позиций коммунистического мировоззрения».

Капитуляция была замечена и отмечена. При первой же после этого встрече Кочетов, как всегда с вызывающей определенностью, сказал ему:

— Читал. Одобряю, хотя много туману, но для начала и это годится. Со следующего номера ты член редколлегии, партия умеет ценить порыв. — Знакомая усмешечка зазмеилась в уголках бескровных губ. — Говорят, славянофильством увлекаешься? Выброси эту дурь из головы, это вас легковверных дуболом Никонов мутит, у самого идеологическая каша в башке и других с толку сбивает. Мы ему на днях накрутим хвоста, чтоб не повадно было, долго помнить будет. — И угрюмо уткнулся в бумаги на столе. — Ладно, иди...

Весть о новом грехопадении кругами расходилась по граду престольному. В особенности почему-то кипятился Борис С., тот самый С., который публично топтал своего тезку Бориса Пастернака на знамени в еще недавние времена побоище в Клубе Писателей и который, как посмеивались его собственные друзья, засыпал не с женой, а с очередным томом Ленина у причинного места:

Мы не можем пройти мимо этого равнодушно, мы обязаны сделать соответствующие выводы, наш долг...

О это восхитительное, спасительное, бронированное «мы»! Как тепло, как удобно, как фешенебельно чувствуют себя безликие люди в защищенной со всех сторон крепости этого надежного местоимения! Нас не тронешь, мы не тронем. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Мы не рабы, рабы — не мы. Мы — рабочие и колхозники. Мы — советская интеллигенция. Мы — демократы и плюралисты. Мы — общественное мнение. Мы. Мы. И как одиноко, как уязвимо, как незащищено оставаться человеку в своем собственном «я»! Я говорю, я отвечаю, я отстаиваю. Цена за роскошь оставаться только собою слишком дорога, чтобы ею — этой роскошью — решались пользоваться многие, но зато те дерзостные одиночки, какие идут на это безумие, получают взамен драгоценнейший дар Господа — Свободу. Итак, подытожим: вы говорите ему «мы», он отвечает «вам» раз и навсегда от имени своего «я»:

— А мне наплевать!..

Неизвестно, сколько бы продолжалась эта свистопляска вокруг его скромной персоны, но грянул август шестьдесят восьмого, когда танки генерала Павловского несколько потревожили душевный комфорт Дон Кихотов из Переделкино. Конечно же, они были возмущены до глубины души, конечно же, выражали протест и, разумеется, оставались всем сердцем на стороне той великолепной семерки, что вышла на Лобное место спасти честь своей нации, но все же не преминули позаботиться о том, чтобы их эмоции не просочились за пределы круга ближайших родственников, а в качестве членов разнокалиберных коллегий и советов со спокойной совестью голосовали «в поддержку», «за братскую помощь», «во имя пролетарского интернационализма» по принципу: «Один в поле не воин».

В числе других должна была высказаться и редколлегия «Октября». Влад явился загодя, уже с готовым решением, отступить от которого было бы

для него теперь началом конца. Перед самым заседанием он зашел к Главному:

— Прошу извинить, Всеволод Анисимович, я не хочу ставить вас в неудобное положение перед сотрудниками и устраивать здесь бессмысленных баталий, поэтому должен заранее предупредить, что участвовать в этом не буду, для меня это вопрос решенный.

Тот, к удивлению Влада, не взорвался, не вышел из себя, лишь неторопливо поднялся и оглядел его, как больную собаку, сверху вниз, одновременно презрительно и брезгливо:

— Говорил мне Сема Бабаевский: волк ты, волком и останешься, сколько тебя ни корми. — И тут же повернулся к нему спиной. — Не держу, иди...

Проходя мимо рыженькой пигалицы-секретарши, Влад краем глаза отметил, как у нее предательски дрожал подбородок: судя по всему, девчушка догадалась о том, что произошло сейчас в кабинете Главного. «Надо же, — мысленно, не без грусти усмехнулся Влад, — а я и не замечал ее вовсе».

С этим он и вышел в августовский день, перешагнув порог своей новой судьбы.

16

На дворе в самом разгаре стояла пора Солженицына. С легкой руки большого писателя пошел расти, зреть, разрастаться литературный самиздат, так сказать, открытого свойства. Машинописная перепечатка и легальная раздача рукописей для чтения сделалась повседневной практикой в литературной среде, даже вполне официальной. В воздухе носилось предчувствие скорых и радикальнейших перемен. На дрожжах чужой славы взбухали амбиции и честолюбия,

грозя загрузить работой Нобелевский комитет по литературе по крайней мере до конца столетия.

Общее поветрие не обошло стороной и Влада. Ветер больших надежд вдарил ему в голову, определив для него ближайшую цель: роман! Мысль о романе не оставляла его в покое ни днем ни ночью, она сделалась для него манией, наваждением, идеей фикс. В конце концов он не выдержал, решил бросить все и ринуться в первую попавшуюся глушь, чтобы, отключившись от повседневной суеты, попытаться осуществить замысел или хотя бы войти в него — этот замысел.

Прикидывая варианты поездки, он неожиданно для себя загорелся соблазном махнуть на старое пепелище — в Черкесск, в котором местная братия, по его мнению, охотно поможет ему временно обосноваться где-нибудь в горах.

Через неделю Влада уже покачивало по дороге в поезде Москва—Кисловодск. Литературная жизнь его кончилась, начиналось литературное житие.

Редакция и редколлегия журнала «Континент»
с глубоким прискорбием сообщает
о трагической кончине известного французского
поэта, эссеиста и критика, автора и друга журнала

ПЕТРА РАВИЧА

и выражает глубокое соболезнование
друзьям и близким покойного

СТИХИ

Лия Владимирова

ИЗ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ СТИХОВ

* * *

Осень! Высвечены лица,
Календарь летит назад,
Перепутались страницы —
Изобилье медуницы
И прозрачный виноград.

Жарко, солнечно и сухо,
Терпкий привкус на губах,
И пчелой взлетает муха,
Золотея на глазах.

Переспелые букеты
Пахнут мёдом и жнивьем.
И опять, по всем приметам,
Бабье лето, бабье лето
В тёмном тереме моём.

* * *

А мне бы хотелось забыть
Про горькие эти дороги,
И только озябшие ноги
К огню протянуть, и побыть
В каком-то заманчиво здешнем,

В каком-то домашнем углу,
И чтоб вечерело неспешно,
Чтоб тени тянулись к теплу,
Чтоб тихо... Устала я, что ли?
Иль просто очнуться пора?
Я так постарела для боли
С сегодняшнего утра!..

* * *

Тот вечер душен был и пуст.
Мы говорили безумолку,
Меж нами низкая, как куст,
Топорщилась чужая ёлка,
И гас на ветках блеск огней,
И ночь нагаром оплывала,
А утром стало всё ясней,
И всё непоправимей стало.

* * *

Пускай ты ветрен как жена —
Не я тебе судья.
Я встречу праздную одна,
Одна у двери я.

Что день рождения? Ничто.
День смерти — вот итог.
Забыть ключи, надеть пальто
И с Богом — за порог.

* * *

Не плыл той ночью звон колоколов,
Но ветер мёл сугробы на сугробы.
Войдя в подъезд, одно мы знали оба:
Вовек не отогреемся от слов.

Сковала нас предутренняя мгла,
И больше — ни утрат, ни откровений,
Как будто в это длинное мгновенье
Я собственную смерть пережила.
Теперь — не страшно мне...

1971

* * *

Меня прельщало пьяное питьё:
Полуразлука, полузабытьё.

Меня смущала ласковая речь —
Тончайший отсвет полубывших встреч.

И в наших времена полужилых
Жила средь полудобрых, полужлых.

Полунамёки и полуслова,
Мол, я полужива, полумертва.

И полудетство скрашивало вдруг
Мой хрупкий отдых, мой полудосуг.

Среди полудрузей, полуподруг
Цвёл дикий полусевер, полуюг.

И всё мне — полурадость, полугрусть,
И всё — полу-Израиль, полу-Русь!

14. 9. 79

* * *

И узловатыми ветвями
Деревьев переплетена,
Пристыла к пожелтевшей раме
Горбатая голубизна.

А двор так скучен, так печален!
Забор, ворона, край избы.
Но пятна солнечных проталин
От медуницы голубы.

Когда случайным разговором
Мы сводим главного концы,
Я вновь окидываю взором
Овражек, горницу, сенцы.

Октябрь 1978

* * *

Своим глазам не веря... Что глаза,
которым застит свет улыбка боли
прозрачная, хотя, конечно, за
мерцает что-то, значущее боле.
Итак, глазам не веря, а душе
опомниться не дав от прежней встряски,
когда она, распластана в туше,
увязывала неувязки.
А разуму? Меж снов и букварей
воспитанный, что может этот птенчик —
один из пышногрудых снегирей,
в крещенском поле всхлипнувший бубенчик!?

* * *

В. Ляпунову

Такая стояла погода,
что, вновь размыкая кольцо,
подняв от ладоней лицо,
вокруг оглянулась природа:
и рыба всплеснула у брода,
и скрипнуло тихо крыльцо...

Такая стояла пора,
что стоило, хоть ненароком,
стопой прикоснуться к дорогам
и вслушаться в звон топора;
и пальцы шершавя, кора
напомнила сразу о многом...

Такая стояла страда,
что чудилось, стоя у края,
дыхание строгого рая
окутывало города,
там, где проходила беда,
на черной свирели играя.

* * *

**Забвения верный посредник,
тогда как другие глухи,
все примет огонь-исповедник:
записки, расписки, стихи.**

И ноша, что горбила плечи,
сгорая, наводит на след
загадки рифмованной речи
и прозы забот и сует,

где опытом дальним и близким
таинственно приращены,
накрыты одним обелиском
и мукой одной прощены.

* * *

Мне бы только до Вас докричаться сквозь толщу
 годов, пани Галя,
 громыхая в пролетке по вильнюсским стертým торцам...
 К праотцам даже легче, до вечной побудки дневаля,
 чем до Вас докричаться, концы приближая к концам.

Что-то видно не очень в ту даль: там подернуты окна
туманом
прибалтийской весны, что бросает березы в озноб.

Сноб, и тот, устыдился бы, впрок рассовав по карманам довоенные марки, где штемпелем — верность по гроб.

Ваши пальцы пригубить — навек обмереть от ожога белизны откровения в нимбе литовских озер.

О позор забывания! Кто мы такие у Бога, пани Галя, скажите, откликнитесь взором во взор?

Вы идете, земли невесомой стопой не касаясь, разметаю за плечами раскрытия рук и волос.

Четверть века спустя, в ваше пенное пламя бросаясь мотыльковым отчаяньем, знаю — по слову сбылось.

* *

Санкт-Питербурхъ закупорит носы,
плеснет чахоткой, выкрутит суставы,
по площадям протащит за власы
и вытряхнет в трактире у заставы.

Немецкой флейтой вышколенный слух,
найдет блаженство в барабанной дробе.
Одной ногою находясь во гробе,
другую маршируя, — тешим дух!

Передвижные карцеры карет —
посланцы повседневных равелинов.
Равно для нищих, так и для великих
исход один — неотомщенных нет.

Подышит итальянец на стекло,
подернутое инеем местами:
— Ужели выюгу прочертить мостами
необходимо? Поздно. Истекло

дневных забот томительное время.
Сулит ли ночь покой и забытье?
Глаз не сомкнуть — проламывает темя
Петрополя чугунное литье.

* * *

М.

Стихописания урок
давно заброшен,
и не сижу у ваших ног —
влюблен, взъерошен.

А вам теперь уже другой
целует руки,
согнувшись медленной дугой
в любовной муке.

А я свободен, но моя
нема свобода.
И разделяют нас моря
без дна и брода.

И память, грешная, слаба,
хотя из песни
вовек не выкинуть слова:
вернись, воскресни.

* * *

Офелия, каких кровей
должна быть гордость в сердце слабым,
новопредставленная славам
новоприбывших королей?!

Пока мотается возок
комедиантов, неприкаян,
разоблаченный сценой Каин
мозолит уксусом висок.

И низок чей и чей высок
удел, и бредит кто петлею,
и дымной из кого зарею
в давяльнях выжимают сок?

В чем жизни неизбывной прок,
когда она гудит вертепом,
когда придавлен тяжким склепом
твой безответный голосок?!

ИТАЛИЯ

И взгляд куда ни кинь,
куда ни обернись —
латунная латынь
победоносно ввысь!

Ей мало и семи
холмов, семи чудес
для этакой семьи
торжественных словес.

Ей Данта нужен пыл,
Савонаролы страсть,
чтоб жар ее оплыл,
чтоб изменилась масть,

чтобы Петрарка вдруг,
играя словом, смог
замкнуть, как руки в круг,
свой итальянский слог!

* * *

Еще истово спорим о кантах
(за спиной ни двора, ни кола),
еще лето стоит на пуантах,
заглядевшись в свои зеркала.

Только самые зоркие, в споре
проиграв, станут сами собой
в налетевшем порывами с моря
ветре, названном в шутку судьбой.

Еще нам не назначены сроки,
и восходом пылает закат.
Отчего ж — бессловесны и строги
оглянулись? Стигматы горят!

* * *

Еще в столице дышится смолой
сосновых бревен. В лихорадке топей
сам император, взнузданный как Ной,
участвует в спасеньи и потопе.

Еще хвала в стихах не воздана,
и бойней тянет от лихих пирушек,
и воз на месте, вроде бы, да на
высоких стенах восклицанья пушек.

Да подвизался ловкий брадобрей
кромсать по моде бороды, и платья,
и помыслы. Обряд рукопожатья
введен в обычай пышных ассамблей.

Еще императрица не вольна
дарить дворцы открыто фаворитам.
И, словно гаммы, всплески по убитым
разучивает невяская волна.

КОНТАКТ

Новый польский ежемесячный журнал за границей,
издаваемый членами и сотрудниками НСПС «Солидарность».

Главный редактор — Мирослав Хоецкий.

Информация, публицистика, культура.

Резюме основных материалов на английском и французском
языках.

	Цена 1 экз.	Подписка на полгода	Подписка на год
Франция (фр. фр.)	25	130	250
Австралия (австрал. долл.)	4,5	26	48
Голландия (гульденy)	12	60	110
ФРГ (н. м.)	12	60	110
Швейцария (шв. фр.)	10	55	100
Швеция (шв. кроны)	25	135	260
США (долл. США)	5	28	52
Канада (кан. долл.)	6	35	66

При пересылке авиапочтой цена подписки повышается на
20 фр. фр. (полгода) и на 40 фр. фр. (год).

Для остальных стран — цена подписки та же, что для Франции.

До времени открытия банковского счета адресовать чеки:

Mirosław Chojecki — KONTAKT

31 rue Dauphine

75006 PARIS

France

Круг рассказчиков

Марк Захарович

ФЕНОМЕН

Услышав чуть глуховатое из-за высокой казенной двери «войдите», Бодров тотчас вошел и остановился — рослый бедно одетый мужчина с хмурым бледным лицом рано встающего служащего.

— Очень рад вас видеть, Николай Козьмич, — поднял навстречу гостю легкое свое тело хозяин кабинета, тридцатилетний капитан, и, быстро обогнув свой полированный чехословацкий стол, улыбаясь хозяйски радушно, энергично пожал протянутую ему жесткую неухоженную кисть, на тыльной стороне которой, у основания большого пальца, неуверенной рукой была давно и неумело вытатуирована корявая голубая надпись «КОЛЯ».

— Предельно рад видеть вас у себя гостем. Садитесь вот здесь, пожалуйста, или здесь, где вам удобно будет, — любезно говорил капитан, внезапно взглядывая на гостя мгновенно любопытствующим и как бы недоверчиво оценивающим взглядом своих узких желтых глаз.

«Ишь, половец какой», — подумал тотчас Бодров, усаживаясь.

Капитан вернулся на прежнее место, опять искусно владея телом, создав иллюзию, будто стол проходит мимо его неподвижных чресел, тореадорски узких и стройных, а не он сам мимо него, как это было на самом деле.

— Вы, конечно, беспокоитесь о предмете, так сказать, вызова, — начал, улыбаясь по-прежнему, ка-

питан, вертя в руках картонную папочку «Дело» с пятизначным номером и фамилией «Гойхман Г. З.».

«Ну да, — вспомнил Бодров, — ведь Георгий Захарович он».

— Так вы не извольте волноваться, — продолжал капитан, — просто я, будучи осведомлен о некоторых ваших способностях, — красноречивый взгляд на Бодрова, — от известного вам профессора, — опять взгляд на Бодрова, — заинтересовался, захотел познакомиться и вот досаждаю вам, — смущенная улыбка.

— Но позвольте, — воскликнул Бодров, — я нервничаю, этот ваш звонок, настойчивое приглашение, какие-то смутные рекомендации, отпрашиваюсь, а у меня плохие отношения с начальством — странно косится мой начальник, у меня жена, наконец, рожает, масса дел — и все это, чтобы познакомиться. Думаю, что у вас здесь какое-то дело, с ума схожу, а у вас, а вы...

— Здесь, действительно, дело, — сказал капитан, толкнув пальцем папочку к Бодрову.

— И потом, какие особенности, какой профессор, — заметно утихнув, осторожно держа папку, но не открывая ее, спрашивает Бодров.

— После, Николай Козьмич, ознакомитесь.

Перегнувшись через стол, Гойхман раскрыл в руках Бодрова папку.

— Видите, — сказал он, — вот заявление. От Краснопевцева Игоря Денисовича. Так, как, так... вот... его жена, Краснопевцева Ольга Васильевна, вечером 18 марта вышла из дома и пропала. Просит разыскать.

— А я что? При чем здесь...

— Постойте, Николай Козьмич, — мягко сказал Гойхман. — Ни при чем, ни при чем. Вот она — Краснопевцева Ольга Васильевна, 23 лет, взгляните.

К заявлению была прикреплена фотография, капитан сел, с трудом вытащил ее из скрепки и протянул

через стол Бодрову, далеко вытянув из хрустнувшего рукава полотняной сорочки худое мускулистое предплечье.

Бодров взял осторожно картонку, на коричневом глянце которой увидел не совсем четко проявленный нежный японский профиль, с мягким углом хрупкой скулы, с юношескими припухлостями возле ярких, явно некрашенных губ, с продолговатым окончанием ее, вероятно, зеленого, улыбающегося глаза и с безобразным синим штампом фотоателье у основания глубоко открытой, чуть напряженной от движения округлой шеи.

Черты Бодрова исказились, он побледнел и прикрылся от капитанского до неприличия тщательного взгляда описанной выше кистью.

Неотрывно глядя в белокожее незнакомое лицо, Бодров видел тело ничком с неудобно завернутой назад рукой, припорошенное сухим легким снегом, возле пустынной дороги в 15 метрах от шоссе, накрытое порванным по шву бумажным мешком Ленхлебторга, сучьями, валежником, в жидкой тени кустов барышника, под какими-то голыми кустами, под безнадежно бегущим серым небом.

Плотно сжав веки, ничего не слыша (между тем на капитана взглянуть стоило), Бодров проследил в какой-то противоестественной фиолетовой темноте весь ее горький путь. От мужа, скорого вдовца, до рук этих трех, их ударов, прикосновений. Казалось, ему снится сон. Ее одинокая фигура, с узкой жалкой спиной на пустом бульваре «Красного героя Иосифа Тито» (бульвара такого в Ленинграде нет. В воображении Бодрова так был назван бульвар Профсоюзов), ее лицо, обиженное мужем, среди громоздких скамей, опять ее безутешное лицо в металлически скрипящем троллейбусе с заляпанным полом, безуспешно дышащее в намерзшее стекло, ее торопливый рассеянный

шаг где-то уже почти за городом, метрах в 100 от своего тела ничком.

Кажется, он даже почувствовал ощущение ее, как она встретила этих трех, — желанный ужас. Но здесь трудно сказать. Возможно, это его личный ужас.

У Бодрова вдруг пошла темная кровь из ушей. Он упал. Два рослых сотрудника перенесли его тело на диван. Пришел, торопливо стуча каблуками, врач. Запахло больницей.

Гойхман постоял рядом. С жалостью он смотрел на расстегнутого белого Бодрова, на испачканный в крови ветхий ворот его рубахи, набухшие тампоны в эмалированной миске, страдальчески прикрытые глаза, надувшиеся на лбу и шее вены.

«Уеду, уеду куда-нибудь на Север селедку ловить», — подумал он с тоскою и обидой.

— Взгляни, Жорка, на снимки, просто чудо, — жарко зашептал капитану в ухо его безымянный соратник, которых много уже набилось в кабинет Гойхмана, забыв о трудовой дисциплине. — Пойдем.

И подвел Гойхмана к его столу, за которым сидел его непосредственный начальник, похожий на Уинстона Черчилля человек, и просматривал какие-то фотографии, с неподвижным лицом, с длинной сигаретой между указательным и средним пальцами правой руки, похожей на правую руку Уинстона Черчилля.

— Поздравляю вас, Георгий, — сказал он, протягивая Георгию фотографии. — Удивительно.

На верхнем из снимков, которые взял капитан, средним планом было сфотографировано необутое женское тело с напроць оторванной левой половиной кофты, задранной по талии, с отодвинутой в сторону ногой в отстегнутом чулке, выше которого видна была голубая, длинная царапина в засохшей крови, по диагонали шедшая от колена к внутренней стороне бедра. Капитан поджал губы, вздохнул.

Бодров открыл бессмысленные глаза, врач померил ему давление и, подозревая, подпустил капитана.

— Как вы, Николай Козьмич, себя чувствуете? — спросил Гойхман.

— Ничего, — тихо и медленно, хрипловатым голосом ответил Бодров.

— Очень жаль, что так все случилось... — замялся Гойхман, — результаты прекрасные, превосходили все самые радужные ожидания.

Бодров прикрыл опухшими веками глаза, наклонил голову.

— Еще один вопрос, Николай Козьмич. Простите великодушно, но это очень важно. Вы ничего не слышали, никаких текстов: имена, клички, адреса.

Бодров приподнялся и, с неожиданной ненавистью глядя в капитанское желтоватое лицо, устало сказал:

— Они называли друг друга «Туберкулез» и «Рыба». А третьего как, он поменьше ростом, не слышал.

На одной из фотографий чуть вкось лежали три темные мутные тени и виднелась часть вздернутого мужского профиля с влажным летящим глазом и густой рыжей бровью над ним.

— Он? — быстро ткнул капитан в профиль, — без имени?

— Да.

— Я начинаю вас бояться, — сразу отойдя от дивана, неестественно улыбаясь, сказал капитан.

— А снимки эти откуда у вас?

— Профессор, когда мы обдумывали с ним сегодняшний опыт, предложил мне на выбор несколько своих подопечных, и я, едва увидев ваше хмурое гениальное лицо, с вскинутым безволосым подбородком, впалыми бледными висками и мощным, отчего-то темным лбом, мгновенно выбрал вас. Мы должны были фотографировать ваше лицо с момента, когда

вы возьмете фотографию пропавшей, по условиям опыта, что мы и делали. И вместо вашего лица мы проявили весь ее горький путь, насилие, убийство, лица бандитов и место, где спрятано тело. Впрочем, одна ваша фотография все же получилась, самая первая, — и из своих рук, издали Гойхман показал фотографию Бодрова с несколько удивленным, испуганным лицом, с протянутой вперед к капитану рукой.

— Хотите на память? — хамски спросил капитан.

— Нет, я устал, — сказал Бодров.

— Конечно, я распоряжусь, сейчас, — заторопился капитан, — вас отвезут домой.

— Домой, — эхом повторил Бодров. — И никогда, вы слышите, никогда больше — почти закричал, загоревшись вдруг, Бодров, — или я прокляну вас и превращу во что-нибудь.

— Ради Бога, Николай Козьмич, все что угодно, будь по-вашему, только не нервничайте так, простите меня, — рассеянно сыпал Гойхман, чуть не улыбаясь своим явно посторонним мыслям.

*
*
*

Около дверей своих, обитых коричневой гарнитолью, Бодров замешкался. Ключей нигде не было в карманах. Он скудно позвонил.

Открыли сразу, будто Саша стоял за дверью.

— Баба Даша к маме поехала. Сначала позвонила от Капустиных, а потом поехала, — с порога торопливо сказал Саша, худенький черноволосый мальчик с веснушчатым узким лицом.

— А ничего не известно?

— Не родила еще, температура нормальная, — сказал Саша.

— Ладно, Саша, ты на музыку не опоздаешь? — спросил Бодров вяло.

- Сейчас, папа, иду.
- Давай-ка торопись.

Баба Даша, мать Бодрова, не старая еще вдовая женщина 48 лет, живущая у старшего сына. Выпив, она усаживает невестку с внуком подле себя и рассказывает им так:

— Нет, свекровка у меня хорошая была. Такая, знаешь, вспылчивая, но отходчивая. Бывало, поорет, поорет на меня, а после извиняется. Прости, грит, Даша, ты ведь меня знаешь. Ну, я «ладно уж, чего уж», говорю, как водится. Любила она меня. А уж гулянки без нее не начинались, ни одна. И свекра на гулянки никогда не брала, а меня завсегда. Свекр-то у нее под ногой был. Да...а... и приснилась она мне, хорошая, сегодня, Царство ей Небесное, будто мы пироги с ней печем. Помянем ее, Лизанька.

Мальчик ушел.

Бодров совсем сник, прилег на диван, держа руку на сердце, вспомнил всё, увидел вдруг поликлинику, где Гойхман лечит сейчас зубы. Что с ним, бедным, делается, когда доктор Николаева, молодая и белая, кладет ему за челюсть, за ухо, за стриженный затылок холеную долгую руку и говорит ровным шепотом:

— Потерпите, мой милый, забираю всю боль.

Но досмотреть это обольстительное зрелище Бодрову не дают — во входную дверь, обитую гарнитолу, настойчиво звонят.

— Ах ты Боже мой, — стонет Бодров, с трудом поворачивая свое тело. Боль и какое-то предчувствие опасности не оставляют его. Он как будто все время ловит на себе цепкий, очень внимательный взгляд Гойхмана. — Уж в покое он тебя не оставит, будь спокоен, — думает Бодров, отпирая дверь и глядя на пришедшую с тоской. — Он мужик хваткий.

Пришедшая, с лицом в бордовых пятнах, в разводах синей туши на щеках, с воспаленными от слез гла-

зами, в том состоянии, которое врачи называют «предшоковым», ослабшими, но все равно красивыми губами спрашивает:

— Простите, вы Николай Козьмич Бодров?

— Я, — говорит Бодров, прижимая крепче к сердцу свою руку. — Проходите, пожалуйста.

В коридоре, не снимая пальто, женщина говорит:

— Извините меня. Капитан давешний мне разъяснил все, что вы больны, устали, что они и сами найдут, но я сильно плакала у них, ведь уже второй день, и он дал адрес. Будто вы можете увидеть ее в воображении.

— Кого, — обреченно спрашивает Бодров, — какой капитан?

— Наденька, дочка моя, потерялась, другой день уж нет. Гойхман его фамилия... сказал... вот карточка, ей 6 лет, — лепечет женщина и, как будто даже облегченно плача, всовывает выдранную откуда-то с мясом фотографию в руки Бодрову.

— Ну, Гойхман, ну, Гойхман, ну сука, — отворачиваясь, бормочет Бодров, смотрит на фотографию, видит раздавленное, искалеченное тельце синеватого цвета, с надписью несмываемой краской на левой ноге «неизвестная» в прозекторской больницы им. Мечникова, на длинном столе, обитом оцинкованным железом.

— Больно мне, — шепчет он, теряя на мгновение сознание, — не могу. Ничего не вижу, потом приходите, — говорит он женщине, с трудом вздыхая. — Правда, болен.

Из окна он видит, как она, ссутуля плечи, идет к автобусной остановке, что возле зеленой часовни Владимирского собора, садится на троллейбус в очереди людей с Кузнечного рынка и в обществе их плоских кепок, небритых сизых щек едет в сторону Невского, держась за металлический поручень у заднего окна.



На другой день около 6 часов утра капитан Гойхман проснулся в своей жесткой кровати, которая стояла в меньшей из двух комнат, занимаемых его семьей в коммунальной квартире на Косой линии Васильевского острова. В другой комнате, где спала его двадцатилетняя сестра и суетливая мама с цветными лентами в редких сивых волосах, уже горел зеленый настольный свет, шаркала тапками сестра, звякала ложка в стакане, вполголоса говорила что-то маме, имея фоном бравурное тихое фортепьяно утренней зарядки на радио.

Гойхман потянулся, нашарил на тумбочке сигареты, зажег спичку.

— Жора, не кури с утра, — сказала мама за дверью. — Доброе утро.

— Доброе утро, мама, — сказал Гойхман, затягиваясь.

Через полчаса, умытый, причесанный, сдержанно одетый в темный костюм, крахмальную сорочку с уверенным узлом строгого, почти незатянутого галстука, тускло поблескивая башмаками, Гойхман пил чай с лимоном в маминой комнате, рассеянно слушая деловитый говорок сестры, искавшей в неприбранной комнате свою рукопись. Сестра работала в многотиражной газете, регулярно печатала там статьи под названием «Пьянству бой», все их начиная фразой: «В то время, как весь советский народ...». Вообще же она была ласковой сестрой, неглупой, в меру ироничной девушкой с хорошим лицом и с совсем уж хорошими ногами. За ней небезуспешно ухаживал былинной стати молодой человек в звании лейтенанта, в усах, с лицом молодого Михаила Яншина, но дурак. «Ах, это все неважно», — смеясь говорила Татьяна Гойхману, целуя своего кавалера в мягкое сукно мундира на груди.

— Как дела, Жорочка? Ты что-то плохо выглядишь, — чуть покровительственно спросила сестра, крутясь перед трюмо, заглядывая себе за спину вниз, на свои далеко открытые полноватые ноги.

— Мои дела очень хороши, — сказал Гойхман.

— Ну, я рада, — она нагнулась и неожиданно поцеловала Гойхмана в лицо возле глаза, неизвестно за что.

— Татьяна, на работу опоздаешь, дура сумасшедшая, — сказала с кровати мать.

— Бегу, мамочка, — сказала Таня и действительно убежала.

Гойхман допил чай, выкурил сигарету, глядя в темное окно, поднялся.

— Я тоже пойду, пожалуй, мама, — сказал он, стоя в прозрачной тени около стола.

— Постой, Жора. Скажи, ты знаешь, это правда, что Татьяна выходит замуж? — спросила мать строго.

— Да, мама.

— А мне она вчера сказала, дожила я. Ты его знаешь?

— Да, мама.

— Он же увезет ее Бог знает куда, этот казачий лейтенант, — в отчаянье сказала мать.

— Ничего не поделаешь, мама.

— И он мне не нравится, наконец.

— Полюбишь его еще, мама. Он славный парень.

— Нет, ни за что, Георгий, арестуй его, — закричала мать страстно.

— Хорошо, мама, — сказал Георгий.

Когда он ушел, мать с трудом поднялась с высокой кровати, на которой просидела все утро, заплетая косицы, подошла к столу за чаем и в слабом свете болезненного городского утра, заслоненного здесь домами, стеклом, копотью, издали увидела в трюмо — оно стояло в углу, довольно далеко от нее, выполненное очень давно в стиле ампира из орехового дерева

мастером Горошиным, — отраженную крупную женщину, неряшливо одетую в сатиновый яркий халат с неприбранными до конца волосами, с тяжелыми мешками под выцветшими глазами и будто бы сдвинутыми от жизни чертами некогда замечательного лица.

— Вот такая стала, — сказала она громко, без выражения, не глядя, одной трясущейся рукой неловко выливая в стакан остывший кипяток и слабую заварку.

* * *

Гойхман вышел в это время в промерзший асфальтовый их дворик с тусклым небом над ним. Прошел низкую мрачную арку с мусорными баками под облупленными стенами, скользнул в приоткрытую чугунную калитку в крашенных смолой высоких воротах — на родную улицу Косую линию и вдохнул глубоко ее густой прибрежный воздух.

Вечером вчера он ужинал с Ритой Николаевной в ресторане — нечистой, наполовину пустой, уютной комнате. Она была очень мила, осторожно взглядывала на него с какой-то чисто женской зависимостью — ему было приятно. Он с удовольствием ел, пил, смотрел на нее, говорил, потом, глядя поверх ее завитой по моде этой весны русоволосой головы, серьезно сказал:

— Примерно лет с шестнадцати я начал бояться совершить подлость, думая, что это будет мешать мне жить, так как я буду стесняться себя. И, в общем, я держал себя хорошо.

Несколько испуганно Рита отодвинула от него графинчик с водкой.

— С месяц назад я случайно прочитал о работах одного ленинградского ученого, увлекся и придумал опыт, совершивший, при успехе его, революцию в сыске. Ученый этот меня консультировал, похваливал, мы

шли год под парусами к успеху, но были сомнения этического, что называется, характера. Дело в том, что в опыте должны были участвовать люди, не совсем здоровые душевно, и им мог быть причинен вред. Ученый отошел, а я плюнул, наступил, перешагнул, дилетантски уговаривая себя, «что все не так страшно, что, возможно, с ним и не будет ничего», и сегодня эту революцию совершил. Успех полный, можете меня поздравить, Рита. Человек этот довольно быстро оправился, ушел почти таким, как пришел. Меня все поздравляли, и не знаю, кто меня попутал, тут же провел повторный опыт, проверочный, я еще сомневался. Это уже у него дома, я еще звонил, спрашивал совсем недавно, перед рестораном, убеждался.

Багроволицый увечный гардеробщик, от которого сложно пахло смесью водки и крепленого плохого вина, одел их. Они вышли на улицу.

И вот сегодня он едет на службу в новом качестве, без труда рассмотренном вчера, в переполненном автобусе, подняв свое бритое жестковатое лицо одинокого человека на женщину, случайно оказавшуюся почти рядом с ним — через две-три сонные фигуры с поднятыми воротниками, — в которую он был влюблен давно, кивающую чуть нахмуренным любящим лицом своему спутнику, словно окунутому угадываемым массивным подбородком в молодую, курчавую бородку.

У Гойхмана сжимается сердце от зависти и жалости к самому себе.

Познакомился с ней Гойхман, придя однажды со службы домой и застав у матери и сестры в гостях за чаем двух женщин — молодую и постарше, оживленных и нарядных. На младшей была серая, очень толстая шерстяная кофта, обшитая зеленым, с распахнутым высоким воротом, из которого легкой колонной поднималась шея, завершенная остриженной коротко

черноволосой головой с серьезным лицом, на котором первенствовали глаза.

Оказалось: мать и дочь. Когда-то дружили домами, чуть не ездили вместе на дачу.

— Вы, Георгий, даже катали Ирочку на лодке, вспоминайте, вспоминайте, — со смехом, несколько скриплым голосом, говорила гостья-мать, осторожно грозя Гойхману издали длинным старческим пальцем с наманикюренным коротким ногтем.

Гойхман, умело скрывая раздражение, улыбнулся ей. Глазастая дочь ее с неровным румянцем на крепкой коже бледного лица исподлобья глядела на него.

— Я еще весло в воду выронила, — негромко сказала она.

Никогда Гойхман не вспоминал того лета, оно ему даже не снилось, так похожее на сон.

Была речка с заболоченным берегом, с прогнившими мостками, с вытянутыми наполовину в жесткую береговую траву некрашенными лодками, с цветущим огородом лилий и с вытоптаным деревянным стадионом на противоположном берегу.

Будила Гойхмана до света сестра. Спал он на очень высокой кровати, или что там стояло? Татьяна приходила, дергала снизу одеяло, говорила:

— Вставай, Жора, проспишь все. Я уже подоила с тетей Клавой.

— Не хвастай, сестра, — говорил Гойхман, не открывая глаз.

— А я не хвастаю, не хвастаю, на вот, гляди, — и неловко подавала ему синеватую поллитровую банку с молоком, держа ее снизу толстенькой рукой.

— Ирка вчера спрашивала, на лодке будем кататься? Сегодня, а, давай, Жора, — заискивающе говорила сестра, глядя, как он пьет не отрываясь, коротенькая девятилетняя девочка в пестром платице, с наглаженным бантом и в кожаных городских сандалиях на загорелых ножках.

А потом? Потом они спускаются все трое пологим мягким склоном мимо рыхлых невысоких стожков пересушенного сена цвета бледного хаки, мимо тяжелых породистых коров, мимо лежащего немолодого пастуха с звериным профилем... И потом он сталкивает лодку с присевшими смиреннько на кривом носу девочками в холодную воду темную, царапая ноги в подвернутых шароварах о звенящую траву.

Давно это было.

И после визита этого он вспоминает, в неожиданное самое время, дальнее это лето часто.

Например, глядя на унылого пожилого мужика, приведенного к нему на допрос и тупо молчавшего. Щеки его лежат на затертом воротничке. Он — убийца.

Или прошедшей осенью, у ЗАГСа, с букетом красных гвоздик в руке, когда он опоздал и увидел лишь длинное колено невесты, открытое коротким подвенечным платьем. Ее подсаживал в белоснежный свадебный автомобиль с газовыми голубыми флажками плотный жених со свежим медальным лицом, в твердом свадебном костюме; в чистое заднее стекло нарядной машины, блестевшее под поздним солнцем, Гойхман увидел полоску смуглой широкой шеи между тугим воротничком сорочки и ровно остриженной каймой мягких волос цвета спелой пшеницы, и ему захотелось ударить по этой шее кулаком. И когда нахмуренное лицо новобрачной, сминая дорогую фату, уткнулось в поднятое плечо новоиспеченного мужа, механически вошел в дверь ЗАГСа и стал подниматься по лестнице навстречу следующей молодой семье, с похолодевшим, как бы чужим сердцем, на неверных ногах. Он постоял на плохо освещенных высоких ступенях крутой лестницы, усыпанных кремовыми лепестками свежих роз с уже загнувшимися внутрь, стареющими на глазах необычайно нежными краями, и, сняв горстью холодный пот со лба и потеряв другой ладонью худое лицо свое, пошел домой.

Рабочий день начался с заседания. И когда обсуждали «эффект Гойхмана» — так с чьей-то легкой руки теперь называли в управлении происшедшее в кабинете капитана УООП Гойхмана утром 21-го марта, ведущий собрание большой начальник сказал:

— Говорить здесь надо мало и, не боясь, много хвалить. То, что сделал капитан Гойхман, невозможно переоценить. Я бы сказал, что операция проведена изящно.

Гойхман сидел красный, злой, опустив голову, глядя на сцепленные судорожно руки.

— Понимаю ваше огорчение, Георгий Захарович, — отечески продолжал говоривший, — болезнь его и отказ от сотрудничества усложняют все, бесспорно. Да ведь найдем другого, дорогой мой, ей Богу, не хуже. Не оскудела еще земля русская.

Встретил Гойхман Бодрова, когда тот шел от жены, родившей ему сына. Пальто на нем было распахнуто, шарф болтался вокруг жилистой толстой шеи. Он выходил из чахлого садика, разбитого под окном роддома, из раскрытых ворот. Гойхман стоял на другой стороне диабазового проспекта, отделенный нечастой толпой у трамвайной остановки.

— Послушайте, — крикнул он Бодрову. Тот обернулся в одну сторону, в другую, потом посмотрел прямо и увидел Гойхмана.

— Вам чего? — спросил Бодров, стоя на своей стороне.

— А ничего, — прошептал капитан и скоро пробежал узкий проспект, ловко увертываясь от машин и трамваев.

— Не отстать вам от меня никак, — улыбнулся Бодров. — Но я все. Я сказал вам уже все, даже матом объяснил.

— Я провожу вас, можно?

— Удивляете вы меня, капитан, — сказал Бодров: подумав: «Вот ведь привязался, бранное слово».

Пошли они по неуютной и сумеречной набережной Обводного канала, в сторону Балтийского вокзала.

— Я чувствую вину перед вами, Николай Козьмич, — сказал капитан, держа Бодрова за счастливую руку. И, действительно, он был смущен и робок, выглядел совсем потеряннным.

— Ладно, нечего говорить, — сказал Бодров, оглядывая капитана. — И не огорчайтесь, я ведь знаю, что вы достойный человек. Как там написано на той книжке? — щелкнув пальцами, спросил гений.

И громким голосом он повторил дарственную на той книге: «Дорогому Георгию Захаровичу, любимому водителю, замечательному человеку от второго отряда. 28. 6. 66 года. Панасюк Марина, Рыбина Света, Урм Елена, Пияков Сергей, Минкевич Женя, Травникова Шура, Осмоловская Лена, Шоймер Сеня, Голубев Вова, Шуваев Виктор, Хорева Галя, Хорева Валя, Петрова Марина, Тювякова Лена, Шагина Люда, Клопова Ира».

— А вы что вообразили? — спрашивал гений, увлекая Гойхмана под руку. — Пойдемте-ка лучше выпьем, такой день проживаем.

Над ними так же бежало, в сторону от моря, безрадостное небо без единого просвета. С утра не потеплело.

Двигались к весне.

1972 г.

ПЕСНИ ЖОРЖА БРАССЕНСА

Перевод и предисловие Василия Бетаки

В день похорон Брассенса о нем сказали «великий французский поэт». Пройдет время, оценки устоятся, но думается, что эти слова, сказанные у могилы поэта, выдержат груз годов.

В нынешней французской поэзии, где засилье так называемого «свободного» стиха — прозы, разбитой на строчки, — еще продолжает быть глушилкой мелодии, есть по крайней мере два поэта, сопротивляющихся потоку моды, два поэта, для которых, если повторить слова Верлена, «музыка — прежде всего, все прочее — литература». Это Жак Брель и Жорж Брассенс.

И музыка стиха, поддержанная музыкой струн, звучит и будет звучать.

Я слышал, как многие французы отмечали общность Брассенса и Окуджавы. Что ж, есть у них общая точка — но она глубоко во временах: там, где сходятся параллельные линии. Точка эта — Франсуа Вийон. Но, видимо, будет точнее провести иные параллели: Окуджава — Брель (лирическая стихия) и Галич — Брассенс. Такой же полифоничный, вобравший в себя все мыслимые жаргоны язык, песни-монологи, песни-сценки, то же сочетание несоединимых понятий: гитара и философия.

Брассенс — вроде бы бесшабашный, ренессансно-непристойный, уличный, кабацкий поэт, бросающий вызов мещанской стилистике, в чем бы она ни проявлялась; Брассенс, смеющийся над собственной тоской, тоскующий над собственным горьким смехом, — он из тех, кто во все времена «от жажды умирает над ручьем» и «познает все, кроме себя» (как писал о себе Вийон).

Русский *слушатель*, наверно, знает Брассенса по тем немногим пластинкам, которые проникают в СССР, но русский *читатель* с Брассенсом вовсе не знаком. Фривольность — не та виза, по которой впускают на страницы советских изданий.

Впервые несколько лирических, как всегда полупристойно-ироничных, стихов-песен Брассенса были опубликованы в журнале «Эхо» в переводах Киры Сапгир. А эти песни, которые я предлагаю нашему читателю, показывают другую сторону творчества Брассенса — не столько лирическую, сколько философскую, хотя ирония и тут доминирует. Без нее нет Брассенса. Конечно, на выбор самих стихов повлияло то, что я переводил их всего через несколько

дней после смерти поэта. И потому эта маленькая подборка начинается той самой песней, которая звучала с экранов французского телевидения во время похорон Жоржа Брассенса.

ЗАВЕЩАНИЕ

Я словно ива загрущу,
Когда Господь, отмерив дни,
Мне скажет, хлопнув по плечу:
«Так есть ли Я? Пойди, взгляни!»
Тогда поминки справлю я
По всем на свете — пей до дна! —
Еще стоит ли та сосна,
Что мне на гроб пойти должна?

Я б на кладбище в этот раз
Кружной дорогой зашагал.
Я просачкую смертный час,
Как раньше в школе сачковал.
Пуškai меня ханжа любой
Последним психом назовет,
Пуškai ворчит — я в мир иной
Отправлюсь задницей вперед.

Но до того, как флиртовать
В аду с фантомами блядей,
Еще подружку бы обнять,
Еще залезть под юбку ей,
Еще раз ей «люблю» шепнуть,
Глаз не сводя с ее лица,
И хризантему протянуть —
Что ж, это — роза мертвеца.

Пусть Бог внушит моей жене,
Что я всегда был верный друг,

Чтоб уронить слезу по мне
Ей не понадобится лук.
И лучше б муж ее второй
Был точно роста моего,
Чтобы пиджак потертый мой
Налез, не лопнув, на него.

Мое вино, мою жену
И трубку я отдать готов,
Но пусть — иначе прокляну! —
Не трогает моих котов.
Хоть был я человек не злой,
Но чуть обидит одного,
Тотчас же грозный призрак мой
Придет преследовать его!

Вот желтый лист упал во прах.
И завещанье надо спеть.
Пускай напишут на дверях:
«Закрито. Перерыв на смерть».
Зато уж от больных зубов
Меня избавит смертный сон.
Заройте без надгробных слов
В могиле братской всех времен.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

С тех времен, как не зная меры
Люди тешатся войной,
Не во гнев старику Гомеру,
Среди тысяча и одной
Я торжественно объявляю
Безусловный выбор мой:
Я другой такой войны не знаю
Лучше первой мировой.

Нет, не думайте, что плевать мне
На былые времена,
Что до лампочки, так сказать, мне
Франко-прусская война,
Я с восторгом вспоминаю
Каждый день ее и каждый бой,
Но другой такой войны не знаю
Лучше первой мировой.

Безусловно, герои Спарты
Дали работу своим мечам,
И гренадеры Бонапарта
Били тоже не по воробьям,
С уважением откозыряю
Ихней славе боевой,
Но лично я предпочитаю
Битвы первой мировой.

Не скажу, что разочарован
Тем, что сам я повидал,
На войну сорокового
Я бы тоже плевать не стал,
Но похвальным листом отмечаю
Перед всякой иной войной
То, что сам предпочитаю:
Битвы первой мировой.

Марс, конечно, веселый малый
И в мешке своем найдет
Что-нибудь, что небывалое
Впечатленье произведет,
Но пока что повторяю
Неизменный выбор свой:
Я сражаться предпочитаю
Лишь на первой мировой.

КОРЕШАМ ПРИВЕТ!

Нет, это вовсе не был плот
«Медузы» — все наоборот,
В порту порой и не такой
Услышишь бред.
Посудина других не хуже
Ходила по утиной луже
И называлась «Корешам привет»,
«Корешам привет».

Так «*Fluctuat nec mergitur*»
Без никаких литератур
Дурному глазу не в обиду —
Не в обиду, нет!
И капитан — совсем не свинья,
И все — портовые друзья
Друг друга знали тыщу лет —
Корешам привет!

Друзья — не то чтоб шибкий люкс,
Совсем не Кастор и Поллукс,
Пожалуй, даже не содомский
Верхний свет,
Не для Монтеней и других,
Зато уж как дадут в поддых —
Копыта кверху, и привет,
Корешам привет.

Не ангелы, да и шабаш!
Не знали даже «Отче наш»,
Но с ближним связаны —
Канатов крепче нет,
Хоть не святые ни Поль, ни Пьер,
Но верность их не знала мер,
Молитва их и кредо кред —
Корешам привет.

А что не так случись едва —
Качала дружба свои права,
Она компáсом их была,
Компáсом была,
И если кто на мель сканал,
Не С.О.С. был их сигнал —
Отсемафорят в белый свет:
Корешам привет!

В компашке добрых корешков
Не попадалось чужаков,
А если кто не вернулся на борт,
Уж верно мертв...
И никогда из всех никогда
Не смыкалась над ним вода,
Назло судьбе — пройди хоть сто лет —
Корешам привет!

Я много знал кораблей лихих,
Но лишь единственный из них
Вовеки с курса не сходил —
Привычки нет.
И все ходил других не хуже
По своей утиной луже
И назывался «Корешам привет»,
«Корешам привет».

...И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Я сторонюсь всего, что шумно и публично,
Живу себе в тени почти что буколично,
Я славе не хочу платить собой оброк,
На лавровых венках я дрыхну как сурок.
Но мне твердят кругом — раз у тебя есть имя,
То ты в большом долгу перед людьми простыми,

Чтоб славу поддержать, мол, выстави на свет
Все потроха свои и каждый свой секрет.

О трубы
Славы стоустой,
А проку
От вас не густо...

Могу ли я забыть простую осторожность,
Хотя реклама мне охотно даст возможность
Подробно рассказать о том срывании роз,
При коем так важна экстравагантность поз.
Но если рассказать, какие Пенелопы
Когда и как и где мне подставляли попы,
О, сколько на земле прибавится блядей,
И сколько пуль схвачу я от своих друзей!

Экспозиционизм претит моей природе,
Болезненно стыдлив я при честном народе,
Известную деталь не видит взгляд ничей,
Помимо баб моих или моих врачей.
Я вовсе не хочу бить в барабаны хером,
Чтоб выбить гонорар досужим хроникерам,
Мне вовсе ни к чему искать скандальных сцен,
Как флаг перед толпой вздымая старый член.

Одна из светских дам ждала меня нередко
В своем особняке на шелковой кушетке,
И — что греха таить — принес я от нее
В известных волосах известное зверье.
Но кто мне право дал для шума и рекламы
Так посягать на честь прекрасной этой дамы,
Чтоб в чей-то микрофон рассказывать о ней:
«Сама маркиза Эн мне напустила вшей!»

На небе ложе мне уже почти готово —
Не зря отец Дюваль свое замолвил слово.

Друг другу мы грехи привыкли отпускать.
Ему к лицу «аминь», а мне — «е.... мать»
Но разве стану я писать во все газеты,
Что раз его застал я у моей Лизетты.
Под пение псалма — не вру, чтоб я оглох —
В тонзуре у него она искала блох!

Но с кем же, чёрт возьми, я должен спать отныне,
Чтоб развязать уста бессовестной богине?
Гитару прочь с колен — и буду знаменит:
Любой кинозвездой гитару заменив.
Чтоб возбуждать толпу и журналистов тоже,
Которая из звезд мне одолжить предложит
Свой популярный круп и, может быть — как
знать, —
В придачу две горы, чтоб альпинистом стать?

Трубили бы всюду, наверно, трубы славы,
Когда бы я болтал налево и направо,
И бедрами качал, как та мадмуазель,
И тут же удирал стыдливо, как газель.
Но непонятно мне, скажу вам между нами,
Зачем играть в любовь, переменяться ролями,
Тем более, сей грех немного славы даст:
Давно уж не в цене банальный педераст.

Есть тысяча один рецепт и кроме этих
Для всех, кто хочет фи — гурировать в газете,
Я ж — для людей пою, а если не хотят —
Все песни я готов заткнуть в гитару взад.
Мне вовсе ни к чему блестящая обуза,
Я песенки пою, почесывая пузо,
И славе не хочу платить собой оброк,
На лавровых венках я дрыхну, как сурок.

О, трубы
Славы стоустой,
А проку
От вас не густо...

Круг рассказчиков

Юрий Милославский

ЛИРИЧЕСКИЙ ТЕНОР

Лирический тенор Александр Шемелин был одержим припадочной жалостью.

Законно изойдут припадочная скупость и страсть, найдет подходящую работу припадочная строгость, проживет неразрушимо до старости припадочная жестокость. Но припадочная жалость — не спасется ничем, и одержимый ею — словно натывается открытым глазным яблоком на закуренную папироску.

В первое воскресенье летних каникул после четвертого класса одиннадцатилетний Сашка Шемелин, прогуливаясь с отцом, угодил в зоологический сад.

При входе — возле арочных ворот с колоннами — продавали сахарную вату, мороженое в брикетах: наполнитель желтый и розовый. На главной аллее виднелись свежепобеленные памятники разным зверям, а у повитого еще нерасцветшим душистым горошком теремка — музея живой природы — плясал на тончайших ногах дядя Ваня в милицейском мундире довоенных годов, играл на воображаемой балалайке, блажил: «Вдарю я по струнам звонко — зазвонит! лихая полька...»; больной на голову. По всему участку репродукторы садовой сети передавали пьесу кукольного театра «Серебряное копытце» — ее исполняли здесь же на эстрадке против павильона-закусочной. Представление подходило для младшего возраста, и поэтому пошли к животным.

Пропыленные медведи бурые жрали карамель: фруктовую и молочную; мятную — разгрызали и вы-

плевывали. Сплошное падение твердых сластей, под-
начивающие крики, смех и (немного) плач. — если
караминка, неточно брошенная дитятей — изгото-
вился, наметился, ах! — упала в проем меж клеткою
и забором. Белый медведь сидел в бетонной яме, на-
полненной густоватым. На поверхности дохло болта-
лась пара рыбок из казенной порции, а угощения,
медведю нашвырянные, тонули — он даже не пробо-
вал нырнуть за ними вдогонку.

И витала поговоркой-скороговоркой невесомая
белка в своем колесе.

Двое молодых, поселковых, слегка поддатых,
завороженные бесскрипным кружением — не при них
началось, не для них предназначалось, — стояли, шке-
рились.

Существо бежало, не касаясь пяточками ступиц.

Более развитой поднял с асфальта дрынок, пере-
весился через ограду и сквозь расплзшуюся ячею
принялся подбираться к белке: ее ли скинуть, колесо
ли остановить. Протяженным накатным скачком Саш-
ка достигнул поселкового, ухватился за дрынок и пе-
реломил его. Третью деревяшки запала в клетку, осталь-
ное — покачивалось в расслабших пальцах шкодника.

Поселковые неторопливо охренели, а Сашка,
преображенный в полупрозрачную голубую саблю,
ослепительно и бездыханно молчал. Сашкин отец, не
сообразая что к чему, призвал было к дисциплине —
заорал: «Что вы, дурбилы здоровые, в детское учреж-
дение приперлись?!», — но поселковые и так свали-
вали без угроз и выяснений.

Белка бежала.

До полного заката не мог отец сорвать Сашку с
места, увести домой — успокаивал, убалтывал, дер-
гал. Никогда ничего подобного не выдавший, рас-
строенный, — он сам чуть не двинулся, даже надумал
звать на помощь — неизвестно, правда, кого: сотру-
дников зоосада? заинтересованных? — одновременно

стесняясь дикого события, закрывая Сашку от народа. Заинтересованные, расспросив друг дружку, — Сашкин отец им не отвечал, злился, отмахивался, — шли во-свояси. А Сашка не двигался. — страшная жалость, плеснув, оплавила его, припаяла к земле.

...Распропазаперепитой семьянин, зыбко и тща-тельно переступая, нес круглый килограммовый торт, держа за петельку перешнурованный одинарно короб — влажный картонный испод его, сочась, лопотал о свежести пропитанного ромовою водою бисквита. На трубчатом выступе семьянин споткнулся — и отпустила скользкая тесьма, а торт шмякнулся боком, теряя крышку, из-под которой посыпались шевырюжки цукатов, облаченные в золотую и пунцовую фольгу шоколадные брошки; рухнули кремовые хризантемы, смялись объемные литеры поздравления «С...» — не серийный был торт, но заказной, индивидуальный: значит, нельзя такой другой сразу купить, даже если жабки квакают... А они — не квакают.

Широко распластанное грязное лакомство и стоящего перед ним на коленях семьянина обходили мыс-ком, забывали с третьего шага, в крайнем случае — взойдя в трамвай. Сашка же — оглядывался, пред-принимал краткие возвращеньца к покидаемой им горстке беды, вновь отступал, удалялся вполоборота, покамест невезучий не поднялся с тротуара, прими-рясь и настроясь на дальнейшую жизнь.

...Особенно юного натурализма или тимуровства Сашка не проявлял: выхаживанием больных и погре-бением мертвых котят не увлекался — одного живого-здорового как-то похоронил; не подкарауливал он увечных жильцов за водоразборной колонкой, через улицу их не переводил, он и навыков таких не имел — Шемелин Александр Владимирович, сын Шемелина Владимира Тихоновича — электрика мастерской по ремонту торгового оборудования и лаборантки 12-й районной поликлиники Герашенко Надежды Александ-

ровны, про которую во дворе говорили, будто она на работе в заражном говне колуется — пока она не доказала, что сидит на выдаче результатов; то отворялось в нем нечто, мгновенно вбирало в себя близлежащее страдание — и тогда Сашку мотало-пытало с белками в колесах, с именинным или свадебным расплесканным тортом (он его во сне видел, не помня наяву)...

Армия отрубилась хорошо: не побыв и месяца салабоном, Сашка попал в художественную самодеятельность. Наряженный в офицерскую форму с солдатскими погонами, запел солистом в составе ансамбля своего военного округа, разъезжал с выступлениями, забайкальского хлеба и комбижира практически не знал, домашнего отпуска нанизалось — шестьдесят суток без дороги.

Музыкальный руководитель ансамбля майор Евланов отмечал, что Шемелин выдает из груди, а не из горлянки, но критикуя — например, при разучивании момента «Ах ты служба, ты служба солдатская... поначалу казалась неласкова, а потом полюбил всей душой», — указывал, что Шемелин в военно-патриотических вещах поет, как под нос себе напевает, не интонирует с отношением. Сашка Евланова не понимал — впрочем, майор и сам видел, что разъясняет неподходящими словами: «Ты сильно ровно произносишь — за твоим тенором бас какой-то прячется», — Евланов желал хотя бы приблизиться к ощущаемой им особенности, сострить верно. И не мог ничего полезного преподать, не зная — в чем дело.

Сашка пел отпущенными связками, не подпирал их мускулами, не давился дискантом, отчего строй его пения — был обтекаемо занижен. Эту безыменную разницу и чуял музыкальный майор Евланов, но рассуждал о голосах горловых и грудных, о концертности и сценичности — не в ту степь, мимо денег!

Майор переоценил консерваторских, когда однажды — после прослушивания пластинок известных старинных певцов — засел во вздутое юбилейное кресло и сказал Сашке: «Ты поешь... как тебе передать? — до-рево-люционно... Не в политическом смысле, а в культурном. Может возникнуть разная херня в связи с современным репертуаром. Откуда оно взялось — неважно, и пока консерватория у тебя это квалифицированно снимет — надо к радио прислушиваться».

Ничего не возникло, ничего не пришлось квалифицированно снимать — остался проникновенный майор в комнате боевой славы, где гляцевый паркет был сведен от двери к окну дорожкой вишневой ворсы, остался вместе с радиолой высшего класса, с фотомонтажами на стенах, — не нашлось ему в консерватории равных по тонкости.

Консерватория приняла Сашку как всех с его данными, обозначила его лирическим тенором, и он заучился, зашагал на занятия по фигурно и мелко мощенному германскими пленными придворку консерваторского здания. Певческие классы помещались в нижнем этаже, окнами на проходную часть, и спешащие люди — задерживались, слыша тренировочные фиоритуры: надеялись, что минут через пять студенты закончат разминку и споют что-нибудь определенное — чего ни разу не случилось, не совпало по времени.

За полгода до выпускного «Запорожца за Дунаем» Сашка расписался с Валецкой Парталой (факультет музыковедения), беременной от Сашкиного сокурсника Виталы Бондаря.

Этот припадок — первый и последний им самим замеченный — Сашка скрыл ото всех, и когда через год Валя — с небольшим, но публичным шумом — подала на алименты, выдал себя за стандартно подзалетевшего человека искусства.

— Я ее на каркалыге вертел как хотел, — Витала Бондарь собрал надежных обсудить. — Месяц назад, до октябрьских, она вдруг несет: Виталик, у меня не пришло, я беременная, туда-сюда. Я говорю, делай что-нибудь, поскольку в любом случае это никому не надо. В общем — состоялось.

Витала Бондарь просил, чтобы сколько-то человек пошли к Партале и предупредили: будет распространяться — скажут, что про ее отношения с Бондарем мало кто информирован, зато подтвердят везде, что она барается со стилистами.

...Помирились бы, сползлись Витала Бондарь с Валея Парталой: по сложности расстаться, по накопившейся привычке — легче продлить, чем прервать, просто потому, что Валя хотела *заставить и отомстить*, а Витала — *отомстить и заставить*; не было бы никаких проблем молодежи и студентов, замкнулось бы все комсомольской свадьбой со скромными подарками и поздравлениями, как говорится, от парткома, месткома и родильного дома. Но сумасшедший вольтаж Сашкиной судьбы двулезвийно вонзился в происшествие-историю, негодную даже в раздел «Наш современник», подъял ее, невидимую, над переменною облачностью без существенных осадков, смертельно озарил изнутри — и выронил, самоиспепелясь.

В основном зале ресторана «Спартак», украшенном многорядными густыми люстрами, алебастровыми гирляндами по углам и овальным зеркалом, обрамленным в бронзовое литье, ужинал лирический тенор Александр Шемелин, принятый театром оперы и балета, тарифицированный актером первой категории. Ели с ним: Таня Байцур и Ларочка Мулевая (*не одна...*) — поклонницы! ели салат столичный, салат весенний, лангет, беф-строганов и котлету по-киевски, пили херес и коньяк «Одесса». Оставив на тарелках из-под горячего лишь участвующие в гарнире мор-

ковную и свекольную кашицы, — заказали коробку «Кара-Кум», яблоки и кабернэ.

...Секрет ресторанной пищи — не в ее усложненном, по сравнению с домашней, виде, не во вкусе — безособенностном, терпимом для любых едоков, не в запахе — едва вяловатом, неделимом, скажем, на мясо, картофель, лук — хаванина и все тут, но в ее разреженности, словно мало дали, недовесили, обокрали. Потому и кричат, что, блюдо, мол, с ущербом, или: «Вы из моего бифштекса цистерну борща сварили на дневные обеды!», — однако нет, ошибочно! — не богуют на наших обедах директора, мэтры и нахалюжная подавальщина: быть может, какая отверженная посудомойка ломоть говядины в промежность закопает, что загодя учитывается — в ресторан отпускают с походом, и не нуждается полноценный работник в прямолинейности — есть способы, есть источники, о которых — не мне базлать: я рестораны не посещаю — сам готовлю и друзей угощу. Не желаю я слышать и читать свидетельства смелых очевидцев, как из супового хряща филе-миньон создают, что в меня бутерброд с маслом отдельной заедкой проставлен. Не ходи и ты, брат, огорчаться по ресторанам, прими игру — как она есть: остальные игры принял и эту примешь, не мельтеши над чаевыми, не контролируй водку спиртометром, короче — не выступай по-дешевому, и тогда откроется тебе секрет, который правильнее будет назвать — тайна; и, как всякую тайну, не следует ее разыскивать вовне: ни при чем ромштексобифштекс — это духовная наша алчба, неутоленная и неутолимая, свербит, очнулась в зловещем ожидании обиды, рассвободилась — поскольку в ресторан мы *сами пришли*, без понуждения. Так признайся — ты не жрать сюда пришел, сыт ведь: утром две сардельки с городской булкой умял, кефиром запил, в обеденный перерыв — откушал в пирожковой... И кажется, будто с двух сторон подсоединили к нам

вакуумные насосы и образуется в нас некая полость, а в ней — блуждает выдуманный элемент «флогистон», материя пламени. Начинаем мы по бесталанности глушить алчбу набиванием курсачища — не насыщает!..

Рекордсмен мира в тяжелой атлетике, одетый в драгоценный пушистый пиджак со множеством лишних клапанков и перекидок на пуговицах в виде половинок футбольных мячей, пил перцовку, закусывая маслинами.

Он пил бы — не так, закусывал бы — иначе, если б не сидели с ним за столиком навещенные им внезапно друзья — мастер спорта по плаванию Эдик Шойхет, теперь тренер, и Женя Качанов, бывший когда-то членом сборной по боксу, кандидат исторических наук.

Рекордсмен скорее всего не пил бы вовсе, но ранним вечером — пять часов назад — он выскочил из своей московской квартиры, рванул в Быково, там старший кассир собственными ножницами вычекрыжил ему билет из лимитного блока, и, после девяностоминутного лёта, рекордсмен звонил по диспетчерскому телефону Эдику, а тот — Женьке.

Пили за кубок Европы.

Второй сезон пребывал рекордсмен в несказанном отчаянном страхе.

Второй сезон ровно за трое суток перед каждым соревнованием приезжал к нему на дом врач-экспериментатор исследовательского отдела министерства Валерий Антонович Житенев — и привозил с собою в портфеле плоскую шкатулку темного дерева. В круглых ее пазах размещались три одинаковых пузырька с притертыми пробками. Валерий Антонович отмыкал защелку, откупоривал определенный пузырек, погружал туда иглу заранее собранного шприца и делал рекордсмену неболезненный вкрадчивый укол — недалеко от дельтовидной мышцы и трицепса. На следую-

ший день — кололи из иного пузырька. И за двадцать минут до начала первой попытки в рывке — Валерий Антонович, возникший в раздевалке, подавал рекордсмену пластмассовую стопочку-наперсток, — в ней пахло солодом и зубной пастой содержимое последней склянки.

Об уколах. Если беспокоит, в принципе можно в ягодицу.

Что в пузырьках. Витамины.

О глотке из стопочки. Если неприятно, заешь крошкой сухого печенья, — на.

О действии. Укрепляющее.

Как всякий человек, рекордсмен не любил уколов и опасался незнакомых лекарств. Но — высокопоставленный спортсмен, официально закрепленный за собственным телом, особооплачиваемый и особоответственный начальник того, что ему принадлежало как бы не частным образом, а только числилось за ним, — он ненавистно служило боялся каких-нибудь упущений, халатностей, ротозейств, за которые в конечном итоге отчитываться-то придется ему, а не тем, кто пусть и по праву, по специальному именному разрешению хозяйничает на его участке. Хуже всего бывало, когда рекордсмен ненароком сосредотачивался на теле, как на своем: уходил, ослабнув, с поста. Тогда просматривались, проскальзывали в толще — *изменения*, черные узкие хвосты щекотали рекордсменовы косточки, прикасались, трогали конусовидные зубки.

Однажды Житенев явился с непрокипяченным шприцем. Он отправился на кухню — поджигать газ, водружать на него никелированный гробец-дезинфектор, а рекордсмен слез с дивана и открыл шкатулку. На всех пузырьках белели этикетки, где типографским шрифтом означалось: «Министерство здравоохранения СССР. Смесь № 1. Смесь № 2. Смесь № 3».

... — В сумме троеборья зафенделячишь, — сказал Эдик Шойхет и поцеловал рекордсмена в скулу. — Качан, где у нас колбаска?

— Солененьким засоси, — плюнул в него маслинною косточкой рекордсмен.

Эдик отстранился, и косточка влетела в прическу Тани Байцур, застряла меж локонами — Сашкин кутеж был ближним к рекордсменскому от прохода. Рекордсмен, смутясь, воздвигся, накренив столик, — покатилося, посыпалось убранство, — мирно засигналил стаканом. Кое-кто узнал его, кое-кто — не узнал, и он пошел извиняться.

Оркестр играл из фильма «Карнавальная ночь».

— Номер раз, — улыбнулся рекордсмен и взял плачущую Таню за шею.

— Номер два, — и поддел ее за подбородок.

— Номер три, — он повлек Танину головку к себе, желая губами выбрать из ее волос косточку, проглотить — в юморе, но от чистого сердца, потом совместно залить эту косточку шампанским, столы сдвинуть, потанцевать. — и сказануть девушке во время танца: «Я маслины буду кушать всегда с косточками — пусть у меня аппендицит заболит...»

Сашка ударил рекордсмена кулаком под ухо — куда только что поцеловал Эдик Шойхет.

Рекордсмен отшатнулся — и попал взглядом в зеркало.

Ему вводят витамины, положительно влияющие на вес и тягу: они позволят заделать соперников на кубке европейских чемпионов, — какой-то закрытый конский возбудитель высшего качества, КВВК, — перенапряжешься и накроешься женским органом, — но до кубка еще далеко, а он — уже стал хилым и неузнаваемым, его метелят кому не лень, по ушам колотят.

Он ответил Сашке тычком-пинком разъявленной ладони, с-поднизу вхляст.

Расщепленные челюстные салазки пробили Сашке супротивную удару щеку; кровавые створоженины повисли на Таниных чулках — Сашка упал ей в колени, она выпрямила ноги, и он съехал по ним, прилип лицом к линолеуму.

* * *

На афишную доску в простенке магазина «Диетические продукты» и управления пожарной охраны — клеили да клеили, покуда не поднялось до бортиков рамы.

Сегодня снимали все сразу, переламывая, отгибая задубенелую стослойную бумагу, решив начисто открыть щит-основу. Не отстал от щита лишь самый первый рядок: листы над ним покоробились — видно, наносили их вскоре после дождя, по мокрому. Эти изначальные афиши были двух видов — цирковая и хоровая.

Торжественными мясными красками изображался на цирковой — могучий гигант в златотканых трусах. Его плечи — обременены сверкающей конструкцией лестничек и площадок, по которым разместились несколько гигантов поменьше, а на вширь разведенных руках — свободно упражнялись русые силовые гимнастки.

Пузырчато-синим с размазом исполнена была афиша республиканской хоровой капеллы. Костюмы на участниках обычные, сорочки же — не под галстук, но с аграмантовыми воротниками на бомбошках. Первый строй — с народными инструментами к локтю. А во втором строю, под самый обрез группового снимка, стоит певец, которого никакая ретушь не берет — хоть рисуй его индивидуально или удали вовсе: рожа свернута влево по оси. Если заранее не знать, что с ним такое, то представляется, будто в процессе

экспонирования — дернулся он несвоевременно, а заново щелкать всю капеллу из-за одного шустряка — не сочли обязательным.

Я глядел — и дед, размером с поварскую вилку, в парусиновом картузе отмененного государственного фасона, — глядел со мною вместе, как подготавливали в определенном порядке кинопрокатные, гастрольные, лекционные и об условиях переселения в приамурские совхозы — объявления. Меленько трепеща, дед совался мне под плечо, пытаясь уяснить, что именно я обнаружил, чего жду.

Г-образно закрепленный на палке квач омакнули в низкое ведро с крахмальным варом, хватили — веерно, вдоль, поперек, косым крестом — по рекордсмену-циркачу и Сашке-хористу и, одну за другой, распластали по ним новые афиши, постепенно распуская рулоны, пригнетая бумагу квачом, чтобы проклеить ее хорошенько, сплотить с доскою.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ФОРМАХ И МЕТОДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Переворот 13 декабря вводит правление беззакония, уничтожает просвещение, науку и культуру, зачеркивает надежды на улучшение экономического положения, что означает нужду и безработицу. Если общество не будет противостоять власти, ему грозит раскол и полное порабощение. Это было бы возвратом не только к доавгустовским временам, но к сталинской системе с ее попытками коллективизации деревни и уничтожения независимости Церкви.

Как можем мы защищаться от насилия и террора? Как бороться за наши человеческие и гражданские права? Как бороться за НСПС «Солидарность»?

Прежде всего, мы должны отстраивать профсоюзные структуры, организовываться для совместной деятельности. За эти несколько месяцев общество уже выработало формы сопротивления, ставшие к настоящему времени повсеместными. Окружены опекой репрессированные и их семьи. Встроен фундамент независимой системы информации и связи между возрождающимися профсоюзными структурами. Во всех кругах общества бойкотируют коллаборантов и усердствующих. Протест против правления ВРОН («Военного совета национального спасения») демонстрируется разнообразными способами.

Чтобы продолжение профсоюзной деятельности было чем-то большим, нежели только выражением нашего нравственного сопротивления, мы должны придать ему организационные формы, которые будут гарантировать, с одной стороны, устойчивое функционирование, с другой — возможность проведения массовых и эффективных акций. Окажем поддержку всем начинаниям, направленным к этой цели.

Прежде всего, однако, следует сосредоточиться на том, чтобы на каждом предприятии были организованы:

- комитеты общественной помощи, оказывающие материальную поддержку трудящимся и профсоюзным активистам, лишенным средств к существованию,
- дискуссионные клубы «Солидарности», составленные из представителей разных социальных слоев и вырабатывающие тактику деятельности профсоюза,
- типографии, позволяющие эффективно распространять информацию, а на крупных предприятиях — свои издания.

Осуществление этих задач — условие успеха акций, координируемых на региональном и общепольском уровне, в том числе — если бы она стала неизбежной — всеобщей забастовки.

ВРЕМЕННАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ НСПС
«СОЛИДАРНОСТЬ»:

Збигнев Буяк (Мазовия), Владислав Фрасьенюк (Нижняя Силезия),
Владислав Хардек (Малопольша), Богдан Лис (Гданьск)

22 апреля 1982

Россия и действительность

«ОЧЕНЬ МОГУЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ...»

Публикация Марка Поповского

Рукопись, которую я представляю сегодня на суд читателей «Континента», вывезена из СССР. Приведенный отрывок вовсе не предназначался для публикации. Автор — не диссидент, не борец, не публицист, он только ученый. Он записал то, что с ним произошло, с единственной целью — сохранить в памяти факты, которые, как ему кажется, когда-то пригодятся для осмысления прожитой жизни. Автор — крупный специалист, хорошо известный своими исследованиями коллегам в Старом и Новом свете. Нас привлекли в этом документе искренняя интонация и абсолютная достоверность ситуации, изложенной человеком, привыкшим всегда и во всем искать истину. Наша редакция свелась лишь к тому, чтобы скрыть имя автора и характер его научных занятий. Ведь ему еще много лет предстоит жить и работать в СССР, бок о бок с *очень могущественной организацией...*

Марк Поповский

...События, о которых я хочу написать, еще далеко не закончились.

Трудно сказать точно, с чего они начались, но первое серьезное «происшествие», которое, несомненно, не раз давало себя знать в дальнейшем и постоянно действует и до сих пор, был мой вызов в КГБ.

Это было весной 1970 г. Дела наши шли вполне успешно. Лаборатория стабилизировалась и ритмично работала. Никаких серьезных трудностей или внутренних разладов не было. Проблема, которой мы занимались, становилась все более популярной среди экспе-

риментаторов и практиков. Я много раз выезжал за границу, и каждая поездка укрепляла наши международные контакты и как-то продвигала дело вперед. В то время, о котором я пишу, заканчивалась передача в производство нашей готовой продукции. Речь шла о важных открытиях, полученных в науке впервые, полученных в результате серьезной работы и подававших надежды на дальнейшее развитие исследований в этой области.

Повторяю, обстановка в лаборатории в 1970 году была вполне рабочая, положение стабильное, перспективы самые лучшие.

В это время ко мне начал заходить наш «куратор» по линии КГБ, осуществляющий надзор за режимом в институте, лейтенант или капитан (в штатском) — молодой человек с очень не бросающейся в глаза внешностью, вежливый и уважительный.

Он представился мне вполне официально, показал свое удостоверение, объявил, что наша лаборатория посещается иностранцами и поэтому он должен быть в курсе этих посещений, проверять, все ли у нас проводится по инструкциям, знать, нет ли у нас в этом отношении каких-либо трудностей или нежелательных происшествий. При этом он был очень любезен и не скупился на комплименты. В таких посещениях ничего необычного не было — обычный контроль со стороны КГБ, не выходящий за пределы режима института. Я был с ним также вполне любезен в пределах административных обязанностей.

Как-то во второе или третье посещение он невзначай сказал, что его начальник, шеф районного КГБ, много хорошего обо мне слышал и хотел бы со мной познакомиться. Я сразу же насторожился, перешел на сугубо официальный тон, сказал, что в такой встрече не вижу никакой необходимости, что все, что касается соблюдения режима приема иностранцев и распоряжений куратора, мы исполняем, а в случае непредвиден-

ных событий я сам поставлю его в известность и что вообще я очень занят. Но куратор продолжал настаивать, говорил о помощи в работе, о большом весе своего начальника, полковника или генерала, о его расположении и интересе ко мне.

Тогда я довольно прямо сказал куратору, что я обязан сотрудничать с ним в пределах вопросов, предусмотренных соблюдением институтских инструкций, ни на что большее я не пойду и поэтому не хочу встречаться с его начальством. Куратор начал меня разубеждать, что я думаю совсем не в том направлении: как я мог подумать такое? Зачем нужно привлекать *таких* ученых, когда стоит им только кликнуть — и в институте они будут иметь сколько угодно «сотрудников», что со мной им просто интересно и важно обсудить вопросы международного сотрудничества, чтобы помочь этому, и далее в этом роде. Но раз я не хочу, то он не будет настаивать.

Надо сказать, что с КГБ у меня были связаны едва ли не самые тяжелые и гнусные впечатления еще с детских лет. Когда я начал учиться в седьмом классе, во время войны, меня (и, вероятно, не меня одного) повесткой вызвали в военкомат, что было тогда очень обычно. Но вызов был необычным — принимал человек в штатском, в отдельной комнате, никакой очереди у него не было. Я сразу же решил, что меня как отличника, общественника и допризывника призывают в военную школу, что в то время делалось тоже по мобилизации, в безусловном порядке, но выборочно. У меня же в то время проснулась такая жажда к учебе, такая сильная, хотя и неопределенная тяга к науке, что я готов был отслужить солдатом сколько придется, только бы не попасть в военную спецшколу и не стать офицером. Ведь тогда — конец гражданской жизни, конец научным интересам. Не дожидаясь вопросов, я стал просить штатского не брать меня в военную

школу, что-то объяснял ему, пока до него не дошло, чего я от него жду и чего хочу.

Он сказал, что подумает, как мне помочь, но что я тоже должен ему помочь. В школе бывают непатриотические настроения, был в одной школе случай самоубийства, при котором была оставлена записка враждебного содержания, бывают упаднические настроения, школьники должны выявлять и т. д.

Хотя я раньше никогда не слышал ни о стукачах, ни об «информаторах», я вскоре понял, чего от меня хотят, и начал нудить, что таких настроений не знаю, что ребята у нас все хорошие, что, конечно, если что-нибудь случится, я ему расскажу. Он взял с меня подписку о неразглашении и какое-то письменное обещание, и на мне повисло мерзкое чувство, что я теперь связан с постыдным делом, должен это скрывать, и думал только, как от этого избавиться.

Вскоре я ушел из той школы в другую и думал, что все на этом кончится. Но оно не кончилось. Когда я был в 10-м классе, меня вызвали непонятной повесткой по какой-то статье УПК с обязательной явкой, тоже не в военкомат, а по адресу, ничего мне не говорившему, к тов. Тряпкину (назовем его так). Это был маленький особняк в одном из московских переулков. В особняке было много молодых, полувоенных людей, отдельные комнаты, сейфы.

Тряпкин — тоже молодой, полувоенный, очень жесткий человек, сначала резко выговаривал мне, что я не приходил, что он вынужден был вызывать меня повесткой, что я уклоняюсь и что-то в этом роде. Затем стал спрашивать о школе, ребятах, учителях, кружках. Я отвечал все то же: ребята очень хорошие, все патриоты, учителя очень хорошие, кружок литературный очень хороший, ребята в кружке делают доклады на патриотические темы. Он заставил меня написать об этом. Затем продиктовал текст, который я сейчас плохо помню, но смысл которого был в том,

что я прекращаю сотрудничать с ними и обещаю не разглашать бывшие с ними встречи. Я сейчас не помню точно, было ли это на первом или на втором вызове к этому Тряпкину.

У меня как гора свалилась с плеч. Я решил, что они от меня отвязались.

Примерно через год или меньше в больнице, что была неподалеку от особняка КГБ, лежала моя мать. Я часто бывал в больнице и раз напротив больницы нос к носу столкнулся с этим Тряпкиным. Я как будто наступил на гадюку, сорвался, побежал и бежал несколько кварталов, боясь, чтобы этот тип меня не узнал и не вспомнил.

Свои контакты с КГБ я носил в себе как позорное проклятие, никогда ни с кем не говорил о них, стыдился их, хотя ничего плохого и не сделал. Я их боялся, как огня. Это было главным, почему я не вступил в комсомол, а потом в партию, хотя подвергался сильному давлению, и неоднократно. Я знал точно, что если я вступлю, то мне не удастся уже от них избавиться.

Много лет меня не трогали, и я уже думал, что на мне они действительно поставили крест. Но где-то в конце 50-х годов, когда я, будучи младшим научным, работал с академиком и работа шла очень хорошо, меня вызвал начальник спецотдела нашего института, провел меня в заднюю комнату своего отдела, где со мной остался штатский человек лет 45-50. Этого человека я не раз встречал в министерстве, которому подчинен наш институт, да он и сейчас, по-моему, там работает.

Этот дяденька сразу же напомнил мне о Тряпкине, а затем очень любезно стал расспрашивать о работе и жизни, напоирая вся время, что зарплата у меня небольшая для моей семьи, что жить нам, наверное, в общей квартире неудобно. Я отвечал, что зарплата у меня достаточная, квартира тоже хорошая и вообще

все хорошо. Тогда он стал хвалить моего академика, его талант, исключительно важные работы. Говорил, что они (КГБ) внимательно следят за ними, хотят академику помочь и нуждаются в правильной и совершенно объективной информации о нем. Они при этом рассчитывают на меня как на способного и преданного его сотрудника. Я от всего отказывался, делал вид, что намеков на зарплату и квартиру не понимаю, говорил, что никакой информации, кроме известной всем, у меня нет, что я не могу с ними сотрудничать, не могу хранить тайны, не способен жить двойной жизнью, что меня это тяготит и т. п.

Мой собеседник из министерства обижался, говорил, что я его неправильно понимаю, что я напрасно нервничаю и что он еще вернется к разговору со мной. Так эта встреча ничем не кончилась. Сразу после разговора в спецотделе я в сильном возбуждении помчался к академику, который был один у себя в кабинете уже после окончания рабочего дня. Я все рассказал ему, предупредив его, что я отказался, но наверняка они найдут кого-то для слежки за ним.

Академик отнесся к моему рассказу чрезвычайно спокойно. Он объяснил мне, что все это вещи обычные и что зря я так серьезно к этому отношусь. Сказал, что они могут вызвать меня даже на Лубянку, что станут грозить не выпускать за границу, пока я не дам согласия сотрудничать с ними. Но если твердо держаться, то в конце концов отстанут. И вообще, что к этому надо относиться спокойно. Я ответил, что никогда и ни за что с ними дела иметь не стану.

С тех пор меня не трогали, даже при поездках за границу. Прошло 13 или 14 лет, и вот куратор КГБ снова предложил мне встретиться с его шефом. Это предложение всколыхнуло все прежние страхи, и я резко дал ему понять, что сотрудничать с ними не буду. Куратор удалился, не появлялся довольно долго, может быть, месяца два, но в марте 1970 г. он, как

всегда очень любезный, зашел в лабораторию, осведомился, нет ли каких трудностей, как идут дела, и вновь заговорил о желании своего шефа встретиться со мной. Сразу же и резко я повторил ему то же, что сказал раньше. Куратор, однако, настаивал, ему приказано привезти меня для знакомства в любое удобное для меня время. Если я откажусь, это навлечет на куратора гнев начальства. Деваться было некуда, и я согласился. На следующий день утром куратор на черной «Волге» встретил меня у Киевского метро и доставил в здание старой полуразрушенной церкви, где, однако, оказался обширный и очень благоустроенный отсек с несколькими зарешеченными комнатами, хорошей мебелью. Штат этого учреждения составляли молодые мужчины с характерной внешностью — аккуратные, в меру модные, блондинистые, светлоглазые, среднего роста, вежливы — ничем не выделяющиеся, какой-то усредненный тип молодого инженера или министерского чиновника. Мы прошли в большую комнату, с большим письменным столом.

Куратор привел своего шефа, пожилого, весьма вежливого человека. Вспоминая его лицо и повадки, я не отличил бы его сейчас от многочисленных заместителей директоров по режиму, которых мне приходилось встречать в разных НИИ.

Шеф был очень любезен и начал с обильных и напыщенных комплиментов в мой адрес, благодарностей за приезд и извинений. Затем начал объяснять, как трудно им ориентироваться в международных контактах, как сложно отличать настоящих ученых, с которыми надо сотрудничать, от засылаемых агентов, что здесь без помощи самих ученых они разобраться не могут, а они должны способствовать контактам, облегчать въезд в страну настоящих ученых и т. д. Поэтому наши ученые должны понимать, какую важную работу делает КГБ, и помогать там, где компетенции КГБ не хватает. Он хотел со мной познако-

миться, поскольку я много ездил за рубеж и знаю многих людей в своей области науки.

Я отвечал, что все это понимаю, что лаборатория наша сотрудничает только с настоящими учеными, которых мы знаем много лет и по публикуемым работам, и лично, что все они расположены к нашей науке, много делают для ее популяризации на Западе, для установления контактов. Я назвал ряд всемирно известных имен, перечислил тех, кто многое сделал для установления самых дружеских контактов с нами.

Шеф был рад, что я понимаю важность их работы и уважаю ее. Он заявил, что мы легко нашли общий язык, и перешел к тому, что общение с иностранными учеными не так просто, что это представители вражеской страны, у них свои интересы, что всем им даются задания разведками, что мы (КГБ) должны это выявлять и без помощи самих ученых этого не сделать, что у нас есть своя сеть за границей, которая тоже должна контактировать с выезжающими учеными. И он рассчитывает на мою помощь не в качестве советчика, а в качестве серьезного сотрудника, принимающего настоящее участие в их международной деятельности. Он заговорил о специальных заданиях, которые мне готовят, о явках, паролях.

Я мягко отказывался, выражая полное уважение к их работе и ссылаясь на полную свою неспособность к ней. И здесь между нами началась дискуссия, долго вращавшаяся на одном месте. Я повторял одно и то же:

«Если у меня дружеские отношения к человеку, я не могу относиться к нему по-другому, я не могу раздваиваться. Моя работа требует полной сосредоточенности. Если я буду знать, что помимо научной цели у меня есть еще какое-то задание, то я лучше вовсе не поеду за границу. Я, наконец, ничего не умею скрывать и не выдержу необходимости тайных дел».

Шеф упрекал меня: «Вы же советский человек — и не хотите помочь нам против врага. Ведь это же наши враги. Ведь я же не предлагаю вам сотрудничать внутри страны, в институте, а только против наших врагов. Я не считаю ваши мотивы серьезными».

Время шло, а аргументы с обеих сторон повторялись и повторялись. Куратор сидел тут же и время от времени, вступая в разговор, также мягко уговаривал меня, удивляясь тому, что я так драматически отношусь к предложению его шефа. Все это время я думал только о том, хватит ли у меня терпения не сдвинуться со своих аргументов, дотянуть до конца и не сказать что-нибудь вроде — «я подумаю и скажу вам». Такой ответ привел бы к новой встрече, к новым разговорам.

Но вот шеф выдвинул новый аргумент: он показал мне на объемистую папку, в которой, как оказалось, лежало мое «выездное» дело с оформлением в очередную заграничную командировку.

«Вы талантливый ученый, — сказал шеф, — вам необходимы международные контакты, а без нашей визы ни одна командировка не состоится. Я подписал вам поездку, но я теперь не знаю, как и быть. Меня разочаровывает ваше отношение».

Я отвечал, что, конечно, контакты полезны, но они и трудны, что ваше дело подписывать командировку или нет, вам это видней. Если меня пошлют, я поеду, не пошлют — тоже хорошо — будет больше времени для работы. Я ничего не прошу, это их дело решать — ехать мне или не ехать.

«Вы быстро растете, у вас большие перспективы, вас наверняка выдвинут в Академию, а мы — *очень могущественная организация*» (эти последние слова шефа я цитирую дословно).

Я отвечал, что вряд ли меня выдвинут в Академию, что никаких особых талантов у меня нет, что я просто работаю и, конечно, знаю, какая их могущест-

венная организация, и что это *их дело* выдвигать или не выдвигать меня в Академию, я об этом не думаю.

«Ваша работа может быть выдвинута на высокую премию, а наше мнение очень важно, мы — *очень могущественная организация*».

Я опять отвечал, что не думаю, чтобы нас выдвигали на премию, что очень уважаю их организацию и что это их дело решать, а я никак влиять на их решение не хочу.

Эти аргументы и ответы вновь повторялись и повторялись.

Шеф начал терять терпение и решительно сказал: «Вот вам бумага и пишите. Я буду диктовать». Я почувствовал облегчение, дождавшись, наконец, долгожданной «расписки о неразглашении», и начал писать знакомую уже мне преамбулу. Но после формальной части «Дана мною...» он стал диктовать фразу о моем добровольном согласии сотрудничать с КГБ под псевдонимом... Я не стал этого писать, разорвал лист и бросил его в корзину. «Я не буду этого писать. Я же объяснил вам, что не могу сотрудничать с вами. У вас своя работа, а у меня своя». Это было где-то на исходе третьего часа нашей беседы. Шеф был крайне раздосадован. Он снова повторил, что я не советский человек, что они очень влиятельная организация, что они пересмотрят свое благожелательное ко мне отношение, что я должен еще подумать, прежде чем отказываться от работы с ними, тем более, что ничего несовместимого с моими взглядами они, казалось бы, и не требуют.

Часа через три нашей беседы куратор предложил провести меня в туалет. Там, стоя рядом, мы продолжили беседу. Я упрекнул куратора: «Зачем вы меня привезли сюда? Я ведь вам прямо говорил, что не надо этого делать». Куратор же, очень по-человечески недоумевая, отвечал: «Я не думал, что вы так к этому относитесь. Почему вы не хотите принять предложе-

ния шефа? Ведь с нами работают и к нам ходят многие академики, и никто так к этому не относится (на счет академиков я цитирую буквально). Я не хотел, чтобы так вышло. Ну, мне-то не очень плохо, ну, вышла осечка в работе, бывает. А вы подумайте, ведь вам очень важно быть в хороших отношениях с нами».

Потом, подумав, он спросил: «Наверное, вы когда-нибудь раньше имели дело с кем-нибудь из наших и, наверное, с какой-нибудь сволочью?» Он невольно подсказал мне очень убедительный довод и отчасти правдивый, и я тут же согласился: «Да, было как-то давно». Он сказал, что раньше в КГБ было много сволочей (или что-то в этом роде — грубиянов?) и что это теперь им очень мешает.

После вынужденного перерыва повторялись все те же аргументы: советский ли человек, загранпоездки, Академия, премия — их (КГБ) роль во всем этом.

Наконец, шеф сказал, что он очень разочарован, я написал долгожданную «расписку», он выразил надежду, что я еще продумаю свою позицию, куратор извинился, что машина уже ушла, но я заверил его, что прекрасно доберусь своим ходом.

Наконец-то я был на улице, я был один и думал только о том, как хорошо, что все это кончилось и я не оставил им никаких надежд на возобновление переговоров. Все остальное казалось мне совершенно несущественным.

Забегая вперед, скажу: все свои угрозы шеф выполнил и даже кое-что добавил сверх того. Но об этом речь дальше.

А сейчас, вспоминая все это с самого начала, я думаю, почему *отвращение и ужас* возникли сразу же, еще при первой встрече с «могущественной организацией». Ведь я был тогда более советским человеком, чем сами эти КГБ-исты. Когда мне было лет 14, у меня неизвестно откуда возникла тяга к философии, о которой я тогда совсем ничего не знал. У своего одно-

классника, который для растопки печки пользовался книгами из шкафа эвакуированных соседей, я выменял книги Чехова на «Введение в философию» Челпанова и «Краткий философский словарь». Я зачитывался тогда Марксом и Энгельсом, которые были в шкафу учреждения, где работала моя мать. Я часто дежурил с ней по ночам в этом учреждении, а потом начальник подарил мне несколько томов Маркса и Энгельса. Я зачитывался ими, ко всем вопросам подходил только с классовых позиций, объяснял Онегина и Печорина только с экономических позиций, политику презирал, т. к. смотрел в самую классовую суть того, что творилось тогда в мире. Так что с этой стороны никаких разногласий у меня с властями не было.

Во времена довоенные и военные чекисты были в ореоле особой романтической славы и почета. Мы все тогда зачитывались книгами Макаренко. Конечно, мы знали о 37-м годе, все это было нашим бытом, родители многих моих товарищей сидели в тюрьмах, и мы знали, что они были честными людьми, но трагедии, разыгрывавшиеся рядом с нами, как-то не отражались на нашей преданности и энтузиазме. Каждый из нас знал: все, что имеет хоть какое-то отдаленное отношение к меньшевикам, эсерам или какой-нибудь бывшей «оппозиции», есть преступление, так же как и прошлое пребывание за границей или нечаянно сохранный книга «троцкиста» или «бухаринца». Мы знали, что за «разговор» или анекдот дают 10 лет лагерей, что малейшее подозрение в чем-нибудь или наличие арестованных родственников достаточно для того, чтобы человека арестовали, сослали, что всякий срыв в работе оценивается как вредительство. И все это было нормой жизни, обычной атмосферой, в которой мы выросли, жили. И мы не видели во всем этом ничего необычного.

Термина «донос» тогда, по-моему, не было в обиходе. И книги, и кино учили нас обращаться к чеки-

стам как в самую высшую и справедливую инстанцию. Павлик Морозов был таким же неоспоримым героем, как Зоя Космодемьянская или как сейчас Юрий Гагарин. Нам не приходило даже в голову разбирать, в чем же состоял героизм Павлика Морозова и к чему поступок этот призывает.

Не было у нас никаких других желаний, как только стать нужным стране человеком. Так откуда же — *ужас и отвращение* и позор при первой же встрече со славным чекистом? Ведь даже сейчас мы считаем героями и Зорге, и Абеля и не видим ничего позорного в их работе.

Теперь, когда я далеко уже не школьник, я думаю, что ремесло шпиона или «информатора» (т. е. шпиона среди своих) — это грязная, противоестественная работа. Шпион, или более романтично — контрразведчик, в основе своей деятельности имеет *обман доверия*. Чем в большее доверие войдет шпион, тем больше он обернет его против доверяющих ему людей. И не случайно работа шпиона нередко связана и с любовными отношениями. Шпион всегда *по-человечески* предатель, и делать предательство своей профессией противно человеческой натуре и особенно с детства, и особенно в узком масштабе, когда он сразу же становится по отношению к своим друзьям потенциальным предателем, когда он не может быть с ними в простых и открытых отношениях и знает, что кто-то уже запустил его как шпиона к своим друзьям. Все противится в человеке (особенно ребенке) этой роли, этому гнусному раздвоению, которое разрушает в человеке цельность натуры, подавляет страхом, ибо поделиться с кем-нибудь своим положением нельзя — «могущественная организация» известна всем с детства.

Ужас и отвращение — это, пожалуй, и есть самая естественная реакция на соприкосновение с «органами». Может быть, чувства эти перейдут в *презре-*

ние и ненависть? КГБ стоит того, и, может быть, самое гнусное их дело — вовлечение детей в свою доносную деятельность, что не лучше любой другой формы растления детей. Масштабы такого вовлечения, несомненно, очень велики.

Особый «аппетит» имеют «органы» на людей авторитетных и, как они говорят, перспективных. С каждым, с кем мне приходилось говорить на эту тему — человеком моего или более высокого положения, — они («органы») имели дело, причем и форма предложения — лесть, обещание помогать, и угрозы почти не отличаются от тех, что я слышал собственными ушами. Знакомые мне ученые так же, как и я, во время этих бесед вились ужом, в конце концов ускользали, и так же, как и я, они получали потом множество неприятностей, которые тормозили, а то и срывали их научную работу. Особую роль в подобных обработках имеет фетишизация формул «советский человек», «государственные интересы», «вражеские разведки», от которых никто не может уклониться. Как будто быть просто честным человеком в своих отношениях с людьми — это государственная измена.

Зачем они вовлекают, и очень стремятся к этому, людей, авторитетных в своих областях? Конечно, не для «информаторства». В мелких доносителях у них недостатка нет и не будет.

Ученый, активно работающий, нужен им, во-первых, для надежного контроля над поведением этого человека. Во-вторых, для полного, изнутри, *внутреннего* подчинения себе, для разрушения его как индивидуальной личности, лишения его собственного достоинства. Они знают: без достоинства нет индивидуальности, с ее нестандартным, неконтролируемым, а потому нежелательным поведением.

Они знают также, что если человек, уважаемый и авторитетный, имеет расписку о «добровольном сотрудничестве», псевдоним, периодическую отчетность

на явочных квартирах, да еще и оплату в прямой или в непрямой форме — он перестает быть самим собой, у него отнято право на личные отношения, на дружбу, на доверие к нему людей, на тайну этих сугубо личных отношений, на неприкосновенность своего внутреннего мира, на свободу своих мнений и своего поведения. Право же на свой внутренний мир, личные отношения, собственные взгляды, поступки (в пределах закона) и их неприкосновенность — *неотъемлемое* право человека, основа его личности и достоинства. Если оно «добровольно» отнято, то личность уродуется, разрушается, полностью контролируется «могущественной организацией», становится подотчетной ей во всем, что в принципе является неподотчетным и даже формально в общепризнанных декларациях провозглашается неприкосновенным.

Такого человека (и только такого) можно свободно допускать к ключевым в обществе позициям и спокойно выпускать за границу для деловых контактов.

Я думаю, что отделы КГБ, занятые «работой с населением», имеют своей задачей именно создание широкой сети людей, вовлеченных в *«мнимое сотрудничество»*, ради установления широкой и надежной системы контроля над ними. Попутно они выявляют *«неблагонадежных»*. Но собственно разведывательная деятельность к этой сети никакого отношения не имеет. А когда для нее требуются специалисты других областей, то для этого имеются штатные сотрудники, такие, как академики в области сельского хозяйства Панников, Д. Брежнев, академики-медики Соловьев и Бароян и академики «просто», коим нет числа. Из числа таких штатных выдвигаются администраторы в международные организации. Так, на должности Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сейчас находится член-корреспондент АМН проф. З. А. Павлов, бывший директор Герценовского института онкологии, пришедший из

4-го полузакрытого управления Минздрава. Сельскохозяйственный деятель член-корреспондент АН СССР Д. В. Тер-Аванесян работал долгое время в системе ЮНЕСКО. Можно было бы назвать десятки таких «ученых».

Если же у кого-то из исследователей хватает твердости или изворотливости уйти от сотрудничества; то он демонстрирует тем самым свою нелояльность, становится «не нашим», его продвижение затормаживается, он лишается перспективы, его терпят до поры до времени и стараются без шума и скандала постепенно затереть.

* * *

События, тем временем, шли своим чередом. Я съездил в свою последнюю заграничную командировку. Наши работы были на самом переднем крае. Интерес и уважение к нам были вполне искренними. Нашу работу выдвинули на Государственную премию, а меня выдвинули в члены-корреспонденты Академии.

Конечно, все это мне было очень приятно, и особенно тем, что ни того, ни другого я не добивался, никого ни о чем не просил, ничего не организовывал.

Со своим основным конкурентом по выборам в Академию мы сразу же договорились, что выборы не отразятся на наших отношениях, и условились, что в случае его перевеса на первом круге голосования я сниму свою кандидатуру, а в случае моего — он. Моя кандидатура, как рассказал мне один академик, прошла без каких-либо возражений при предварительном обсуждении в соответствующей Комиссии Академии, что бывает очень редко.

Накануне выборов мне позвонила секретарь директора нашего института и просила срочно прийти и ждать директора, что он выехал в институт из ЦК или

министерства и велел разыскать меня во что бы то ни стало. Я зашел к зам. директора узнать, что произошло. Он был как-то смущен, сказал, что сам ничего не понимает, но что произошло что-то важное и директор срочно едет сюда, хотя рабочий день уже кончался. Я понял, что с выборами дело сорвалось. Директор приехал очень возбужденный, долго курил, как бы волнуясь перед разговором, а потом сказал, что он сделал все, что мог, но что-то произошло, чего он сам не понимает, и мне не надо участвовать в выборах (или что-то в этом роде). Я сказал, что очень благодарен ему за все, что он для меня сделал, и что, если нужно, я сам сниму свою кандидатуру. Он заметно обрадовался, сказал, что именно это и *нужно*, что все равно ничего не выйдет, и тут же продиктовал мне довольно нелепое заявление, что я «решил снять свою кандидатуру как не соответствующую данной специальности». Директор спрятал мое заявление в боковой карман с облегчением. Я просил его не расстраиваться и сказал, что сам я к этому отношусь очень спокойно, и спросил его только, в высокой ли инстанции было принято это решение. Он сказал, что в самой высокой, несмотря на то, что он, по его словам, заранее во всех инстанциях согласовал мое выдвижение. Он, видимо, действительно не понимал, в чем дело, и на него был оказан резкий нажим сверху. В разговоре директор как-то вскользь упомянул, что он пообещал взять у меня отказ, и он знал, что я не стану настаивать.

Затем он начал спрашивать меня, не сделал ли я чего-нибудь неосторожного за границей, что, возможно, за мной что-то есть, чего он не знает, а он должен знать, чтобы устранить, что я должен вспомнить свои оплошности за границей и все ему рассказать начистоту.

Я, конечно, помнил свой визит к шефу, его обещания на случай выборов в Академию и рассказал об

этом директору. Выслушав, он совсем успокоился, произнес на прощанье несколько комплиментов, на чем мы и расстались.

Я очень спокойно и даже с некоторым удовлетворением отнесся к этой истории. Я был уверен, что это — дело рук *«могущественной организации»*, и не желал получать поддержки от нее. Такой ценой я вполне готов был платить за сохранение самого элементарного человеческого достоинства, за то, чтобы они ко мне больше не лезли. Я был доволен, что в этой истории нигде не сорвался с простых человеческих позиций.

Я продолжал работать — летом, как всегда, было спокойней. Вскоре я должен был ехать на международную конференцию, где предстояло рабочее совещание по проблеме... Меня пригласили сделать вводный доклад. Конференция была для нас очень важной. Она должна была наметить дальнейшие совместные исследования и обсудить текущие работы. У нас уже заказаны были билеты. Но окончательный ответ министерства все время откладывался то на полдня, то еще на полдня, и наконец в пятницу в конце дня было сказано, что окончательного ответа еще нет, но, скорее всего, поездка не состоится.

Я не верил, что они могут дойти до такой нелепости: вредной и совершенно бессмысленной, идущей во вред не только нашей работе, но и интересам государственного престижа. Этот отказ задел и вывел меня из равновесия гораздо больше, чем предыдущая история. Это было второе «известие» от шефа — тупое и бессмысленное, лишний раз подтверждающее, что никакие государственные интересы их не трогают, а руководит ими лишь злобная месть и собственные кухонные интересы.

Поездка не состоялась. Я взял отпуск и целиком занялся семейными делами. Собственные неприятно-

сти по-прежнему казались мне, в общем-то, не очень принципиальными.

Осенью, однако, шеф еще раз подал о себе знать. На этот раз в связи с нашей Государственной премией. Я узнал, что Комитет по премиям принял по поводу нашей работы отрицательное решение. Я не слишком удивился этому. Ведь шеф обещал мешать нам во всем. А какими средствами КГБ осуществило свое вмешательство, меня не интересовало. Конечно, было немного обидно, потому что работа получилась действительно хорошая, вполне проходящая на премию, но обида с лихвой компенсировалась большим резонансом, который работа вызвала у нас и за границей. В те же дни я приехал к моему соавтору по работе и премии, с которым всегда был в очень хороших отношениях. Разговор у нас шел о событиях, не имеющих отношения к премии. Но во время разговора в кабинет зашел директор их института, академик. Мы с академиком остались одни, и он стал рассказывать мне, как отклонили, а точнее, «зарезали» нашу работу.

Мой собеседник-академик был председателем секции, где шло обсуждение нашей работы, но он был во время разбора за границей. Открытые отзывы на работу были хорошие, но потребовались еще и отзывы закрытые, т. е. данные не публично, а тайно. На такой «закрытый» отзыв нашу работу дали двум академикам, занимающим очень высокие официальные должностные посты. Суть их отзыва сводилась к тому, что само открытое нами явление — давно известно и даже уже отмечено однажды высокой наградой. Все это полностью не соответствовало истине, было просто смешным и, несомненно, исходило откуда-то сверху как задание, скорее всего от министра. Мой собеседник-академик беседовал даже с одним из двух своих коллег, давших отрицательный отзыв на наши работы, и тот признался, что отзыв этот он вынужден был написать не по своей воле.

Дело с премией так и кончилось.

Теперь я знаю: тот, кто попадает в поле зрения «органов», уже никогда не может выбраться из этого злополучного поля. Что бы я ни делал и как бы ни пытался вырваться из их сетей, я обречен.

Рукопись не окончена. Но не пришла еще пора рассказывать о всей той травле, которой подвергается автор мемуаров, его сотрудники и ученики. Нравственная твердость, неуправляемость ученого уже сегодня подрывают для него и его коллег возможность нормальной исследовательской работы. Сейчас, однако, становится ясно, что «очень могущественная организация» поставила своей целью добить смельчака. Если это удастся, то в ближайшее время мы станем свидетелями разорения лаборатории, которая по научным идеям в своей области относится к самым блестящим в мире.

М. П.

Восточноевропейский диалог

Сергей С о л д а т о в

ЭСТОНСКИЙ УЗЕЛ

*Размышления о национальной судьбе
и межнациональных отношениях*

ВТОРЖЕНИЕ

Душное лето 1940 года. Восточная Эстония, волость Вайвара, Нарвское шоссе. По шоссе, в густом облаке пыли и синеватой гари, движется грохочущая, серо-зеленая лавина — бесконечные колонны танков, орудий, бронемашин, спецмашин и грузовиков, до отказа набитых мотопехотой. Бойцы бездумно и лихо горланят «Катюшу». Какая-то часть делает привал. Группа солдат и офицеров в краснорезных фуражках и пилотках окружает русского белоголового мальчика. Град вопросов: «А кем ты станешь, когда вырастешь большим? А хочешь ли поехать с нами в СССР?» Захватывая страну, готовясь к репрессиям, сталинские командиры, по указанию хозяина, носили маску приветливости с населением.

Не помню уже, что я им тогда отвечал. Но через четверть века судьба даст собственный ответ: повзрослев, я стану убежденным противником советского империализма, воплощаемого в этих разговорчивых офицерах, и затем поеду в СССР, в один из его концлагерей на Мордовской земле, — на многие годы. Ну а пока, надсадно ревя моторами и отравляя девственный, приморский воздух выхлопными газами, бронированные полчища Сталина спешно, без боя, занима-

ют жизненные центры маленькой, мирной, процветающей страны...

Я глубоко уважаю память выдающегося эстонского национального лидера Президента Эстонской Республики Константина Пятса и потрясен его трагической, многострадальной судьбой. С июля 1941 г. он уже никогда, до самой смерти не покинет стен советских тюрем и специальных медицинских заведений. И в начале хрущевской «оттепели», глубоким стариком, одиноко умрет в одной из психобольниц гор. Калинина, несломленным и непримиримым. Тогда, в злосчастном 1940 г., отдавая войскам приказ не сопротивляться и соглашаясь на разоружение вооруженного союза «Кайтселийта» (около 30 тыс. членов!), он, конечно же, руководствовался любовью к своему народу, стремясь избежать кровопролитного столкновения с огромной страной и оградить нацию от невосполнимых потерь. Все это можно понять. И все же... Возможное, но не принятое решение вождей демократического государства начать оборонительную войну против захватчиков и за национальную свободу, имея за собой народ и вооруженные силы, могло бы принести если не военно-оперативный, то морально-политический успех.

А пока что, при поддержке вооруженных до зубов чужеземных войск, разыгрывался фарс установления «власти трудящихся», а затем была инсценирована комедия «воссоединения в семью народов СССР». По ночам, правда, начинают исчезать вместе с семьями политические деятели страны, «виновные» лишь в том, что служили своей стране. Народ пока угрюмо молчал, но некоторые карьеристы спешили преуспеть в новых условиях...

ИСТРЕБЛЕНИЕ

Вслед за частями Красной Армии пришли, как водится, подразделения НКВД. Любопытно, что,

прежде чем начать массовые расстрелы, как в стенах замка Курессааре, и кровавые пытки, как в обширных подвалах кондитерской фабрики «Кавэ», чекисты... дали населению гор. Таллина концерт народной песни и пляски. Подлинная магическая пляска ведьм для усыпления своих будущих жертв!

И вот настала зловещая ночь на 14 июня 1941 года, когда около 12 тыс. эстонских граждан, поднятые со своих постелей, сначала вместе, а потом отделенные от женщин, стариков и детей, умирая от жажды и невыносимого обращения, в вагонах для перевозки скота начали свой скорбный путь в Сибирь, на Север и другие районы СССР. И почти для всех этот путь окажется последним. Они уже никогда не увидят своей родины. Массовые аресты и расстрелы продолжались и дальше. С начала войны будет насильно мобилизовано более 30 тыс. юношей, цвет которых погибнет под Великими Луками в 1942/43 гг.

Всего было угнано на Восток около 60 тыс. человек. Отступая, советские войска уничтожали за собой заводы, сооружения, электростанции, железные дороги, увели весь торговый флот и автомашинный парк, вывезли все запасы сырья и продовольствия, угнали скот, незаконно присвоили львиную долю национального достояния когда-то процветающей страны. Особенно поражает, что уничтожали народные дома, волостные управления, маслобойни, холодильники, построенные на деньги, собранные эстонским крестьянином. И что самое страшное, сжигали жилые дома и церкви...

На высоком холме в Вайвара, куда сходились старое и новое шоссе, стояла прекрасная, белоснежная православная церковь. Над ней высилась башня с зеленым куполом, с узорчатыми позолоченными крестами. В августе 1941 г. серпасто-молоткастые соплеменники зацепили эти кресты тросом и при помощи трактора сорвали башню вместе с крестами, цер-

ковь разграбили и подожгли, иконы же и другие изображения были найдены на опушке леса в порубленном и изгаженном виде. «Видите, они уничтожают собственную душу», — говорило потом население. Впрочем, та же участь постигла и лютеранскую церковь. А как забыть того лесника, заподозренного в снабжении «лесных братьев» продовольствием? Во дворе собственного дома и на глазах у собственной семьи он был замучен до смерти. На его теле нашли десятки штыковых ран... Но и захватчику не всегда быть безнаказанным. И не все награбленное идет впрок. Части отступающей Красной Армии и истребительные батальоны несут большие потери под ударами «лесных братьев». Более четверти угоняемых кораблей эстонского флота потонет в Финском заливе в августе 1941 г. Захваченный в Эстонии четырехлетний запас зерна и продовольствия будет экспортирован в Германию, будет взорван на военных складах, сгорит в Ленинграде на Бадаевских складах...

Аресты, депортации и расстрелы продолжались еще целое десятилетие после войны. В одном только 1949 г., в ходе т. н. «коллективизации», было угнано в Сибирь и на Север почти сто тысяч человек. Всего эстонский народ за 15-летие 1940—1955 потерял убитыми, расстрелянными, погибшими, депортированными и вынужденными эмигрировать почти *треть* своего состава.

ПОРАБОЩЕНИЕ

Эстонскому народу свойственны *свободолюбие, самоорганизованность и самодеятельность*. Эти качества являются источником определенных стремлений и надежно обеспечивают создание независимого государства, самобытной культуры и процветающего хозяйства. Но это лишь в том случае, если естественному национальному развитию не меша-

ет пришедшая чужеземная сила. Сейчас нации навязаны процессы, опасные для самого ее существования:

1. *Тоталитаризация*. С большевистским вторжением, нации была насильно навязана коммунистическая идеология, не принимаемая подавляющим большинством нации с ее развитым чувством индивидуальности, тоталитарный режим, чуждый общественной традиции и душевным склонностям, и культурная жизнь, враждебная национальному духу и историческому наследию. Все это вызывает упорное сопротивление со стороны наиболее активной и решительной части нации и населения Эстонии.

Практически 12 лет после войны, в основном, в условиях сталинского террора, продолжалась самоотверженная, неравная *вооруженная борьба* эстонских партизан. Зарубежная эстонская эмиграция энергично поддерживала требования независимости и свободы для своего народа в условиях свободного мира. С 1966 г. в Эстонии начинается период невооруженной, *политической борьбы* против иноземного господства, за восстановление свободного и независимого государства. Возникли политические союзы: «Демократическое движение Эстонии», тесно связанное с «Демократическим Движением Советского Союза», и «Эстонский Национальный Фронт», были разработаны их политические программы, обращения в ООН и др. документы, издавались журналы «Ээсти демокраат» («Демократ Эстонии»), «Ээсти рахвуслик хаял» («Голос эстонской нации»); активисты союзов содействовали изданию «Демократа» и «Луча свободы» на русском языке.

В 1974-75 гг. было арестовано 5 активистов ДДЭ («Демокр. Движ. Эстонии»), ДДСС («Дем. Движ. Сов. Союза») и ЭНФ («Эст. Национ. Фронт»), в том числе и я. Десятки людей были репрессированы внесудебно. Но борьба продолжалась. Уже в августе 1979 г. 45 представителей Балтийских стран обратились в ООН и

к Западу, в защиту своего права на независимость. В 1980 г. были арестованы эстонские борцы М. Никлус, Ю. Кукк, погибший в 1981 г. в Вологодской тюрьме, В. Нийтсоо, Т. Мадиссон, В. Калеп и многие другие. С июня 1981 г. в Эстонии распространялись листовки с призывом провести 1 декабря и в первый рабочий день каждого последующего месяца «Полчаса молчания» с остановкой всякого движения и работы — в поддержку следующих требований: а) вывод советских войск из Афганистана, б) невмешательство в дела Польши, в) прекращение вывоза продовольствия из страны, г) прекращение тайных видов снабжения, д) освобождение политзаключенных, е) сокращение воинской службы на полгода, ж) введение в действие основных принципов Декларации прав человека и Хельсинского договора... Советской милиции и КГБ удалось на первый раз заблокировать бойкот, и широкого участия населения пока добиться не удалось. Но цыплят по осени считают...

2. *Колонизация.* В великодержавных целях советское руководство наращивает организованный и стимулирует стихийный поток переселенцев из России в Эстонию. Вместо 60 тыс. русских на 1940 г. там ныне, за счет переселения, проживает их 410 тысяч. Всего незэстонского гражданского населения на 1980 г. — 517 тыс., т. е. около 35% населения. Вместе с многочисленными военными контингентами и с их обслуживающим персоналом общая численность инородного населения далеко переваливает за 50%.

Нормальный состав инационального населения не должен превышать 15-16% от общего населения. Что бы сказали французы или немцы, если бы на их землю переселилось по 18-20 млн. китайцев или индонезийцев, а с их военными частями — по 28-30 миллионов? Число «гастарбейтеров» и беженцев в ФРГ не превышает 5-6 млн. (т. е. ок. 10%), а в Англии установлены жесткие квоты на иммиграцию из стран Со-

дружества и слышен голос общественного протеста. Непатриотично русскому человеку в поисках сладкой жизни и длинного рубля заселять национальные территории, в то время как исконно русские области (Псковская, Костромская, Орловская, Кировская и др.) пустеют. Будущее демографическое решение в Эстонии может быть только одно: благожелательная репатриация колониалистского населения, со снижением % инородного населения до нормального (15%).

3. *Русификация.* Неприятно, когда пытаются насильно германизировать, гебраизировать или русифицировать какой-либо народ, хотя я являюсь сторонником плодотворного взаимодействия народов. Но оно должно происходить в условиях свободы и добровольности. Одна из наиболее возмутительных форм русификации в Эстонии — подавление национального языка и административное навязывание русского языка. Я восхищен русским языком, но зачем же осквернять этот достойный язык, превращая его в дубинку против коренного национального языка — основного духовного наследия нации, плода многовекового творчества? Ничего, кроме неприязни к русскому языку, этим добиться нельзя.

Эстонцы любовно называют свой язык «эмакеель», что в переводе означает «материнский язык». На этом языке создан монументальный и красочный народный эпос «Калевипоэг». Уступая «Илиаде» и «Одиссее», он в то же время столь же ценен, как финский эпос «Калевала», сказание о Нибелунгах или былины об Илье Муромце. И недаром очередная попытка Министерства просвещения ЭССР (1980) по указанию из Москвы сократить уроки эстонского языка и резко увеличить часы русского стали поводом к массовым молодежным демонстрациям в Таллине и Тарту в начале октября 1980 г. Для разгона 5-тысячной демонстрации в Таллине пришлось вызывать, кроме милиции, регулярные армейские части.

Что молодежное движение тесно связано с ведущими слоями эстонского общества и с их настроениями, показало открытое письмо 40 деятелей эстонской культуры от 24. 10. 80, посвященное этим событиям и выразившее солидарность с демонстрантами... В Эстонии возможно единственное политическое решение — независимость эстонскому государству и свобода ее народу.

ПРИСВОЕНИЕ

Эстонский народ имеет небольшую территорию (45 тыс. кв. км.) и обладает ограниченными природными ресурсами. В великодержавных интересах и вследствие хищнического ведения хозяйства национальные ресурсы быстро истощаются, без малейшей заботы о будущих поколениях эстонского народа. Близки к исчезновению запасы сланца и торфа, все меньше становится морской рыбы, загрязняется воздух, отравляются реки и водоемы. Большой ущерб нанесен лесам, и лишь благодаря рациональному хозяйствованию эстонского земледельца еще плодоносит почва. Основная часть промышленной и мясо-молочной продукции, картофеля и зерна вывозится в Россию, производимая электроэнергия (Нарвская ГЭС и Балтийская ТЭЦ) идет на снабжение Северо-Запада России, в то время как население начинает испытывать постоянные перебои в подаче электроэнергии.

Искусственно поднятая зарплата, широкая распродажа автомобилей и возможность строительства домов до определенного времени стимулировали труд крестьян. Но в обстановке всеобщего экономического кризиса и неуклонного падения покупательной способности рубля производительность сельского хозяйства резко упала. И к концу 1978 года впервые за много лет, начиная с хрущевских времен, были полностью сорваны госпоставки по мясу, молоку и маслу, в результате чего первый секретарь компартии Эстонии

Кэбин был снят и заменен Вайно. И по сей день население Эстонии, имеющее ранее сравнительно высокий уровень жизни, испытывает серьезный дефицит продовольственных и промышленных товаров.

За последние 3-4 года произошло резкое снижение жизненного уровня. В стране высокоразвитого мясо-молочного производства имеется в продаже лишь один низкачественный сорт колбасы, продажа масла в одни руки снижена до 200 г, нет сухофруктов, фруктов, свинины, копченых изделий, рыбы и многого другого. Постоянно пропадают из продажи простейшие товары широкого потребления: нитки, мыло, полотенца, хлопчатобумажные ткани, постельное белье, шерстяные нитки и изделия и т. п.

Нация, способная обеспечить свое процветание, не должна быть принудительно нивелирована под общий низкий уровень Советского Союза. Процветание России должно достигаться ее собственными силами, а не за счет ограбления национальных окраин. Для этого у России есть и богатые природные ресурсы, и многомиллионное, трудоспособное население. А устранить порочную экономическую систему — это дело социально-политической энергии самого русского народа. Будущее экономическое решение для независимой Эстонии — безвозмездный переход всего оборудования и всех сооружений, созданных в период советского господства, в собственность Эстонского государства. Это будет лишь частичным возмещением уничтоженного и расхищенного за полвека эстонского национального достояния.

СОПОСТАВЛЕНИЕ

Зная, что с Эстонией *стало после* июня 1940 г., уместно выяснить, что *было до*.

Политически Эстония была классической свободной, демократической республикой, обеспечивающей всем своим гражданам и подданным всю полноту

прав человека, в том числе широкую возможность общения со странами всего мира. Лишь с 1934 г., в связи с подъемом экстремистских сил и под влиянием ситуации в Германии, президентская власть была усилена, ее полномочия расширены и некоторые гражданские права ограничены.

Экономически она была процветающей страной — не только на уровне Швеции, Дании и Финляндии 30-х годов, но в каких-то деталях даже превосходя их. Основу благосостояния страны создавал эстонский крестьянин своим редкостным трудолюбием, бережливым и разумным хозяйствованием на неласковой и неплодородной земле. Важен был и добросовестный труд эстонского рабочего. Страна обладала значительным торговым и рыболовным флотом. Экспорт масла и бекона в европейские страны, доход от промышленных концессий, туризма и международных здравниц обеспечивал стране приток твердой валюты. Несмотря на известные затруднения в период мирового кризиса 1929-33 гг., она была страной высокого благосостояния. И была бы ею сейчас...

Культурная жизнь. Издавались десятки газет и журналов, книги выходили большими тиражами. Все интересное и значительное в мировой литературе, философии и науке было переведено на эстонский язык. В стране проводились певческие праздники и художественные выставки, действовали театры и музеи, строились народные дома и школы. В каждой местности были певческие хоры, театральные коллективы, кружки народного танца, оркестры народных инструментов. Работал Тартуский университет — всемирно известный образовательный центр. Развивалась наука, особенно ее гуманитарные области. Высокого развития достиг спорт во всех его видах.

Национальные отношения. В Эстонии проживало около 60-ти тысяч русских, часть которых пренебрежительно относилась к независимому национальному

государству. Вместе со шведами, немцами и евреями неэстонское население составляло около 100 тыс. человек. Все они пользовались всей полнотой гражданских прав и широкой культурной автономией. Ограничивалось лишь принятие на службу в государственные учреждения — требовался язык, гражданство и необходимый образовательный ценз.

Как жило русское национальное меньшинство? Полноценная жизнь была у Русской Православной Церкви, существовало русское представительство при парламенте Эстонии, русские могли свободно выезжать в любую страну, функционировали русские учебные заведения вплоть до гимназий, издавались русские газеты, журналы и книги, действовали русские общества и организации, проводились певческие праздники и слеты, работал русский театр и проводились концерты русских народных инструментов... Пользовались ли русские в советской России такими же возможностями для развития своей национальной культуры, как в стране, которую они иногда иронически называли «картофельной республикой»?

Советское вторжение превратило вольный народ в угнетенный; независимое государство — в несвободное; процветающее хозяйство — в необеспеченное; развивающуюся культуру — в подавляемую; полноправные нации — в бесправные. Национальное же Эстонское государство обеспечивало своему населению человеческий и полноценный образ жизни. Вот почему я сторонник восстановления Эстонской Республики! Вот почему боролся и борюсь во имя этого, хотя мне очень близки судьбы других стран и народов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В этом веке большевизм и принуждаемые или увлеченные им силы сделали очень многое, чтобы утвердить в мире принципы РАЗДЕЛЕННОСТИ, НЕСВОБОДЫ и ВРАЖДЫ. Поэтому всем свободолю-

бывым и жизнеутверждающим силам необходимо многое сделать и энергично бороться за утверждение в мире принципов ЕДИНСТВА, СВОБОДЫ и ЛЮБВИ. В пределах этого великого дела необходимо содействовать *самоопределению* собственной судьбы и *самоочищению* от наследия большевизма всех народов, нуждающихся в этом и желающих этого.

Религиозные заветы, нравственные принципы и правовые нормы повелевают нам прежде всего озаботиться судьбой малых народов. Это является своеобразным *моральным контролем* и *политическим экзаменом* для больших и средних наций. Ибо в зависимости от того, как сильная личность относится к слабой, большая нация — к малой, определяется ее нравственное достоинство или моральное несовершенство, ее благо или ее грех. И от решения вопроса малых наций будет в существенной части зависеть историческая судьба больших народов, какой бы кажущейся недостижимой мощью ни обладали они в данное время.

Эстония является *самой малой* страной среди союзных республик СССР. Именно поэтому она требует наибольших забот и наибольших усилий по спасению ее народа, по освобождению ее страны. И здесь все зависит от дееспособности различных сил, расположенных в мире. Эти мировые и национальные силы могли бы успешнее исполнить свой моральный и политический долг, если в отношении Эстонии:

на Востоке

— признают несправедливость захвата страны, неестественность, бесчеловечность и обратимость навязанных ей социальных процессов, безусловность ее права на самоопределение и саморазвитие;

— будут содействовать ее независимости, выводу войск с ее территории, репатриации колониалистской группы населения, передаче всех советских экономических ценностей в республике в ее собственность;

в политэмиграции будут наращивать усилия во имя передачи правдивой информации на родину, оказания человеческой поддержки жертвам преследований, большего сплочения и сотрудничества с союзническими силами эмиграции, привлечения содействия западных сил;

на Западе

— будут основываться на положениях Атлантической Хартии (пункты 2, 3), Устава ООН (пункты 103, 104, 105), Декларации предоставления независимости колониальным странам и народам (пункты 1, 2, 4, 5), Международного пакта о гражданских и политических правах (Гл. 1, пункт 3), Хельсинкского договора (Гл. 8) и примут действенные политические и экономические, социальные и правовые меры во имя самоопределения и независимости эстонского народа и помощи ему.

Поскольку моя жизнь и борьба тесно связана с Эстонией, то я, естественно, концентрируюсь на ее проблемах. Но в принципе все сказанное полностью относится ко всем несправедливо захваченным странам и угнетенным обществам, ко всем зависимым и несвободным народам.

В ноябре 1981 г. я выступал в шведском городе Хальмстаде перед общиной зарубежных эстонцев, рассказывая об Эстонии. В ответном слове меня благодарила пожилая эстонка, госпожа Ванааус. По лицу у нее текли слезы, а я стоял, сгорая от стыда. Ведь есть и моя вина, и моя ответственность в том, что она вот уже почти 40 лет вынуждена жить на чужбине, вдали от дома и Родины, от родных и друзей, не имея надежды не только вернуться, но даже быть похороненной на родной земле. А таких сломанных судеб десятки и сотни тысяч. В таких случаях я особенно ясно понимаю, что значит чаадаевско-солженицынский стон: иногда стыдно быть русским.

Но не все безнадежность, есть и утешительное. Разве мало я встречал трезвых, богомольных, дружелюбных тружеников-мужиков, считающих, что «люди — Божьи» и «отнимать землю грех»? Разве мало видел измученных, сострадательных, многотерпеливых женщин-горемык, видящих в завоеваниях лишь несчастья, голод, холод, увечье и смерть для их семьи и близких? Эти люди не могли быть по своей природе соучастниками преступления против той несчастной эстонской женщины. Но, к сожалению, есть и иные...

Неблагополучно сейчас в Советском Союзе и России. Налицо резкий рост недовольства и социальной напряженности в стране. Причины тому *экономические*: неуклонное снижение жизненного уровня, острый недостаток продовольствия и товаров массового потребления, наличие тайного снабжения; *социальные*: жилищный кризис, плохое медобслуживание, неудовлетворительность транспорта, недостаток мест в яслях и детсадах; *внешнеполитические*: непопулярная и кровопролитная война в Афганистане, соблазнительный пример свободного профсоюзного движения в Польше, растущая угроза войны с Китаем; *внутриполитические*: преследование участников религиозного и правозащитного движения, обострение национальных противоречий. Все это в ряде случаев вызывает массовые протесты, как показали забастовки 1980-81 гг. в Горьком, Тольятти, Минске, Киеве, Куйбышеве, Тарту, Кульдре.

Правительство лихорадочно ищет выхода из создавшегося кризиса, запугивая, например, внешней опасностью и в то же время тайно закупая у своих «врагов» рекордное количество зерна в 1981 году — 46 млн. тонн. Но оно никогда не найдет его в границах существующей системы. Выход надо искать вне системы.

В 60-е годы Россия выдвинула двух ведущих деятелей — А. И. Солженицына и А. Д. Сахарова. По

тайному велению судьбы, А. Солженицыну суждено было испытать огромное духовное и политическое влияние со стороны эстонского адвоката политзаключенного А. Сузи, что он и отмечал в своих произведениях. И А. Сахаров тоже испытал определенное влияние из Эстонии. После опубликования работы «Размышление об интеллектуальной свободе и прогрессе...» ему было направлено обращение интеллигенции Эстонии «Надеяться или действовать?», к которому я имею прямое отношение. В обращении указывалось, что недостаточно надеяться и ждать, но надо создавать новые духовные и нравственные ценности, разработать боевую программу и начать движение за коренные изменения в обществе. Вероятно, это несколько повлияло на его мировоззрение, хотя и не полностью.

Однако, если бы сбылись планы А. Сахарова, мы имели бы хотя и отличную, но все же лишь *форму* для полноценной национальной жизни. Она была бы лишь *возможностью*, не гарантирующей *действительность*. С его идеями отдаленно перекликается и изданная нами осенью 1969 года «Программа Демократического Движения Советского Союза». В противоположность ему, великий российский писатель А. Солженицын глубоко ставит вопрос о *содержании* жизни, оставляя пока открытым вопрос о *форме*. Предлагается *действительность*, а не *возможность* ее. С его идеями созвучна изданная группой, выделившейся внутри ДДСС, «Программа нравственно-политического возрождения». Она опубликована в 1971 г. в журнале «Луч свободы».

В своем обращении к русскому народу А. Солженицын призывает к всенародному покаянию, к национальному самоограничению и жизни не по лжи. Если русский народ отзовется на его призыв, то будет заложена прочная основа для достойного настоящего и светлого будущего народа.

Но хочется дополнить основные заветы Александра Исаевича:

— не только всенародное покаяние, но и *искупление* содеянного греха,

— не только национальное самоограничение, но и *самосовершенствование* нации,

— не только жить не по лжи, но и *действовать во Благо...*

Мне уже приходилось высказываться во время заключения о предполагаемых задачах России в статьях «Двенадцать принципов русского дела» («Русская Мысль», 22 и 29. 6. 1978) и «Шесть тезисов в защиту свободно-национального государства» («Русская Мысль», 27. 9. 1979). Скажут, что жизнь безразлична и идет мимо самых благонамеренных проектов и программ. Но думаю, что если крупицу правды, в них содержащуюся, подкрепить посильным действием во имя частицы блага, то жизнь обязательно видоизменится и станет по меньшей мере смутным подобием идеалов, предлагаемых политическими идеалистами.

Главную задачу для Восточной Европы и России я вижу в морально-политическом Возрождении, при котором воцарится *Свобода*, расцветет *Любовь* и будет достигнуто общечеловеческое *Единство*. Оно заключается: для нерусских народов Советского Союза — *в самоопределении и самоочищении*; для русского народа — *в самоосвобождении и самоочищении*; для несоветских народов восточного блока — в достижении *независимости и в самоочищении*. И содействовать этому могут более сплоченная политэмиграция и наиболее сочувствующие круги Запада.

Дело Свободы Восточной Европы является частью всемирного дела Свободы и Любви. Европа — недела! Ее будущее — в воссоединении Запада и Востока на основе свободы, сотрудничества, солидарности и взаимопонимания. Свободная Восточная Европа и Свободная Россия — это *надежнейший партнер*

Запада в будущем, гарантия мира и процветания в новой, целостной Европе, которую мы должны *созидать уже сегодня!*

Мюнхен, 1981

Сергей СОЛДАТОВ — родился 24 июня 1933 года в семье строительного рабочего, в городе Нарва, в Эстонии. В 1954 году поступил, а в 1960 окончил Ленинградский Политехнический институт. Специальность — инженер-машиностроитель. Работал в Таллине на инженерной и конструкторской должностях. С 1965 года преподаватель Таллинского Политехнического института. Позднее уволен по требованию КГБ. С 1966 года — участие в нелегальной группе по распространению Самиздата. С 1968 — контакты и сотрудничество с правозащитными кругами Москвы и Ленинграда, с группой офицеров-демократов Балтийского флота, с религиозным и национальным движением в Эстонии, Латвии и Литве. В начале 1975 года вместе с группой демократов был арестован КГБ. В том же году Верховным Судом ЭССР осужден на 6 лет лагерей строгого режима. Отбывал в Мордовии. В начале 1981 года вышел из заключения и вскоре вместе с женой Людмилой был выслан за пределы СССР.

АННА РАВИЧ

Умерла Анна Равич. Я никак не могу свыкнуться с этой мыслью. Я не могу свыкнуться с мыслью, что больше никогда не встречу ее, не увижу ее лица и не услышу ее голоса. Ее присутствие в моей жизни, и не только в моей, с первых дней эмиграции сделалось для меня сущностно необходимым. «Зайти к Анне», «Позвонить Анне», «Спросить у Анны» было не просто обязательным правилом, а как бы частью моего сознания, которую отныне уже невозможно будет заполнить. Что, на первый взгляд, могло оказаться общего у потомка московских крестьян и мастеровых с дочерью патриархальной еврейской семьи из маленького местечка в Восточной Польше? Но пути Господни неисповедимы, тем более пути изгнания.

Судьба одарила ее большим человеческим знанием, отложившим в ней многие печали, зарядила ее неиссякаемой энергией и целеустремленностью, выявила в ней щедрый дар взыскующей доброты и отзывчивости. Многие из нас — недавних изгнанников — обязаны ей тем, что сумели выстоять на первых порах, а затем и укорениться в новой, непривычной для нас среде и атмосфере эмиграции.

Убежденно преданная Заветам и Заповедям своего народа, она, тем не менее, не проводила грани между «эллином» и «иудеем», когда дело касалось помощи ближнему. В таких случаях единственным мерилom для нее была подлинность человека, его нравственные точки отсчета, его душевная и духовная ценность. Но и ошибаясь порою, она никогда не сожалела о своем обманутом великодушии, ибо считала, что от этого сумма сотворенного в мире добра не убавляется, скорее наоборот — возрастает.

Всякая внезапная смерть нелепа. Эта нелепа вдвойне, хотя бы оттого, что жизнь уже не оставляет мне времени к ней привыкнуть. Поэтому и сейчас, как всегда, провожая самых близких, я не говорю «прощай», я снова говорю «до свидания». Недаром сказано: «предназначенное расставанье обещает встречу впереди».

Владимир Максимов

Запад — Восток

Ота У л ь ч

НЕПРИЯТНЫЙ ОТЧЕТ ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ

Предварительное объяснение

Темой этой я занимаюсь несколько лет, и не я один: в одном только нашем университете есть еще несколько таких придир. В большинстве это урожденные американцы, и никто их не обвиняет в изменнической деятельности. До февраля 1981 года и мне не пришлось столкнуться с такими обвинениями, пока редакция журнала «Запад» не организовала в Оттаве вечер, где Йосеф Шкворецкий сделал доклад об Антонине Дворжаке в Америке, а я — о юстиции там же. Дойдя до середины доклада, я заметил в публике недовольство и спросил, не замолчать ли мне тут же, — ответом были аплодисменты.

В шумной атмосфере после собрания несколько соотечественников упрекнули меня в том, что сказанное мною — доказательство неблагодарности по отношению к приемной родине и что я лью воду на мельницу врага. Я пробормотал в свою защиту, что такие же высказывания допускает председатель Верховного Суда США Бергер, что мы с прежних еще времен помним разницу между конструктивной и деструктивной критикой, что моя цель — не разрушение, а выбрав тропу молчания, можно лишь способствовать разрушению, и для верности удрал в туалет. Там один

господин заявил мне, что для него не было бы большего удовольствия, чем разmozжить мне черепушку, — он сказал это, но не сделал, не отнял кулаков от ширинки, мы продолжали оба стоять у писсуаров, и критик только исходил злобой.

Через несколько дней в редакцию «Запада» пришло письмо от удачливого соотечественника-бизнесмена. Его диагноз моему выступлению был: «Garbage», — то есть помои, притом «из уст человека с академическим титулом». Он сожалел, что под рукой у него не оказалось камня швырнуть в этого образованного, и пригрозил редакции, чтоб она не вздумала печатать мои «сапсу». Если же «Запад» напечатает мое выступление, его гражданское мужество обернется экономическим безрассудством — он потеряет подписчиков. Главному же редактору патриот выбьет окно тем самым камнем, которого тогда не оказалось под рукой.

Но, быть может, я ошибаюсь, и основная масса читателей не дрогнет. Большинство их знает положение дел и склонно к терпимости. В конце концов, мы же не страусы. Так что перейдем к сути дела.

Суть дела

В тот самый февральский день, когда я в Оттаве рассердил некоторых моих соотечественников, агентство печати Ассошиэйтед Пресс передало следующее сообщение из Балтиморы: 25-летний негр Джеймс Макклейн убил своего 10-месячного сына Томаса, швырнув его в мусоропровод на одиннадцатом этаже. Он немедленно признался в содеянном, однако высшая судебная инстанция штата Мэриленд применила «ретроактивное» (т. е. имеющее обратную силу) правило, согласно которому обвиняемый должен в течение двадцати четырех часов предстать перед судебным чиновником (court commissioner). Папенька, вышвырнув-

ший ребенка, был приведен к оному с *двадцатиминутным* опозданием, поэтому дело было прекращено.

Исключение? Отнюдь — как раз правило. Правило. Одно из них называется *Miranda Rule* — знаменитая гарантия прав человека. Оно пошло на пользу, например, Хосе Суаресу, проживающему по адресу 301 Хупер-стрит, Бруклин, Нью-Йорк. Не под наркотиками, не пьяный и не особенно возбужденный, он взял нож и зарезал целую семью — свою сожительницу Марию Торрес и пятерых детей. С окровавленным ножом он пошел сдаваться в полицию, показал место преступления, трупы, описал ход преступления и подписался. Суд дал ему адвоката *ex offio*, который пытался уговорить вдовца взять свое признание обратно. Когда из этого ничего не вышло, адвокат начал рыться в протоколах и обнаружил, что полиция неточно процитировала юридическую формулировку права не признаваться. Суд постановил прекратить дело. Такое же постановление суд вынес в Вашингтоне по делу 41-летнего Джеймса У. Киллога. Он убил жену и тело засунул в мусорный бак. Трижды — добровольно, без принуждения — он признался в содеянном. Но полицейские, оказывается, недостаточно отговаривали его от безрассудства в чем бы то ни было признаваться.

Опять Вашингтон: некий тип в ярости швырнул зажигательную смесь («Молотовский коктейль») в домик — мать с тремя детьми получили тяжелые ожоги, дом сгорел дотла. Полицейский в форме появился на месте происшествия, и поджигатель подошел к нему со словами: «Это я сделал». Но осужден не был. Его адвокат успешно защитил ту точку зрения, что само присутствие человека в полицейской форме было инструментом психологического принуждения (*psychological coercion*) и что неотторжимые гражданские права поджигателя были этим нарушены

(«thereby violating his Fifth Amendment privilege against self-incrimination»).

Популярная телепрограмма «60 минут» 2 марта 1980 г. посвятила передачу делу юноши, который застрелил отца, мать и дедушку, а потом вызвал полицию. Следователи предостерегали его от признания, но не преуспели. Убийца повторил признание и у прокурора, и в суде. Тем не менее, его освободили. Верховный Суд штата Калифорния большинством четырех голосов против трех постановил, что предпринятая следователями кампания убеждения не была достаточно страстной.

Подобными примерами я мог бы наводнить целый номер журнала.

В телевидении мы видим что угодно и кого угодно. Например, профессионального убийцу, продолжающего свою активную деятельность и, разумеется, не сидящего в тюрьме. Продюсер Уолтер Сасскинд представил вышеназванного под именем Джой. Позже Джой приехал к нам в Бингхамтон прочесть лекцию (13 ноября 1980) о своем бизнесе. «Я переломал больше ног, чем сидит людей в этом зале», — сообщил он нам. А отсиживать за убийства — кому это надо? «Что вам в голову пришло? Для чего же тогда уловки и дорогие адвокаты? — объяснил он и прибавил: — What I do is business, I don't do it because I enjoy it» (дословная цитата из газеты). Полное чистосердечие: деятельность наемного убийцы не доставляет особого наслаждения, но что поделаешь — это его заработок.

Слушатели наградили профессионального убийцу бурными аплодисментами. При этом заметьте, что Бингхамтон — отнюдь не столица мафии и бандитизма, но спокойное и в большой степени славянское местечко. В телефонном справочнике у нас шесть Запотоцких, а одного моего университетского коллегу зовут Стефан Дж. Мотовидло.

Вышеупомянутый председатель Верховного Суда США Уоррен Э. Бергер считает американский судебный процесс невероятно формалистическим, способным тянуться до бесконечности, с гораздо большими правами для преступников, чем для их жертв, а половину юридической общины — вообще недостаточно квалифицированной для своей профессии. Но другие крупные фигуры смотрят на это иначе. Слова Франклина Э. Зимринга, профессора чикагского университета: «It is the worst system you could imagine except for the others»* — т. е., попросту говоря, наша система лучшая в мире.

Любопытно отметить, что главными критиками и сторонниками реформ являются консерваторы, а не какие-нибудь там Анджела Дэвис или Джейн Фонда.

Высказался на эту тему и Александр Солженицын летом 1978 года в своей речи к выпускникам Гарвардского университета. Он говорил об абсурдном выпячивании прав индивидуума во вред правам общества. В государстве советского типа у отдельного человека нет никаких прав, и это плохо. Но намного ли лучше, качественнее, нравственнее система, где право и правду не может иметь общество, не смеет иметь государство, удушенное юридическими уловками тех, кто злоупотребляет свободами? В рамках воплей об этих свободах общество стало беззащитным. Суровую истину с суровым славянским акцентом гласил бородатый пророк, укрепляя либеральные круги в их уверенности, что это всего лишь неисправимый реакционер с откровенно фашистскими тенденциями.

Однако какой, что ни на есть прогрессивный, мыслитель опровергнет грозные цифры и факты? 18-лет-

* «Это самая плохая система, которую вы можете вообразить, за исключением всех остальных». — Пер.

ний Эрик Томас был арестован шестнадцать раз, в основном за преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия. Осужден он не был ни разу. Сверх того, за период между ноябрем 1978 и августом 1979 он убил пятерых человек. Кажется, теперь его все-таки будут судить (по сообщению «Нью-Йорк Таймс» от 20 марта 1980).

Кассационный суд штата Нью-Йорк отменил приговор Кеннету Гилмору, чернокожему, за убийство представителя администрации по перевоспитанию молодежи. Довод оправдания: заседатели, выносившие приговор, прочли характеристику поведения обвиняемого в тюрьме.

С 1967 года в Нью-Йорке было убито больше трех тысяч полицейских — ни один убийца не был казнен. Правда, уже раздаются реакционные голоса, что-то там плетущие о саморазрушительной иерархии приоритетов.

С администрацией зато церемониться не следует! В Техасе отдали под суд шерифа Бейкера за то, что он арестовал гражданина Линни Маккаллэна, а не его брата Леонарда. Шерифу не помог тот факт, что Леонард предъявил шоферские права Линни, вследствие чего имя Линни оказалось в ордере на арест.

Нельзя и единой мерой мерить преступника и его жертву. Одна из жертв, мистер Сет Вейссман, написал в «Нью-Йорк Таймс»: «Преступник-рецидивист, который без лицензии работает таксистом в аэропорту Кеннеди, пырнул меня ножом. Он получил условный срок и продолжает нелегально водить такси. Когда я, в качестве потерпевшего, обратился в суд с просьбой объяснить, как возможно, что этот бандит не за решеткой, мне ответили, что это не мое дело».

Не прикажете ли государству обеспечивать надзор и прокорм провинившихся? Если уж вам это так нужно и вы не можете подавить свои реакционные мстительные инстинкты — пожалуйста, посмотрим,

что можно сделать, но это вам влетит в копеечку. Мисс Илэйн Саммерс, 27-летнюю специалистку в области права, изнасиловал в парке 20-летний Джозеф Колумбо-младший. Суд дал ему условный срок, но правоведка не сдалась и завела гражданский процесс о возмещении ущерба — выиграла 12 тыс. долларов и не получила ни цента, после чего вступил в действие стародавний закон о том, что преступник идет за решетку, но с условием, что потерпевшая сторона платит за его пребывание: 28 долларов в день тюрьме города Хартфорда (Коннектикут).

И мы опять перед солженицынским вопросом: что лучше — государство, которое чрезмерно опекает или которое полностью отрекается от своей роли?

Еще несколько слов о вышеупомянутых приоритетах. В Конгрессе давала показания миссис Хатти Стейми из штата Теннесси. Ее муж, желая стать вдовцом, нанял убийцу. Убийца вмонтировал в автомобиль бомбу, и миссис Стейми при взрыве лишилась обеих ног и потеряла владение одной рукой. Все ее сбережения ушли на лечение. Муж ей ничего не платит, хотя мог бы: в федеральной тюрьме Сауз Бенд (Индиана) он живет и питается бесплатно, а кроме того, каждый месяц получает от федерального правительства чек на сумму больше 200 долларов в связи с фиктивным заболеванием легких. Правительство платит тридцати тысячам убийц и грабителей, они себе покупают цветные телевизоры и стереофоническое оборудование, а скоро получают прибавку, как писали в газетах. Знаменитый убийца шестнадцати человек Дэвид Берковиц («Сын Сэма») тоже получает пенсию — чрезвычайную государственную социальную помощь.

Чем больше рост преступности, тем меньше она карается. В 1935 году в штате Иллинойс с населением 8 млн. чел. в тюрьмах сидели 12 тыс. преступников. В 1975 году население увеличилось на треть, число за-

ключенных уменьшилось на половину, а число убийств подскочило в несколько раз.

Прогрессивные мыслители объясняют нам, что в преступности виновно общество и безудержная эксплуатация. Однако до второй мировой войны эксплуатация была, вне сомнения, безудержней, жизненный уровень в результате экономического кризиса 30-х годов был, естественно, ниже, чем сегодня, и, тем не менее, подите, поглядите на статистику преступности. Нельзя, например, не заметить, что среди негров, чей жизненный уровень в среднем выше, чем у так называемых Hispanics (в особенности мексиканцев и порториканцев), преступность тоже выше — в 4-5 раз.

Ах, в этом виноват белый расизм! Правда ли это? Чем тогда объяснить тот факт, что американские японцы и китайцы нарушают законы много реже, чем белые?

Я живу на полдороге между нью-йоркской гаванью и канадской границей. От Нью-Йорка до Торонто 500 миль. Сравните расстояние между ними: в американской столице вдвое больше населения и в 43 раза больше убийств. В мирном Денвере (Колорадо) погибает насильственной смертью столько же людей, как в целой Англии. И все это еще ничто в сравнении с Детройтом, городом умирающей автомобильной промышленности и чемпионом по убийствам.

Но, как уже сказано, мы сажаем все реже и реже, а когда сажаем, то делаем это довольно странно.

Методы отправления юстиции

В них, прежде всего, нет единства. Пятьдесят штатов, плюс город Вашингтон, плюс федеральные суды, и у каждой юридической системы свои законы. На

Аляске марихуану курят легально, а в Алабаме за чинарик вы можете получить пожизненное заключение.

В Алабаме Хефлин Мэк Ланкфорк получил пожизненное заключение за вождение автомобиля в нетрезвом виде, приведшее к несчастному случаю и смерти одного человека. В штате Вашингтон автомобилист Марк Алан Санки ехал на красный свет и убил трех человек. Приговор: 10 дней лишения свободы.

Я уже говорил о великодушии штата Нью-Йорк — сколько всего он разным людям простил. Однако не всякому. Джефф Ривз, 40-летний слепой, до тех пор безукоризненного поведения, продал одну дозу кокаина и получил пожизненное заключение.

У нас, в Бингхамтоне, 14-летний подросток ограбил один дом в субботу, другой в воскресенье, в понедельник полиция его арестовала, а во вторник судья отправил его домой. Дома живет только 16-летний брат, который помогает в ограблениях. Я написал в местную газету отнюдь не ласковый комментарий, и только он вышел, как у нас пошел надрываться телефон, и я смог узнать, какая я фашистская курва и что лучше мне катиться обратно в Югославию, Узбекистан или откуда там я явился.

Сравним с Миссисипи. 14-летний негритенок Роберт Эрл Мей, пацан весом 75 фунтов, т. е. чуть больше 30 кг, участвовал в ограблении лавочки. Судья приговорил его к 48 годам лишения свободы без возможности применения условно-досрочного освобождения. Аль Капоне за дело всей своей жизни был приговорен к пятой части этого срока!

Американский процесс, вне сомнения, самый дорогой в мире. В январе прошлого года меня вызвали на один такой процесс в Калифорнии — клиенту это удовольствие обходится минимум в тысячу долларов в день. А иногда это и самый удивительный в мире процесс.

Согласно отчету юридической комиссии штата Луизиана, судьи ведут себя самым любопытным образом. Например, судья Уильям Ноук Дэниэлс из Батон-Ружа, главного города штата, решает дела «by the flip of a coin», т. е. бросанием монеты: орел-решка, виновен-невиновен. Иногда он выносит приговор на голосование присутствующей публики, включая несовершеннолетних. Целый отряд скаутов участвовал в голосовании. Этот судья также любит назначать штрафы, размер которых равен сумме денег в кошельке обвиняемого.

Дядюшка с монеткой меня не печалит. Опасным дефектом американского правопорядка — или, скорее, беспорядка — я считаю его *формализм*. Дело в нем идет не о существе, а о форме. Дело идет не о том, чтобы установить истину, виновность или невиновность, а о том, чтобы сохранить процедурный ритуал, и чем более продумная уловка найдется, чтобы государство не могло тронуть грабителя-убийцу, тем шире слава его защитника. Что же, защитники — люди с извращенной нравственностью? Нет, они просто *безнравственны*. Вопросы морали им и в голову не приходят. «Мой джоб — выцарапать клиента, а величайшая ли он бестия на земле, меня это не касается», — сказал мне, холодно глядя сквозь очки, господин с серебряной сединой, один из самых знаменитых ветеранов своей профессии, час времени которого стоит 300 долларов, а я получил это даром, да еще с обедом, в знаменитом ресторане «Дерби» в Беверли Хиллз, который туристы фотографируют снаружи, а внутри переполняют кинозвезды.

А вот пример, происшедший по соседству, в симпатичном калифорнийском городке Менло Парк. В ноябре 1977 г. юноша по имени Стивен Масовер ограбил местный банк. С револьвером и гранатой в руках он взял трех заложников и 78 тыс. долларов наличными. Он скрылся и был схвачен позднее. Присяж-

ные вынесли ему оправдательный приговор. Согласно калифорнийскому праву, прокурор должен доказать, что грабитель пришел грабить с умыслом *навсегда оставить* себе добычу («that he intended to deprive the bank of its money permanently»). Это, однако, недоказуемо: всякий скажет, что он пришел взять деньги лишь взаимнообразно. В Калифорнии грабитель банка не может быть осужден.

По соседству с нами, в Сиракузах, в университетском городе штата Нью-Йорк, судили мужчину, по профессии механика, обвиненного в убийстве. Своему адвокату он признался не только в этом убийстве, но и в двух других. Адвокат Фрэнсис Р. Белдж нашел и сфотографировал трупы, после чего пришел к прокурору с таким предложением: если вы с моим клиентом обойдетесь мягко, я дам вам в обмен информацию о других убийствах, в которых, конечно, мой клиент не должен быть обвинен. Если вы мне этого не пообещаете, я не покажу, где лежат тела. Возник вопрос, имеет ли право адвокат, т. н. *officier of the court*, т. е. слуга правды и справедливости, утаивать что-то подобное. Этикой случая занималась этическая комиссия коллегии адвокатов и пришла к выводу, что Белдж вел себя совершенно правильно.

Инициативное предложение, внесенное прокурору, приводит к т. н. *plea bargaining* — дословно «сговору о признании». Допустим, я попытался отправить свою жену на тот свет с помощью ножа, но не преуспел. Прокурор обвиняет меня в попытке умышленного убийства. Мой адвокат приходит с контрпредложением: признание в проступке неосторожного обращения с кухонной утварью. Прокурор «не берет» — но согласен на попытку убийства по неосторожности. Этого мы не берем. Юристы сойдутся еще пару раз, оба немножко скинут, ударят по рукам и, договорившись, пойдут к судье, он их договор припечатает, и справедливость совершится.

Пасквиль, карикатура? Что ж, перейдем от гипотетического примера к реальному. Колвин Джексон, 26-летний рецидивист, признался в убийстве девяти пожилых женщин, которых он удушил и зарезал. Манхеттенская полиция не проявила интереса к этой стороне его деятельности и подготовила дело только по фактам насильственного ограбления. Ему грозило 15 лет тюрьмы. Но в удачном plea bargaining обвинитель и защитник договорились, а судья припечатал. Убийца-рецидивист пошел отсидживать кару в размере тридцати дней. Дней!

Не знаю, как у вас, но у меня от этих базарных торгов сводит желудок. Любопытно, что эту деятельность никто не таит. Юристы не краснеют и не оправдываются. Наоборот. Сам Верховный Суд Соединенных Штатов, считает plea bargaining «essential» — элементарной сутью американского судебного процесса, без которого судебные механизмы рассыпались бы. Перед заседателями предстает только 10% обвиняемых. Подавляющее большинство дел решается с помощью этих гешефтов.

Уместно упомянуть также об insanity plea — о признании преступника невменяемым. Это весьма популярный вариант решения. Например, в штате Нью-Йорк уже многие годы 25% всех дел об убийствах заканчиваются этим, и все довольны: прокурор не должен обвинять, судья — судить, убийца — идти в тюрьму, его отправят в сумасшедший дом, а то и прямо домой.

Наказание

Прежде всего, назначенный приговором и отсуженный срок редко имеют между собой что-то общее. Можно получить больше одного срока за раз: скажем, двойное осуждение на 10 лет concurrently (од-

новременно) или consecutively (последовательно). Например, 2 июня 1980 г. в штате Ута мормонский патриарх-многоженец Эрвил Лебарон был приговорен к двум последовательным пожизненным заключениям. Когда он умрет, полсрока будет позади. Придется воскреснуть из мертвых и отсидживать еще раз.

Весьма расходится теория с практикой в величине срока. Окружной судья в Талсе (Оклахома) 21 мая 1980 г. приговорил насильника-рецидивиста Роберта Юджина Кинга к 1700 годам тюрьмы. Судья Ричард Самуэлс в городе Мархэм (Иллинойс) осудил убийцу на 2600 лет лишения свободы. Однако придется ли убийце ждать освобождения до 2-й половины VI века четвертого тысячелетия? Разумеется, нет. Через 11 лет и 3 месяца он созреет для условно-досрочного освобождения.

В том же штате Иллинойс некий Ричард Спек убил в один присест восемь медсестер и был приговорен к наказанию, которое можно выразить формулой 50-150, умноженное на восемь, т. е. восемь тюремных заключений, каждое сроком от 50 до 150 лет. Однако, по сообщению ЮПИ, Спек уже готовят к условно-досрочному освобождению.

Защитники великодушия убеждены в своей правоте, и их ничто не собьет. Не собьет их и пример господина из Буффало, который был осужден за два убийства и освобожден через четыре года. Первое, что он совершил, — третье убийство: влез в квартиру 82-летней старушки и зарезал ее.

Бесчеловечные, фашистские условия в американских тюрьмах — это мнение американских либералов охотно поддерживает и советская печать. Заключенный пишет в среднем 12 писем в неделю. Марки казенные. Но казна отказывается платить за спешные и заказные письма! Этим варварством, кажется, уже занялась соответствующая комиссия ООН.

Питомцы тюрьмы Аттика (штат Нью-Йорк) бастовали уже много раз. То отказываются выходить из камер: читают, пишут на машинке, спят. Из 350-ти только сто пришли на завтрак. Только два десятка убийц вышли поиграть в баскетбол, и лишь несколько пошли позагорать. Остальные протестуют против произвола и насилия. «Tell the people, we won't compromise!» — заявили бандиты, сжав кулаки, справедливо уверенные, что государство удовлетворит их требования — например, быстрее предоставлять телефонные разговоры.

В федеральной тюрьме Данбери (Коннектикут) задержалась раздача ежемесячной выплаты денег, и потерпевшие питомцы объявили бойкот столовой (Ассошиэтед Пресс, 12 окт. 1980). Лицам на диете питание доставляли из больничной кухни.

Эль Пасо (Техас): судья Уильям Сешенс решил, что заключенным в тюрьме тесно и некомфортабельно, и приказал перевести их в гостиницу «Плаза Мотор» — 22,5 доллара в день за человека, за счет налогоплательщиков. Страховая компания гостиницы запротестовала, и судья нашел выход — послал преступников по домам.

Трудно не задуматься о том, что говорил Солженицын в Гарварде и что пережил он в советских лагерях.

Перспективы

Есть ли надежды на перемены? Есть. Кое-что уже делается или, по крайней мере, обдумывается и обсуждается. «American criminal justice has broken down», наша система рассыпалась, — написал 14 февраля 1981 г. влиятельный публицист Ричард Ривз. Возникает новая академическая отрасль — «виктимология», и ряд штатов практически уже проголосовал

за законы о помощи жертвам преступлений. В Конгрессе идут дебаты о реформе уголовного права, о необходимости исключения крайностей из практики, о введении минимальных сроков наказания, о ликвидации процессуальных формул, которые служат преступникам и вредят обществу. Не думаю также, что Рейган не посягнет на выплаты убийцам.

Настроения в народе жесткие, консервативные, и я это сам испытал. В феврале 1981 г. дезертир и ренегат Роберт Р. Гарвуд был осужден военным судом за сотрудничество с врагом во Вьетнаме («heinous and disgusting crime»), тем не менее, его отпустили на свободу и выплатили 147 тыс. долларов — жалование, накопившееся за годы его службы врагу. Я написал в бингхамтонскую газету ядовитую статью, заметив, что в других странах подобные случаи кончаются расстрелом, тогда как в США измена родине оплачивается выше, чем служба родине. На этот раз я не получил ни одного письма или телефонного звонка с выражением несогласия. В high-school, т. е. здешней средней школе, молодежь — это послевьетнамское поколение — наклеила мою статью на стену, присоединив 170 подписей.

Все это ободряет, но в существенные и, главное, своевременные структурные перемены я не верю. Англосаксонская правовая система была и останется формалистической. Я не верю, что исчезнет мощное ультралиберальное лобби. American Civil Liberties Union по-прежнему будет сражаться за неотторжимые права самых гнусных убийц, и ни одна слеза его активистов не прольется над судьбой жертв. Не в кастовых интересах юридического сословия упрощать и модернизировать право и ускорять процесс. Большинство законодателей — юристы, и подрубать сук под своим сословием они не будут.

Уголовное право — конечно, лишь одно из разветвлений правовой системы. Гражданские суды тоже

не преисполняют меня восторгом. Но заниматься ими я сейчас не буду.

В последних строках я вернусь к началу статьи. Да, мне неприятно признавать, что у нас украли *pursuit of happiness*, нашу правовую гарантию. Но некоторые мои соотечественники злятся, что их пытаются лишить иллюзий. И что я играю на руку коммунистам — то-то порадуются в «Руде право»! Я должен ответить, что настолько мы уже научились быть демократами, настолько мы уже эмансипировались, чтобы не возводить губернских петрушек в роль трансатлантических цензоров.

От редакции: К сведению этих самых «губернских петрушек» с их «европейскими дуняшками», возомнившими себя в новой эмиграции законодателями демократических мод, мы целиком и полностью присоединяемся к содержанию и выводам автора данной статьи. Поэтому просим не беспокоиться.

Ота УЛЬЧ — чешский правовед и писатель, находится в эмиграции с 1959 года. В 50-е годы, окончив юридический факультет, работал окружным судьей. Об этом он написал книгу «Малые признания окружного судьи», вышедшую в Торонто по-чешски в издательстве «68». Английский вариант этой книги, рассчитанный на западного читателя, вышел в США. Многие годы преподавая в американских университетах, Ота Ульч в 1981 году получил премию Chancellor's Award for Excellence in Teaching.

Факты и свидетельства

Феликс Светлик

СИЛЕЗИЯ, ДЕКАБРЬ 1981

От редакции: Сведения о забастовках в Силезии и их жестокое подавление появились в многочисленных документах и информационных бюллетенях подпольной «Солидарности». Настоящий текст дает наиболее полную картину того, что поляки назвали четвертым Силезским восстанием (первые три имели место в 1919-21 гг. и были направлены на выход Верхней Силезии из состава послевоенной Германии и включение ее в границы Польши). Впервые этот текст был опубликован как приложение к «Информации 'Солидарности'» региона Мазовше № 20 от 29 янв. 1982. Затем, в исправленном и дополненном виде и с именем (или псевдонимом) составителя он был опубликован в «Тыгоднике Мазовше» (еженедельник «Солидарности» Мазовше, т. е. Варшавы и прилегающих районов) № 2 от 11 февраля 1982.

Вести, которые с первых дней войны приходили из Силезии, были так ужасающи, что мы не могли в них поверить, пока они не начали подтверждаться свидетельствами очевидцев, пока мы не получили первых документов. Так, сведения о том, что сотрудникам здравоохранения пришлось сражаться с ЗОМО (штурмовые моторизованные милицейские части. — Пер.) за раненых и умирающих шахтеров шахты «Вуек», полностью удостоверил только протокол диспетчерской отделения скорой помощи Объединенной воеводской больницы в Катовицах. В нем приводятся фамилии 9 лиц медицинского персонала, избитых во время оказания помощи раненым, и фамилия врача скорой помощи, задержанного при исполнении служебных обязанностей.

Подтверждением отчета об исключительном зверстве ЗОМО стали слова ксендза из Польковиц: «Я сам видел двух шахтеров с кровавым месивом на месте лица...» В свете того, что мы узнали об усмирениях, весьма правдоподобны все повторяющиеся слухи о случаях выкидыша у избитых ЗОМО женщин (напр., на шахтах «Июльский Манифест» и «Зофиювка») или о самоубийствах шахтеров после потрясения, пережитого на шахте «Вуек».

Забастовки в Силезии начались еще в воскресенье [13 декабря. — Пер.]. Ночная смена Катовицкого металлургического комбината*, узнав об объявлении военного положения, не ушла с предприятия. Шахтеры «Земовита», узнав рано утром в воскресенье, что арестован их председатель шахткома, с вокзала возвращаются на шахту. У председателя шахткома «Вуека» Людвичака зомовцы топорами проламывают дверь в ночь с 12-го на 13-е, избивают его самого, его несовершеннолетнюю дочь и прибывших на помощь шахтеров. «Вуек» останавливает работу в ту же ночь. Известие об аресте председателя шахткома «Июльского Манифеста» в ночь с субботы на воскресенье заставляет вернуться на территорию шахты шахтеров, живущих в общежитии. Они создают забастовочный комитет.

Трудно определить, какой процент шахт бастовал. По нашим сведениям, наверняка стояли... [здесь мы опускаем приводимый автором список 27 шахт. — Пер.]. Эти данные заведомо не полны. Во многих свидетельствах повторяется, что хотя бы на короткое время работу прервало подавляющее большинство шахт. Забастовки не надо было организовывать. Требования были очевидны: отмена военного положения, освобождение интернированных.

* Комбинат расположен не в Катовицах, а возле Зомбковиц, недалеко от Домбровы-Гурничей. — Пер.

В понедельник на шахте «Июльский Манифест» в Ястшембе создается Межшахтный забастовочный комитет. В него входят, в частности, представители шахт «Мошеница», «30-летие ПНР» и «Борынь» в Рыбнике, «ЗМП» в Жорах, «1 Мая» в Водиславе. МЗК связан также со «Сташицем» и «Земовитом». И это всё. Из листовки, выпущенной на шахте «ЗМП», следует, что МЗК знает также о забастовках на трех шахтах Домбровского бассейна и на трех — в Катовицах. Однако ему неизвестны их названия и не удастся связаться с ними.

МЗК в Ястшембе практически не сыграет никакой роли в организации забастовок в Силезии. Огромное большинство шахтеров даже не узнаёт о его существовании — несмотря на то, что среди шахтеров господствует убеждение, что стоит вся Силезия, весь угольный бассейн, вся Польша. Однако очень быстро им становится ясно, что их скорее ждет атака ЗОМО, нежели прибытие представителей власти на переговоры. Плакат над Катовицким металлургическим комбинатом: «Забастовка до победного конца» — будет сорван и втоптан в грязь зомовцами. Всеобщим становится сознание, что забастовка — бессильный протест против беззакония и насилия, свидетельство веры в СОЛИДАРНОСТЬ, шанс спасения собственного достоинства.

Вот сообщения о настроениях силезских забастовщиков:

«Я разговаривал с рабочими после обедни и понял, что они вполне сознают смысл своего протеста. Их мотивировки были ясными и полными. (...) После обедни взяли слово зам. директора рудника и парторг. Шахтеры заглушали их, пока кто-то не попросил тишины, сказав: «Мы — после святой мессы, которая велит уважать человека, — дайте каждому высказаться!» И шахтеры позволили им говорить. Заместителю директора, однако, нечего было сказать — он только призвал кончать забастовку. Зато парторг взывал к чувствам (...), объяснял, что через одного из генералов он

пытался получить гарантии от «нашего генерала» Ярузельского, который в порядке исключения (это он подчеркнул) согласился на то, что никто из бастующих не подвергнется репрессиям в случае прекращения забастовки. Тогда эти молодые парни, умученные и грязные, подходили к микрофону и говорили: «Рабочих всегда обманывали и унижали. Сначала их называли хулиганами, а потом ставили им памятники. Да и памятники-то ставили под принуждением. Какие у нас гарантии, что Ярузельский сдержит слово? Так часто рабочего обманывали». Потом говорили шахтеры. (...) Уже по ходу дела они выдвинули требования вернуть снятого директора рудника. Я все время поражался, как глубоко социальное сознание этих людей, как зрелы и деловиты их высказывания. (...) Атмосфера была серьезной и напряженной. Люди знали, что могут расстаться с жизнью. (...) Многие хотели остаться — любой ценой, даже ценой жизни. Они говорили: «Мы не сдадимся. Иначе мы потом не сможем поглядеть в глаза нашим женам и детям, которые нас дожидаются, которые в нас верят». Так продолжалось до 12 часов дня (17 декабря. — Прим. варшавской ред.). Чтобы почтить памятью годовщину событий на Побережье [кровавого подавления рабочих волнений на Балтийском Побережье в декабре 1970. — Пер.], мы спели гимн и 'Боже, храни Польшу'». (Свидетельство ксендза из Польковиц.)

«...к нам пришел армейский майор. Пусть, мол, рабочие скажут, чего хотят. Вокруг него сразу собрался круг, хоровод людей. Его забросали вопросами: против кого эти танки, почему арестовали руководителей «Солидарности», зачем хотят уничтожить культуру (арестуют писателей), зачем военное положение? Мы повторили ему свои требования: выпустить всех арестованных, восстановить связь, отменить военное положение, провести свободные выборы. Майор сказал, что такие условия не могут быть приняты, потому что партия не позволит вырвать власть из ее рук». (Катовицкий металлургический комбинат.)

С течением времени решимость продолжать забастовку ослабевала. Люди теряли силы. Из двух тысяч, начавших забастовку на шахте «Анна», до конца выдержало только 200, на металлургическом комбинате от восьми тысяч осталось две.

«...Ушел со своего поста первый забастовочный комитет. Члены комитета не выдержали, твердили, что забастовка обречена на поражение, что у них семьи, что они боятся. Выбрали новый коми-

тет. (...) Кто-то из нашего комитета призывал: «Продержимся еще это Рождество, чтобы сорок следующих были лучше», — но это уже никого не вдохновляло. (...) По мере того, как забастовка затягивалась, люди теряли силы. Тех, кто пытался бежать через ограждение, ловили зомовцы, отбирали у них пропуска и каждого штрафовали на 5 тыс. злотых». (Катовицкий металлургический комбинат.)

На шахтах «Пяст» и «Земовит», которые продержались дольше всех, положение бастующих было исключительно трагическим. Зная судьбу своих товарищей с «Вуека», они боятся выйти на поверхность. В то же время затянувшаяся забастовка действует угнетающе. Лучше сего это показывает свидетельство с «Земовита»:

«Нам говорили — были такие записки с поверхности, — что, когда кто выходит, ему позволяют умыться, отвозят домой, а из дому милиция увозит в неизвестном направлении. Мы не знали, что об этом думать. Когда люди начали подниматься, один тоже вышел на поверхность, а через три дня ему пришла передача от семьи. Значит, думали мы, он до дому не добрался. (...) Спрашивали друг друга: «Подниматься? А если убьют? Уж лучше тут сдохнуть!» Один поднялся только потому, что хотел настоящие похороны и могилу — внизу бы этого не было. Поднимаясь, он был уверен, что идет на верную смерть. Еще двое вошли в клеть, когда привезли суп, — вроде котлы с супом выносить. А потом так и остались в клетях. Люди на них кричали: — Предатели вы, свиньи вы!».

Прерванная связь со страной, даже с соседними предприятиями, демонстрация силы ЗОМО и армии, угроза тяжких приговоров (коллективу шахты «ЗМП» поставили ультиматум: если шахтеры не приступят к работе, суд имеет право применить даже смертную казнь), обещание пустить в ход «крайние средства» (Польковицы) и отравляющие вещества (Катовицкий металлургический комбинат), наконец, психологическое давление — все это должно было сломить бастующих перед решительной атакой сил порядка.

«Всю ночь над комбинатом летал вертолет с включенной сиреной. Около 8—9 час. утра над нами пролетело вертолетов двенадцать, сбрасывая листовки, а потом пролетел реактивный

самолет. В листовках нас призывали сдаться и грозили (...), убеждали, что сопротивление бессмысленно. (...) Радиоузел каждый час передавал голос плачущей матери, умоляющей: «Фелек, вернись домой, все тебя ждут», а потом голос отца. (...) Директор обещал, что если рабочие выйдут до 14 час., то всем дадут отпуск и не будет никаких последствий. Призыв был записан на магнитофон. Его повторяли регулярно, каждые 15—20 минут, до 10 час. вечера. Люди чувствовали себя все более сломленными». (Катовицкий металлургический комбинат.)

Продолжать забастовку в таких условиях становится проявлением крайней решимости. Часть рабочих покидает окруженные танками шахты и заводы, другие решают оставаться до вторжения ЗОМО, третьи готовятся оказать активное сопротивление. На шахте «Вуек» ксендз принимает присягу солидарной борьбы, исповедует и причащает.

Бастующие шахтеры и металлурги быстро узнают о первых жестоких усмирениях. Вот что произошло 15 декабря на шахте «Июльский Манифест»:

«В нарядную и бухгалтерию ворвались зомовцы, безжалостно избивая людей дубинками. Побили и кассирш, выплачивавших зарплату. У одной из них, беременной, произошел выкидыш. Врачей не допустили оказать помощь. На следующий день она умерла». (Бюллетень «Правда свободных поляков».)

«Там было много женщин, которые пришли за зарплатой. Когда все собрались, убежденные, что сейчас начнутся переговоры, вдруг во все двери и окна ворвались зомовцы, тесным кольцом окружили людей, повернулись к ним спиной и начали себе за спину бросать дымовые шашки и заряды со слезоточивым газом. Возникла паника, люди начали убегать, тогда зомовцы повернулись и принялись систематически, по-страшному избивать их. Убегающие выскакивали в окна, роняя о разбитые стекла, и попадали под дубинки оставшихся снаружи зомовцев». (Документ «Четвертое Силезское восстание».)

«Шахтеры («Зофиювки» и «Борыни». — Прим. варш. ред.), узнав о событиях на шахте «Июльский Манифест», готовились встретить атаку ЗОМО. Они вооружились кирками, ломami, цепями, залили водой пространство перед воротами». («Правда свободных поляков».)

«Во второй половине дня приходят известия об усмирении на шахтах «Вечорек» и им. Ленина. Оно характеризуется страшной

жестокостью, прямо зверством сил порядка. (...) Вечером приходят известия о кровавой расправе на близкой шахте «Сташиц». Шахтеры «Вуека» начинают готовиться к приему «гостей». На полном ходу работает кузница. Куются стальные пики, рукоятки ломов и лопат обматываются цепями, из толстого кабеля делаются дубинки. Все это для самообороны». (Свидетельство с «Вуека».)

«Внизу приняли меры для защиты от вторжения. Переходы и перекрестки обложены динамитом. Напротив клетки установлен насос под давлением 16 атм.». (Свидетельство с «Земовита».)

«На вышке западного ствола сидели три наблюдателя, информировавшие о передвижениях войск. (...) Распространился слух, что рудник заминирован, — мы хотели припугнуть атакующих». (Ксендз из Польковиц.)

«На шахтах «1 Мая» и «ЗМП» забаррикадировали ворота, приготовили бутылки с ацетиленом, на которых должны были подорваться танки в момент пересечения ворот. Кузница делала пики и щиты». (Свидетельство сотрудника Силезско-Домбровского регионального правления «Солидарности».)

«...проведены различные приготовления. Изготовили копья, пики, собрали цепи и тяжелый инструмент. Главные ворота были забаррикадированы цистерной. Были забаррикадированы и все входы в цеха. В прокатном цеху, со стороны доменного, были уложены 20-тонные отливки на высоту четыре метра — оставили проход только на одного человека. Двадцатью метрами дальше была баррикада из таких же отливок. Вход в прокатный цех со стороны блюмингового был забаррикадирован стальным стеллажом, со стороны экспедиции — вагонами. Со стороны раздевалки положили прокатный вал весом ок. 80 тонн, который мы намазали машинным маслом, так что всякий, кто попытался бы на него взобраться, соскользнул бы. Все другие входы мы закрыли и приварили. В важнейших пунктах комбината были расставлены посты. Мы поддерживали связь с помощью коротковолнового передатчика и радиотелефонов, которыми оснащен прокатный цех». (Свидетельство с Катовицкого металлургического комбината.)

Свидетельства, приходящие из Силезии, в первую очередь рассказывают о подготовке к отражению атак ЗОМО и о самих усмирительных акциях. Мало информации об организации забастовок, о том, что делалось на занятых предприятиях. Известно, что к бастующим приходили ксендзы, совершали богослужения, испове-

довали, причащали. В Польковицах шахтеры соорудили алтарь: «Разорвали пополам польский флаг и белой частью покрыли алтарь». На Катовицком металлургическом комбинате во время службы был освящен крест, на следующий день установленный у главных ворот. Мы знаем, что шахты были украшены (на воротах «Вуека» был повешен образ Богородицы на простыне), что шахтеры пели религиозные и патриотические песни.

В свидетельстве с «Земовита» мы читаем:

«Массовки были два раза в день. (...) Когда стало видно, что все это затягивается, люди начали приносить доски и устраивать на них постели. Некоторые вырезали из черного пенобетона разные фигурки: Барбурку [фамильярное название св. Барбары — покровительницы шахтеров. — Пер.], часовенку».

Нам известно также, что на предприятиях царил порядок, рабочие чувствовали себя по-хозяйски, заботились о том, чтобы общество как можно меньше пострадало из-за забастовок. Так, МЗК в Ястшембе предложил, чтобы часть шахт работала для нужд электростанций. На Катовицком металлургическом комбинате «была выделена специальная бригада для надзора за домной. Поскольку домна не работала, ее стальной кожух постепенно остывал и мог треснуть. Рабочие делали все, чтобы не допустить этого, потому что вода из охлаждения кожуха отапливает новые жилые районы в Голоноге и Домброве Гурничей». (Свидетельство с Катовицкого металлургического комбината.)

«Мы вошли в помещения, погромленные зомовцами. Картина разрушений была ужасающей. Шахтеры, которые это видели, плакали и, наклоняясь, собирали разбросанное и поломанное оборудование, пытались привести его в порядок и установить по местам». (Свидетельство из Польковиц.)

Много места в свидетельствах участников и наблюдателей силезских событий занимают описания зомовцев:

«Они вели себя тревожно, как звери, выпущенные из клетки. Этот отряд использовали недолго, только для погрома помещений, а потом их поспешно собрали, загнали в машины и заперли. Я видел одного такого поблизости. Впечатление он на меня произвел. В черном комбинезоне, перчатки с шипами, на спине и на груди тоже шипы, на голове шлем с забралом. В одной руке щит, в другой — дубинка, рослый, чернобородый, с безумными глазами, издавал какие-то нечленораздельные звуки. Я даже подумал, что это не поляки». (Свидетельство из Польковиц.)

«Я видел их лица. Лица зомовцев, лишенные мысли, пустые, наглые. Они глядели на шахтеров и на меня, поигрывая дубинками. Солдаты были растеряны, при виде ксендза опускали глаза». (Ксендз из Польковиц.)

«Произведя полный погром (помещения завкома. — Прим. варш. ред.), зомовцы вывалились наружу и, нанося удары дубинками, принялись хватать кого попало. Избивали и собравшихся женщин — жен и матерей бастующих. Сорвали флаг с надписью «Забастовка до победного конца». Истоптали его и сожгли, а потом, забрав несколько десятков человек, уехали». (Свидетельство с Катовицкого металлургического комбината).

«...была атака против зомовцев. Посыпались жертвы с их стороны. Это нас психологически поддержало: не такие они страшные, как выглядят. По первым описаниям, которые мы слышали, это были отборные части ЗОМО, специально обученные и вообще железные ребята. А тут, оказалось, какое-то ополчение: кого ни попадя в лоскутья нарядили. Выглядели они слонами, но, по существу, в сравнении с нами, так это были слабаки. Каждый был одурманен какими-то таблетками, наркотиками — это было видно из того, что они совершенно не реагировали на наши голоса, на наши крики, на наши призывы во время атаки. Ни один и слова не сказал — только командир, капитан, приказывал им идти в атаку» (Штейгер с «Вуека»).

Как забастовщики, так и врачи говорят, что участвовавшие в усмирении зомовцы находились под действием одурманивающих средств. Сотрудники больницы сообщают о случаях смерти зомовцев под наркозом. Вероятнее всего, это результат того, что они принимали какую-то химию, хотя не исключено также влияние примененных при усмирении отравляющих газов.

Наиболее жестоко проявили себя зомовцы на шахте «Вуек». Они стреляли очередями, о чем свидетельствуют ранения. Один врач оказал помощь человеку, раненному тремя выстрелами: в пальцы руки, в живот и в бедро. «Пулевые отверстия шли справа налево, отстоя друг от друга сантиметров на 15. Следовательно, очередь была дана с расстояния нескольких метров». (Врачи о «Вуеке».)

Тяжело пришлось и коллективам других шахт во время усмирения. Зомовцев не сдерживало даже отсутствие активного сопротивления.

«Били по-страшному. 8 января у забора шахты было обнаружено тело шахтера, избитого во время усмирения забастовки». (Свидетельство с шахты «Розбарк».) «Возле шахты избивали женщин и детей, в одном случае забили на смерть». (Свидетельство с «Зофиювки».) «При разгоне забастовки на «Июльском Манифесте» шахтеров измордовали так, что самые частые ранения — переломы позвоночника и тяжелые черепные раны». (Свидетельство жительницы Ястшембе.)

Шахты и металлургические предприятия были окружены танками и милицейскими патрулями. Приезд милиции был сигналом к усмирению.

Чтобы блокировать бастующие предприятия, останавливали работу транспорта. К польковицкому руднику из города не шли рабочие автобусы. 16 декабря целый район Брынув, где находится шахта «Вуек», был закрыт для движения автотранспорта, на местной станции не останавливались поезда. 17 декабря перестали ходить трамваи и автобусы по маршруту Домброва Гурница — Катовицкий металлургический комбинат. Когда в дело вступило ЗОМО, начали отнимать передачи, приносимые забастовщикам комбината. На дороге, ведущей к комбинату, арестовали крестьян, подвозивших продовольствие. Арестовали также двух сотрудников стальтреста за то, что они передали бастующим суп.

Вокруг бастующих предприятий собирались семьи, много женщин и детей. В Польковицах «с 8 час. утра десятки, а потом сотни женщин с детьми подходили к надшахтному строению. Милиция сначала пыталась остановить их и действовать убеждением, а потом принялась поливать их водой без зазрения совести. В сторону женщин и детей бросали также дымовые шашки и гранаты с газом». После усмирения польковицкой шахты рыночную площадь, куда шли шахтеры, кончившие бастовать, и где собрался народ, окружило ЗОМО. Зомовцы забросали толпу дымовыми шашками и газовыми зарядами. Из окон в них полетели цветочные горшки и кастрюли.

Возле шахты «Вуек» ок. 10 часов 16 декабря собралась толпа человек в 500. Когда бастующим поставили ультиматум: покинуть шахту в течение часа, — толпа принялась петь для шахтеров, стоявших на баррикадах, по ту сторону ворот, «Боже, храни Польшу» и «Под Твою защиту». Начинается атака — «...женщины загораживают улицу, несколько ложатся прямо под гусеницы движущегося танка. Танк останавливается, потом, однако, снова двигается, решительно пробиваясь через людской кордон. Женщин, лежащих на земле, смывает в сторону струя воды из брандспойта. Без тени страха женщины вешают четки на дула танковых орудий».

Из-за неустрашимости собравшегося перед «Вуеком» населения, ЗОМО и милиции приходится воевать на два фронта. В боевые действия включаются жители близлежащего поселка.

«...фронтальное наступление на шахту. Массированная газовая атака. Танки разносят ворота возле котельной и возле железнодорожной платформы, почти начисто сносят хозяйственный склад. В возникшие бреши сыплется несметное число милиционеров, оснащенных щитами, шлемами, дубинками и слезоточивыми газами. Танки начинают артобстрел шахты холостыми снарядами, слышна дробь пулемета, какие-то отдельные выстрелы. Все тонет в тумане слезоточивого газа, пускаемого непрерывно. (...) Пришедшая на

помощь группа (...) начинает забрасывать штурмующих зомовцев камнями. Особенно решительны и бесстрашны женщины. Они не боятся ни воды из брандспойтов, ни газов, ни приказов милиции разойтись. Голыми руками они поднимают с земли контейнеры с газом и отшвыривают их в сторону усмирителей или в канал. (...) Отчаянные люди, помогающие забастовщикам, решили забаррикадировать узкий переулок, идущий вдоль забора шахты, чтобы танки не могли пройти. Они сталкивают с места стоявший неподалеку автофургон, ставят его поперек переулочка, выворачивают на бок. Это приводит к новой атаке милиции против них. Люди бегут в глубину поселка. (...) Спустя короткое время они снова собираются в группу».

«Баррикады мы, как нам казалось, сделали прочно, но после того, как первый танк штурмовал ворота, оказалось, что они — как семечки. Танки раздавили две первых машины с песком, словно спичечные коробки, и получилась брешь метров в 12. Эта брешь была сделана для атаки зомовцев. (...) Нас атаквали танкетки. В каждой сидела дюжина зомовцев, которые создавали оцепление: они выскочили сзади, а танкетки продолжали двигаться. Так они хотели замкнуть кольцо, чтобы полностью нас окружить. Потом они собирались нас оттуда выкурить, как крыс, и избивать. Но это им не удалось. Почему? Потому что люди были так взвинчены, такой у них был боевой дух, и, к тому же, мы на сто процентов были уверены, что армия боевыми снарядами стрелять не будет. А водители танкеток были армейские». (Штейгер с «Вуека».)

Шахта «Вуек» и рудник «Польковицы» — единственные достоверно известные случаи активной обороны, боев с атакующими силами ЗОМО, хотя в информациях не раз говорится также о том, что оборонялись шахтеры «Зофиювки».

«Раскаленные железные прутья продырявливали каски зомовцев, прутья проходили как сквозь воск. Так было убито двое атакующих». (Свидетельство с шахты «Вуек».) «Первого (зомовца. — Прим. варш. ред.), который ворвался в кухню, повар облил супом, а кто-то другой полил его из огнетушителя, замораживающего до — 70°, и сделал из него большую сосульку». (Свидетельство с рудника «Польковицы».)

«Была создана специальная бригада из четырех шахтеров. Двое с помощью брезентового полотнища ловили гранаты с газом, а двое быстро отшвыривали эти гранаты обратно. Другие неустанно качали

воду, чтобы увлажнить газ. Атмосфера была необыкновенно возбужденная, я слышал голоса: — А ну, шахтеры, покажем, чего мы стоим!». (Ксендз из Польковиц.)

На «Вуеке» и на польковицком руднике первая атака была отражена. Польковицкий шахтер говорит: «Мы могли еще некоторое время обороняться, но у нас был раненый, дымовая шашка сожгла лицо нашему молодому товарищу по работе. Надо было организовать ему помощь». Другое свидетельство с того же рудника: «...мы послали на переговоры с полковником ксендза. Нам дали час на переодевание, и потом мы вышли. Часть шахтеров хотела отступить в шахту, спуститься вниз. Даже разделились на группы. Я считал, что это не имеет смысла, и, похоже, был прав. Иначе кончилось бы, как в Силезии*. На этот раз нас постигло поражение, но этим дело не кончится, только — увы! — снова придется рабочему хребет подставлять. Мы защищались так долго, потому что нам сообщали, что из Любина идет подкрепление, несколько тысяч человек».

Перед тем, как оставлять предприятия, забастовщики, как правило, вступали в переговоры с армией, требуя гарантий безопасного возврата домой. Согласно большинству свидетельств, несмотря на полученные гарантии, ЗОМО часто атаковало выходящих. Так было в Польковицах, где «сплоченную группу идущих рабочих зомовцы пытались разогнать с помощью брандспойтов, — больше всего досталось тем, кто шел последними. Они промокли насквозь, а было 15 градусов мороза. Жители давали им потом свою одежду». (Ксендз из Польковиц.)

ЗОМО нарушало обещание, данное армией, даже там, где коллективы — несмотря на приготовления к

* Все остальные свидетельства относятся к Силезии в узком смысле — к Силезскому угольному бассейну (Верхняя Силезия, Катовицкое воеводство). Медный рудник в Польковицах находится в Нижней Силезии, во Вроцлавском воеводстве. — Пер.

обороне — предпочли пассивное сопротивление. Так было на Катовицком металлургическом комбинате:

«Бастующие потребовали от армии гарантировать им безопасное возвращение домой. Такие гарантии они получили. В 15.30 десять танков и ок. 3 тыс. зомовцев ворвались на территорию комбината. Бастующих гнали (...), не щадя ударов дубинками и пинков. Затем забастовщики должны были пройти между двумя длинными шеренгами зомовцев, стоявших в боевой готовности, с дубинками за обшлагом. Число бастовавших в последний день составляло 2 тысячи — часть из них, около трети, четыре часа продержали под арестом».

«За танками шли зомовцы. Они ворвались в прокатный цех, расталкивая нас и нанося удары дубинками вслепую. Мы не хотели покинуть цех, пока армия не гарантирует нам безопасности. Пришел армейский полковник, который гарантировал нам безопасный выход за ворота. — А за воротами что? — спрашивали рабочие. — Не бойтесь, вам ничего не грозит, — ответил он. (...) Из группы, которая вышла раньше, зомовцы вытаскивали людей по одиночке, били, арестовывали (в том числе тех, кто нес флаги). Подполковник довел нас до виадука за воротами комбината. Идя по левой стороне мостовой, уже на территории Голонога, мы пропели гимн».

Во время переговоров на «Вуеке» торги шли вокруг взятых шахтерами заложников (согласно одному свидетельству, это была команда танка, согласно другому — зомовцы). Шахтеры допрашивали их, угрожая бросить в шахтный ствол. Заложники вроде бы просили их сжалиться, клялись, что никогда больше не подымут руку на рабочих.

«Оказалось, что наши схватили капитана ЗОМО и трех рядовых. Один из них был в очень тяжелом состоянии, и его отправили на перевязочный пункт. Там была наша скорая помощь, которая отвезла его в больницу, — неизвестно, выжил ли он. А троих оставшихся — их мы хотели нормально повесить. Одни, говорят, хотели им головы рубить, другие — ноги-руки повырывать, разные предложения были. Отмечу, что перед атакой все мы молебен отслужили и Святых Даров причастились. И это подействовало: несколько из причастившихся, видимо, больше всего собой владели и не допустили этой резни. Мало того: когда мы разоружили капитана и этих зомовцев, оказалось, что только у офицеров было огнестрельное оружие, а у этих «серых» ничего, кроме дубинок и слезоточивых

газов да еще ракетниц для пуска этих газов. Время покажет, хорошо ли мы решили; во всяком случае, отдали мы этих заложников, потому что они прямо на коленях нас умоляли, чтоб мы их не убивали, потому что, вероятно, тогда мы сможем «договориться» с этим полковником. (...) Не знаю, может, мы сделали ошибку, но это потом будет ясно. Выпустили мы заложников, оружие отдали, в какой-то момент в наших руках был даже один танк, но оказалось, что солдаты вели себя порядочно (части из Бжега, Скажиско и Ополье). (Штейгер с «Вуека».)

«Шли переговоры с шахтерами, которые пригрозили лишением жизни заложников в случае огнестрельной атаки ЗОМО. Шахтеры хотят, чтобы части ЗОМО были отведены, и тогда разойдутся по домам. Главнокомандующий акцией сил порядка соглашается на это условие и дает гарантию неприкосновенности на 24 часа. Гарантия эта была нарушена. В ту же ночь начались аресты. В 1.30 шахтеры выходят. Заложникам волоса на голове не тронули». (Свидетельство с «Вуека».)

Прекрасно описание выхода шахтеров из шахты — в свидетельстве ксендза из Польковиц:

«Мы хотели идти все вместе, кавалькадой. Нам предложили автобусы, стоявшие кордоном вокруг шахты. Мы отказались. Построились в шеренги по восемь человек. Шахтеры, которые раньше хотели остаться, говорили: «Пусть уж лучше нас застрелят». Мы пропели «Еще Польша не погибла». Солдаты стояли по стойке «смирно». Зомовцы поигрывали дубинками, и я подумал, что это очень важно, что среди выходящих есть священники. Солдатам ведь говорили, что им придется сражаться с бандитами. Думаю, что, несмотря на этот плач над нашим поражением (...), это все-таки была победа. Раздавались возгласы: «Да здравствует 'Солидарность'», «Да здравствует Валэнса», «Хотим свободной Польши». Это была демонстрация: мы идем, хоть и знаем, что могут стрелять. Это была победа, но эти молодые, горячие головы переживали это как великое поражение».

«Нас пугали, что мы будем работать по 12 часов, что нам прикажут заплатить за разрушения в шахте. Нас пугали, что нас будут допрашивать, чтобы найти главарей. Я думаю, что они главаря не найдут. Все мы были главарями — все, сколько нас было, — две с половиной тысячи мужиков. (...) Люди готовы умереть за все это. Они против нас используют пулеметы, а сказали, что ни одна капля крови не прольется. Они нас коварно обманывают. Я одно лишь

могу сказать: только теперь пришла солидарность, такая солидарность возникла между людьми, и только теперь они узнают, что это такое — быть солидарным». (Штейгер с «Вуека»).

ЭПИЛОГ

«На следующий день никто не был в состоянии установить, скольких людей не хватает, кто погиб, кто арестован, кто скрывается. Женщинам, которые в отчаянии обращались в милицию узнать о пропавших близких, отвечали: — Не допытывайся, а то ему еще хуже будет». («Четвертое Силезское восстание».)

«17 декабря, 8.30 — все ограждение вокруг «Вуека» разрушено. Бульдозеры выравнивают территорию. У ворот, неподалеку от котельной, — крест. На его поперечине — семь шахтерских ламп. Первые цветы и свечки. Развалины и воздух все еще полны отравляющим газом. Женщины молятся. Одна фраза повторяется чаще всего: «Мы им этого не забудем». Погибли молодые парни (24-26 лет). Самому старшему было чуть больше 30-ти».

«27 января умерла двенадцатая жертва кровавого усмирения «Вуека». Крест, поставленный в память трагедии, в ночь с 27 на 28 января был сломан. Увидев это, шахтеры первой смены не стали спускаться в шахту. По распоряжению комиссара разрешили слезать новый, дубовый крест и поставить его в том же месте».

Один из рассказчиков, шахтер в третьем поколении, сын повстанца 1921 года, закончил: «Подождем до весны». Спрошенный, что это значит, он ответил: «Поднимем восстание. Мы, силезцы, не забываем. Мы ничего не забываем». («Четвертое Силезское восстание».)

*
*
*

Текст «Силезия, декабрь 1981» возник на основе полутора десятков свидетельств участников и наблюдателей событий, самиздатских материалов (напр., «Четвертое Силезское восстание», «Правда свободных поляков»), наконец — разговоров с жителями Силезии и угольного бассейна (наш текст, посвящен-

ный событиям в Силезии, включает также, ввиду огромной документальной ценности, свидетельства из Польковиц). Мы отдаем себе отчет в том, что представленная тут картина еще сохраняет многие пробы и неточности.

Редакция сердечно благодарит Ю. Б. и Мартина Мроза, благодаря которым этот текст мог быть составлен.

К 70-ЛЕТИЮ АКСЕЛЯ ШПРИНГЕРА

Дорогой наш друг Аксель! Ты занял в трудной жизни нашего изгнания такое место, что мы считаем за честь назвать тебя сегодня своим духовным братом по борьбе за свободу и счастье во всем мире. И хотя ты находишься сейчас в Берлине, эхо твоей благородной деятельности отдается во всех уголках земли. Воздаваемые тебе в этот день почести все равно не смогут по достоинству увенчать сделанное тобою во имя Милосердия и Справедливости за долгие годы твоего поистине подвижнического и бескомпромиссного труда. Мы гордимся тобой, дорогой Аксель!

*Мстислав Ростропович,
Галина Вишневская*

СКАЖИ МНЕ, ГДЕ ТВОЙ БРАТ АВЕЛЬ?

Свидетельство очевидца

Я этих историй знаю полно, но только о первых годах лагерной жизни рассказывать больше не стану. Хватит. Сам вижу, конца этому не будет. Ну, что прибавится, если напишу, как конвой избивал нас в этапе, как молотком позвонки мои достали и руку сломали у самой кисти. Или о том, как на нашем лагпункте отравили несколько сот человек и что с тех пор руки мои ходуном ходят и вкус обморока на моем языке...

Я расскажу о периоде более интересном. Для меня он начался в 1949 году. Это когда нас отделили от блатной братии и согнали в Озерлаг. Там совсем другая жизнь началась. Правда, режим строгий, номера повесили. Но зато люди какие! Со всего света. Французы, испанцы, японцы — все были. Даже матроса из Израиля привезли. О стране такой мы тогда не слышали и потому табуном ходили смотреть на чудо такое.

Так пару месяцев прошло, а потом слухи поползли по зоне — один другого тревожнее.

Голод. Страх. Вот потому и потянулись литовцы к литовцам, украинцы к украинцам, безумцы к безумцам, подонки к подонкам, корейцы к корейцам...

У нас тоже группа была. Все молодые и совсем разные. Был испанец, еврей, западный украинец, русский из Манчжурии, потом из Башкирии Пашка Первухин и Колька Купцов — из Харькова. Нас собрали из разных лагерей. Мы к тому времени уж лет по пять отсидели с уголовниками.

Всех нас можно упрекнуть в беспринципности, но в той жизни были другие законы. Там все другим было. Там и другом становился не тот, кто исповеды-

вал схожие взгляды, а тот — кто потеснился на нарах, с кем докурил окуроч, кто нашел в себе силу не отщипывать от твоей пайки, когда тебя не было рядом с ней. Высшим достоинством в наших глазах была способность человека противостоять голоду, насилию. Другого критерия мы не имели. Национальность, идеология в счет не шли. Да и не было у нас тогда идеологии, мировоззрения. А то, что нам досталось от родителей и школы, оказалось полностью непригодным.

Так вот мы и шли. Вместе легче было. Мы были просто — товарищами.

Потом приехал на лагпункт Глеб Слученков, а чуть позже и Феликс Карелин. На этом кончилась наша идиллия. Но я по порядку. Сперва о Глебе.

Я был в лагерях, с уголовниками, на Дальнем Востоке. В то время блатной мир раскололся. Война шла между «суками» и «ворами» (ворами звали приверженцев старого воровского закона, а суками — реформистов). Резня была настоящая. В 1948 году к нам с бухты Ванина пригнали целый вагон «сук». На нашей штрафной колонне воров они перерезали и власть взяли в свои руки. Среди них был и Глеб. Там я его увидел впервые. Потом, через год или два, я встретил Глеба в Тайшете, в спецлагере, на проверке. Было у нас несколько воров, но я был далек от их дел и в тонкости не вникал. Не подумав, подошел к Глебу и сказал, что видел его на штрафной колонне в 1948 году. Глеб улыбнулся и сказал:

— Нет, вы ошиблись, никогда я не был на штрафной колонне и на Дальнем Востоке не был.

Позже, когда мы познакомились ближе, Глеб мне сказал:

— Если б тогда на поверке ты стал настаивать на том, что именно меня видел на штрафнике, я бы тебя, конечно, убил.

Вот так я познакомился с Глебом Слученковым.

Отец у Глеба был коммунист, партийный работник, а мать — врачом работала. Жили в Рязанской области. Сына своего — Глеба, они называли Энгельсом. Имя глупое, но тогда мода была такая. В 1931 году отец застрелился. У матери работы было полно. Все по селам ездила, а Глеб рос как мог. Мальчишка увлекающийся. Столкнулся с уголовщиной, увидел в ней романтику — и ушел.

Имя свое не любил. Александром себя назвал. Но еще больше он любил имя Глеб. Так вот его и звали — то Сашей, то Глебом.

Худой, среднего роста, чуть сутулый, прихрамывал. Мне он запомнился смуглым, черноволосым, но, говорят, он блондином был. Глаза большие, темные, сверлящие. Я его взгляд затылком чувствовал. Подходил он тихо, по-кошачьи. Губы тонкие, улыбка холодная, стеклянная, неопределенная. Мир видел в ярких красках, и, конечно, парень он был незаурядный. Наверное, перед взглядом вот таких худышек трепетали здоровые лбы на громадных парусниках.

Помню случай, это когда у нас еще организации не было, кто-то из ребят о чем-то проболтался. Хуан Руис Гомес утверждал, что это Пашка Первухин выдал тайну, а Пашка отрицал и валил все на Хуана. Хуан назвал Пашку предателем, лгуном и предложил решить спор ножами. Ребята они хорошие. Тут просто недоразумение произошло. Мы понимали это, а они завелись, как петухи лезли друг на друга. Вечер был, мы стояли за баракom и умоляли их прекратить возню. Быть бы беде. Но тут Глеб подошел, постоял, послушал и тихо сказал:

— Хватит, а ну разойдись.

Мы пошли, как дети. Стыдно было за всю эту дурь. Уж больше никто не вспоминал о ней.

Глеб с собой нож не носил. Мне он так объяснил это, говорит, что когда нож у него при себе, то сам он прыгает в руку...

А еще помню, Глеб сказал, что если попадем на этап, то оденемся хорошо. Я спросил, за чей же счет. Глеб ответил, что есть порода людей, которых сам Бог велит грабить... Глеб считал себя христианином. Но верил как-то чудно. Нравилась ему поэма Некрасова, в которой Бог прощает грехи разбойнику за то, что тот убивает жестокого барина.

Во время войны Глеб, прямо из тюрьмы, попал в штрафную роту. Помню его рассказ, как он в поселок на разведку ходил. Пришел в поселок, а там немец у сарая стоит и никак мимо не пройти не замеченным. Деваться некуда, нужно убивать, да тихо это сделать надо. Немец что-то насвистывает и свистит так красиво, что жалко мелодию обрывать. Но зима, долго не пролежишь, холод пронизывает, вот и пришлось штыком колоть.

Потом Глеб попал в плен. К ним в лагерь приезжали набирать в РОА. Глеба поразили слова о России, Боге, царе, о евреях, коммунистах, масонах. Сашке мир другой открылся. Он увидел его и полюбил: да так, как никогда ничего не любил. Воевал в рядах РОА. Кажется, в Югославии или в Болгарии, их использовали против партизан. Из его рассказов мне запомнилось такое. В поле розы растут, все поле было в них. По этому полю гнались они за партизанами, а потом искали их в цветах. Недалеко от дороги наткнулись они на убитого юношу. Лежит он на спине, голова рассечена осколком. Мозги наружу. И вот на лице, на мозгах, на всем этом месиве — лепестки роз.

Думал Глеб, что немец поможет России избавиться от коммунистов, а уж потом русские сами своими силами прогонят немцев. Все это видел Глеб ярко. Воображение у него было богатое, любил он такую

Россию и пострадать хотел за нее. Правда, не знал толком, как это сделать надо.

К евреям отношение было любопытное. Среди его знакомых таковых было немало. Но мир, в котором жил Глеб, держался не на трех слонах, а на еврейском вопросе. Потому он и придавал этому вопросу перво-степенное значение. В сионизме, в еврействе он усматривал главную опасность для человечества, и ловко это у него получалось. Я много спорил с ним. Помню, раз спросил:

— Ну, ты скажи, чем сестра моя провинилась перед Россией? Живет в деревне, замужем за русским. Сажает картошку, свеклу, капусту квасит, грибы солит.

Глеб объяснил так:

— Сестра твоя не виновата, но она еврейка, и это для нее и для всех евреев сионисты и масонские мудрецы хотят мир поработить. В этом-то и есть вина тех евреев, которые будто бы ни в чем не виноваты.

А то еще так было — я как раз в карцере сидел и разговор этот мне ребята потом передали. Они у Глеба спросили, как в будущем поступят с евреями, которые вместе с русскими борются против большевиков. Глеб сказал:

— Мы этим евреям поставим памятник и уничтожим их.

Я после спросил у Глеба об этом, он ответил, что ребята что-то спутали и не то мне сказали. Губы у него были тонкие, а улыбка стеклянная.

Портрет Глеба будет неполным, если я не скажу, что он обладал всеми качествами вождя. В своих поступках он руководствовался не только любовью к родине, но самолюбием, властолюбием. Понятие о нравственности имел смутное.

Умел укладывать события в нужный ему порядок, а если они в него не укладывались, то провоциро-

вал их до той поры, пока не загонял в требуемую последовательность.

Но все это я понял потом, через много лет.

Глеб сложный, о нем и рассказывать не просто, а вот о Феликсе совсем не знаю, как говорить. Он — как оборотень. Что б ни сказать о нем, все окажется правдой.

Отец его был видным чекистом и близким другом Феликса Дзержинского. Это в честь него он так сына своего назвал. Потом отца расстреляли. Во время войны Феликс был в армии. Полк их стоял под Ленинградом. Что это за полк и почему ему не пришлось воевать, я не знаю. Феликс был комсоргом в роте. У него даже заслуги были: он разоблачил солдата. Болтал тот лишнее. Феликсу вынесли благодарность и сказали, что солдат тот шпионом оказался.

После войны Феликс вернулся в Москву. Работал электриком в лаборатории при университете.

С Кузьмой у Феликса получилось так. Кузьма жил у Красных ворот. Мать у него умерла, когда он еще в седьмом классе учился. Голодно было. Пришлось бросить учебу и пойти работать проводником на железную дорогу. Умный, талантливый. Ребята любили Кузьму. У него всегда интересно было. МГБ, конечно, заинтересовалось. Вызвали Феликса и дали ему задание — познакомиться с Кузьмой и его друзьями. Феликс так и сделал — познакомился, но дальше пошло не по плану. Ребята ему понравились. Он им все рассказал о себе и написал заявление в МГБ о том, что группа не является враждебной, что взгляды ребят ему близки и поэтому впредь сотрудничать с органами МГБ он отказывается.

Вскоре Кузьму с товарищами арестовали. За ними и Феликса.

На следствии Феликс вел себя мерзко. Многие ребята своими сроками обязаны ему.

После суда Феликса привезли в наш лагерь, а мы уж там старожилами были. Правда, приморенными. Годами наши серые тени жались к баракам, а тут вдруг Феликса увидели. Он только с воли приехал. В кителе, в хромовых сапогах, аккуратный, красивый, блестящий. К тому же все знает. Ничего подобного мы не видали, даже на воле. Правда, мне еще на Лубянке встретился Белинков. Но я тогда не был готов к такой встрече. К тому же, его интересовала только литература, а я хотел хоть как-то разобраться в жизни. У Феликса же литература, история, философия, религия и всё вообще вязалось в один узел. Я уж говорил, что прежнее мировоззрение было нами утеряно, а нового не имели и не искали, не до него нам было. А Феликс приехал бодрый. Он сразу взялся за поиски нового мировоззрения. Он любил искать его вслух, было интересно следить за этой работой. Феликсу я многим обязан. Это от него я узнал, что мир красивее и больше нашего школьного, выцветшего глобуса. В цветах и красках я увидел: народы, страны, цивилизации, мессий, лжемессий, богов, поэтов, флибустьеров. Это от Феликса я услышал историю моего народа. История эта меня волновала. Я хотел узнать многое из того, что скрывали от меня взрослые дома и в школе. Я хотел понять причину, заставившую моих близких и даже самых умных из них стыдиться, бежать от своего еврейства. Но сейчас я не хочу трогать этой темы, чтоб не отвлечься от начатой.

В поисках истины Феликс был последователен. Он всегда шел до конца. Пока не приходил к другой. На наших глазах он проделал большой путь и остановился на христианстве. Христианство Феликса в разное время выглядело по-разному. Под влиянием Глеба оно качнулось в сторону панславизма, а в изоляторе христианство еврея Феликса Карелина стало резко антисемитским.

Я только потом понял, что истину он искал не ради ее самой, а ради того, чтоб стать предтечей идеи, которая вот-вот придет в мир. Бес тщеславия толкал Феликса искать, строить, проповедовать. Покою не было ему. К тому ж, он никогда не умел соразмерить свои желания с возможностями. Феликс сам выбирал свою ношу, сам поднимал и всегда падал под ее тяжестью. За минуты топтания возле славы он платил годами позора. Господь дал ему умную голову и сердце ублюдка. Его всегда затягивает в шестерни собственной машины, и он обязательно тащит за собой всех, кто был хоть как-то связан с ним. Многие считают его провокатором, а я с этим не согласен. Это сейчас он научился извлекать пользу из своего уродства. А раньше он благополучным не был. Выгоды не имел. Было б слишком здорово, если б только одно это слово — провокатор — могло все объяснить.

Я могу только догадываться, но точно не знаю, откуда пошел этот слух, он не походил на обычную лагерную «парашу». Уж больно много подробностей было в нем. Рассказывали, что пришел приказ из Москвы — расстрелять политических заключенных. Говорили, что совещание было в управлении. Обсуждали, как проще это сделать.

Мы решили создать организацию, способную оказать сопротивление. Руководителем одни хотели Феликса, другие — Глеба. Потом решили, что хоть Феликс и умный, но мало знаком с лагерной ситуацией, а нам нужен был вождь с твердой рукой. Такая рука была у Глеба, поэтому выбрали его, а Феликса назначили заместителем. Вроде все было как прежде. Мы оставались товарищами, но только Глеб стал руководителем, а Феликс — его помощником.

Теперь мы имели программу, устав, клятву. Дел, конечно, прибавилось, к тому же мы еще на работе ума-

тывались. Но жизнь приобрела смысл — правда, ненадолго.

Снег уже сходил, кажется, в мае это было. Глеб сказал, что среди нас есть провокатор. Глеб догадывается, кто этот гад, но скоро точно узнает, кто он. Так между нами пошли трещины. Мы уж больше не могли, как прежде, глядеть друг другу в глаза. Нам бы рассыпаться надо, но нас теперь крепко держал обруч — организация.

Через несколько дней Глеб сказал Аркадию, что провокатором оказался Феликс. Выдать он нас еще не успел, поэтому нужно срочно его убить. Аркадия Глеб назначил старшим, а в помощь ему дал Кольку Купцова и Пашку Первушина. Вечером ребята заташили Феликса под вагон. Он все отрицал. Потом стал молиться. Колька ударил его кулаком по лицу и уж хотел душить, но Аркадий не дал. Пашка держался в стороне. Затем они пошли в сушилку, где ждал Глеб. Аркадий сказал ему, что в лучшем случае это было ошибкой, а в худшем — Глеб просто решил перебить своих же ребят. Плечо Глеба дрогнуло, но Аркадий этого ждал. Нож был и у него. В сушилке тускло горела лампа. Так они стояли. Потом Глеб сказал:

— Ладно, хватит. Мы этот разговор кончим потом. Мне очень жаль, но сейчас не до этого, обстоятельства не дают нам такую возможность.

Прежде чем перейти к обстоятельствам, о которых жалел Глеб, я хочу рассказать об Аркадии. Говорить о нем просто и хорошо, благо сделан он из цельного куска.

Так глупо получилось, что я не могу назвать его фамилию. Помню монгольские глаза. Волосы жесткие, черные. Русский он, а похож на азиата. К стыду своему, о семье его почти ничего не знаю. Помню, что отец его, Иннокентий, забайкальский казак. В гражданскую войну их сотня, отступая, ушла в Маньчжу-

рию. Там отец работал на железной дороге рабочим. Семья большая, жилось трудно. Отец воспитывал Аркадия в традициях казачества, да и все эмигранты так детей своих воспитывали. Мальчишки с малых лет состояли в казачьих Союзах. Ребята мечтали, как будут воевать, как на лошадях вернуться в Россию, как рубать, колоть будут жидов и комиссаров, как вольно заживут на земле отцов...

В Россию они вернулись иначе.

В 1944 году начались массированные передачи из СССР, рассчитанные на русских эмигрантов.

Далекая родина называла их сынами. Диктор называл своими братьями. Рассказывал, как дорога русскому сердцу родина, церковь, традиция. Говорил, что нет больше конфликта, что пора забыть неурядицы далекого прошлого, главное не то, что разделяет, а то — что объединяет. Главное, что все они русские и что сил больше нет жить в разлуке.

Эмиграция дрогнула. Старики и те поверили. Говорили молодым, что нужно помогать своим — русским, что вот хоть сами они и воевали против коммунистов, а и то мести не боятся, а уж детям, которые и России-то не видели, совсем бояться нечего. Говорили, что Русь теперь почти как прежняя: и погоны там теперь, и офицеры, и генералы есть, георгиевские кресты и те в почете.

Пропаганда сделала свое дело, и когда советские войска вошли в Харбин, то власть там была в руках русских эмигрантов. Встречали цветами, хлебом-солью. Плакали от радости, у некоторых на рукавах были красные повязки. Эмигранты стали разведчиками, проводниками, переводчиками, а позднее — и заключенными.

Стариков судили за грехи прошлые, а молодых за то, что были в казачьих Союзах. Им всем по пятнадцать лет сроку дали. Аркадию тогда исполнилось семнадцать лет. А вот детей малых, женщин да старушек

в Россию везли так просто, без срока, в телячьих вагонах.

Аркадий любил дочку богатого соседа. Он с отцом дрова им колол и пилил. Умерла она от туберкулеза. Любил ее очень. Любил все время. Он как-то мне рассказал о ней, а больше никому не рассказывал.

Лицо у Аркадия строгое, хмурое. Всегда аккуратен. Застегнут до последней пуговицы. Смелый, добрый и очень честный.

Я, пожалуй, больше, чем кого-либо из ребят, любил Аркадия.

А теперь об обстоятельствах.

Не помню, каким этапом прибыл Хлебко. Его привезли из армии. Он капитаном был в артиллерии. Лицо энергичное, светлое и какое-то очень европейское. Думаю, ему тогда лет тридцать было. Он считал, что мелкие группы мешают общему делу, что нужно объединить их и, не дожидаясь репрессий со стороны начальства, самим начать восстание. Хлебко удалось привлечь на свою сторону многие группы. Он и нам предложил объединиться с ним, но Глеб относился к нему настороженно. Говорил, что Хлебко действует опрометчиво.

Все переговоры от нашей группы с Хлебко велись только Феликсом и Глебом, поэтому все, что мы знали о нем, мы узнавали только с их слов.

Наш лагерь охранялся войсками МГБ. В зоне у нас была баня. По воскресеньям солдаты строем в пятьдесят человек ходили мыться в нее. Хлебко хотел запереть солдат в бане. Переодеть ребят в их форму и строем выйти через вахту. Затем предстояло броситься на гарнизон, разоружить его. Хлебко рассчитывал освободить соседние лагпункты и поднять настоящее восстание.

Осуществление плана было назначено на ближайшее воскресенье. Глеб хотел действовать самостоя-

тельно, но обещал Хлебко полную поддержку в момент начала восстания.

В сушилке Глеб нам сказал, что он давно подозревает Хлебко в том, что тот действует по заданию МГБ. Теперь Глебу стало доподлинно известно, что план восстания задуман для того, чтобы дать повод охране перебить нас. На нашу группу ложится задача сорвать провокацию. В лагерях бывало всякое. Случалось и такое. Глеб говорил убедительно, мы ему верили.

Была пятница. В воскресенье начнется восстание. Было решено в субботу убить Хлебко. Сделать это Глеб поручил Феликсу.

Барак на ночь запирались. Перед отбоем Феликс пришел ко мне. Мы простились, и он ушел. Он ушел в барак, где был Хлебко, с собой Феликс взял библию и два ножа. Он молился всю ночь. А утром было солнце. Феликс подошел к спящему, откинул край одеяла. Хлебко открыл глаза, увидел Феликса, ножи и крикнул:

— Феликс, ты что??

А Феликс ему: — Смерть провокатору! — и стал колоть ножами.

Людей было много, но на помощь никто не пришел — все были парализованы.

Потом Феликс пошел на вахту. Отдал охране ножи и сказал им, что убил провокатора.

Вечером всю нашу группу заперли в БУР, а потом отправили в центральный изолятор.

В первый же день следствия Феликс выдал всех. Ребята держались хорошо.

Потом вдруг показания стал давать Глеб. Всю ответственность за дела организации и за убийство Глеб взял на себя. Следствие было долгим и запутанным. Месяца через два Глеб вдруг заявил, что он явля-

ется членом русской националистической организации и действовал по ее заданию. После этого следствие совсем зашло в тупик.

Глеб сидел в смертной камере. Потом приговор ему заменили и отправили в Джезказган. Там Глеб стал одним из руководителей восстания. Об этом периоде его жизни я знаю только из книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг». Там в части 5 в главе 12-й подробно сказано о восстании. И о Глебе там есть.

Николай Купцов умер в изоляторе. Ничего не знаю об Аркадии, о Павле Первушине, о Хуане, о Петьке Беленчуке. Ни о ком ничего не знаю.

А вот Феликса видел в Москве, и не раз.

Странно, ни умным, ни талантливым он мне больше не казался. Путь его все так же тернист. Он по-прежнему проповедует, очаровывает, предает. В августе 80-го года он предал Якунина. Вот два года, как я уехал из России, и не знаю, кого он предал за это время.

На днях я опять услышал о Феликсе. Он сейчас сотрудничает в черносотенном журнале «Многая лета». Журнал этот подпольный, но так как его направление полностью совпадает с направлением политики КПСС, то издается он на площади Дзержинского, как раз против магазина «Детский мир».

Вероятно, о всем этом надо написать подробней, но мне надоело копать в Азёфовщине-бесовщине. И потом — я просто устал.

Религия и философия

Вадим Я н к о в

НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ

1. Ветер рационально-либерального мышления, начавшись в Европе, а затем перекинувшись во все страны мира, повсеместно развеивал или пытался развеять древние культурные образования: социальные уклады, цивилизованные круги, мировые религии. Ему почти всегда приходилось наталкиваться на встречное сопротивление. Часто первое соприкосновение только разжигало тлевший издавна огонь, старое культурное начало вспыхивало свежим костром, и лишь спустя несколько поколений, когда догорали запасы топлива, оказывалось каким-то образом возможным соединение его с рациональной мыслью и с идеями свободы и народовластия.

Но, сметая культурные пласты, рациональное мышление в какой-то момент приходит в соприкосновение с пластами, по видимости природными, — с человеческой *национальностью*. Во многом это ощущение ошибочно. Структура национальности создана из материалов разного типа. Среди них, вероятно, имеются и природные, расовые, генетически определяемые, воплощенные в спектре национальных темпераментов, в динамике характеров, в наборе специфических одаренностей. Но над ними высятся надстройки культурного типа.

Прежде всего язык. Формально он обычно и определяет национальность, отделяя ее от других. Но, конечно же, его специфический внутренний строй, связанное с ним народное образное мышление вносят

свой вклад в сугубо национальное видение мира, как-то определяют формы понимания и выражения. Таким же глубоким пластом оказывается система народных обычаев и ритуалов бытового или же полубытового или живого религиозного смысла. Ее дополняет своеобразная структура взаимоотношений людей друг с другом.

Еще выше — собственно народная культура: фольклор, музыка, танцы, ремесла, формы бытовых предметов, в частности структура жилища как некоего микрокосмоса национальности.

И, наконец, на самом верху — высокая культура, уходящая в универсальное и все же впитывающая в себя соки национального, а с другой стороны, возвращающая нечто, ощущаемое национальностью как свое.

Все эти компоненты в каждом отдельном случае образуют уникальное сочетание и могут вбирать в себя элементы более широкой цивилизации. Иногда мировая религия так тесно сплавляется с национальностью, что кажется составляющей ее ядро. Иногда она отходит на задний план, а народ видит себя прежде всего в бытовом, ритуальном, языковом началах.

2. Но когда под воздействием рационалистического мышления рушатся связи великих религий, объединявших языки в надязыковом живом единстве, единство национальное начинает представляться чем-то природно-естественным. Этому, конечно, немало способствует хозяйственно-социальное развитие, создающее в ряде случаев новые связи, конституирующие страну, но феномен имеет и духовные основания, действующие и в тех случаях, когда национальность расплывлена между разными политическими образованиями.

Великая религия обладает некоторой конкретной универсальностью, и ослабление великой религии связано с утратой этой универсальности. Я понимаю под этим ту целостную картину мира, которую дает рели-

гия, картину, расписанную красками святости, долга, спасения, картину, в которую вовлечена любая человеческая личность, исповедующая религию, причем вовлечена всем своим существом, — словом, картину мира, в котором человек находит смысл себя самого, смысл конкретный и осязаемый. При этом религия по сути своей обращена ко всем людям, а потому имманентно общезначима, подлинно универсальна — всё, разумеется, при условии ее принятия. Сказанное относится и к таким культурным образованиям, как китайская цивилизация, например, чьи характерные черты во многом отличаются от всего религиозного, зародившегося к западу от Гималаев.

Итак, ослабление великой религии связано с замутнением этой картины мира. Рациональное мышление пытается дать вместо конкретной универсальности религии свою, основанную на разуме и опыте универсальность, но она оказывается недостаточной заменой — она абстрактна. В самом деле, в ее основе лежит естественно-научная картина мира, сама по себе не дающая смысла конкретному человеку с его неповторимым местом в мире. Конечно, она дополняется рационалистическими системами морали и естественного права, открывающими перед человеком измерения свободы и равенства, но и они абстрактны — люди уравниваются как представители видового начала (например, как носители разума у Канта), свобода во многом формальна и способна отпугивать при отсутствии какого-нибудь дополняющего начала. Конкретное, воплощающее в себе однократный незаменимый смысл, отсутствует. Здесь-то и вступает в дело национальность, давая, с одной стороны, некоторое воплощение абстрактной универсальности разума, его конкретизацию, сопряженную, конечно, с искажением первоначального смысла, и выступая, с другой стороны, заменой ослабевшего религиозного начала.

В этом рациональный (или псевдорациональный) и мистический полюсы явления национализма.

3. Рационализм, расчет всегда входили в жизнь разных слоев народа, в особенности слоев городского населения, и равным образом входили в нее связанные с ними рационалистические правила моральной жизни. Универсальное рационалистическое мышление требует теперь, однако, чтобы вся целокупная жизнь была построена на началах рациональности — провозглашается, что для человека естественно то, что основано на его естественной силе разума. Национальность и предстает человеку как природный естественный материал для рационалистической аргументации. Подлинное оружие *ratio* скрыто, конечно, в лабораториях логиков, философов и ученых, там оно оттачивается и шлифуется, там всё более и более выясняется его природа, там делаются попытки создания систем с его помощью, но для масс такое оружие недоступно, им нужен зримый образ рациональности, ее конкретное воплощение — и вот это воплощение найдено, и можно уйти в него, укрыться от отталкивающей абстрактности разума.

Формы народного быта, приемы рассуждения, народная система ценностей представляются теперь таким естественным воплощением разума. Собственно говоря, естественными они представлялись всегда и везде. Новым моментом является их понимание как универсально разумных; в народную жизнь вкладывается пафос претензии на общезначимость, общечеловечность. Какое-то смутное сознание этнической и локальной обусловленности все же остается: «мы такие», «у нас так принято». Но это сознание прекрасным образом соседствует с представлением о том, что именно принятое у нас является наилучшим. Для рационалистически-морального национализма важен фон других национальностей, других моральных и бытовых укладов.

Инонациональный тип обычно является в националистическом сознании чем-то однородным и недифференцированным. Для массового человека разнообразие характеров доступно только в пределах его национального мира. Что касается других национальностей, то они для него просто украинец, просто казах, просто еврей — и все эти типы воспринимаются как то или иное отклонение от естественного (степень определяется уровнем знакомства, контактов, традициями и другими конкретными факторами). Знакомство с ними только подтверждает здоровое убеждение в моральном превосходстве своей собственной национальности — она и только она воплощает в себе естественные ценности жизни и этики. Характерно, что национализм очень часто использует рациональные (т. е., казалось бы, общечеловеческие, общезначимые) аргументы, но почти никогда применение этих аргументов не заканчивается признанием превосходства какого-либо инонационального уклада над собственным. Всегда с логически безупречной ясностью они обосновывают противоположное — превосходство собственной нации.

4. К этому моменту привходит другой: национальность выступает как замена конкретной универсальности религии. Это не всегда означает упадок самой религии; она продолжает свое существование, но национальность перестает ощущать себя в первую очередь как часть народа верующих (христиане, мусульмане) — на первое место выдвигается национальная религиозная жизнь. И дело здесь не только в переходе к культу на национальном языке и не только в борьбе за региональную церковную организацию. В самом национальном начале ищется теперь дополнение к умаляющейся конкретности религиозной жизни. Умаление это тесно связано с возросшей рациональностью образа жизни, с ее проникновением в гущу народных слоев, с расколдованием мира, с утратой первоначальной магичности. Религия также начинает невольно

толковаться и ощущаться рационалистически. Ее непосредственная магийность более не ощущается живо. Место и смысл, которые она дает в мире человеку, недостаточно теперь конкретны, нужна более живая конкретизация — и вот она обретается в конкретности национального.

Национальное получает облик святости. Теперь оно подлинный священный дом человека. Священны народные обычаи, священны традиции, язык (до какой глубины может дойти это ощущение святости, можно понять, вспомнив стихи Гёльдерлина). Народ начинает заслонять собою вселенскую церковь, причастность ему становится источником жизненных сил. Как во времена, предшествующие появлению великих религий, *civitas populi* выдвигается на передний план. Но если тогда племенные образования формировались вокруг локальных магийных культов, то теперь таким культом становится сама национальная жизнь.

Здесь часто требуется дополнение в демоническом, оскверняющем, и другие народы с чуждым и непонятным укладом жизни подходят для такой роли. Они начинают ощущаться не как просто нечто ушербное, но как враждебное конкретное воплощение космического зла. В этом — источник самых опасных и разрушительных форм национализма.

5. Рационально-моралистическое и мистическое начала в чистом виде — только полюсы национально-самоощущения. Они вплетены как моменты в конкретную и сложную историю Нового времени, т. е. историю становления индустриального общества и его распространения по миру. Судьбы национализмов оказываются связанными с социальным и политическим развитием. Говоря абстрактно, нация представляется естественной основой для массового, индустриального государства. Реально же национальные и государственные границы не повсеместно совпадают, и в зависимости от конкретной констелляции и под влия-

нием других факторов национализмы принимают ту или иную конкретную историческую форму.

Типика этих национализмов заслуживает серьезного изучения как в историко-фактическом, так и в абстрактно-социологическом плане. Явно отличаются между собою национализмы наций-государств, изначально не знавших проблем собирания и явившихся источниками современного развития (Англия, Франция), национализмы наций разделенных, вынужденных затратить значительные усилия на обретение государственности (Италия, Германия XIX века), национализмы имперских наций (Россия). На всё это накладываются различия, вызванные традициями и степенью подготовленности к восприятию индустриального и либерально-рационалистического начала, а в связи с этим различия в возможности сочетать национализм с гуманитарными универсальными тенденциями. Там, где это удавалось, национализм мог оказаться творческою силою, дающей свой вклад в мировую культуру. Там же, где это не удавалось, национализм мог обрести исключительную форму, и — независимо от того, базировалось ли это на рационалистическом самовозвеличивании или на мистическом самообожествлении, — результатом являлось саморазрушение культурных национальных потенций.

Религиозные и вообще цивилизационные универсалистские влияния могут смягчить исключительные тенденции национализма в пределах, разумеется, универсализма, им свойственного (общехристианский или общемусульманский мир). Синтез поэтому здесь может оказаться благотворным. Известное умеряющее влияние оказывает на первых порах и псевдорелигиозное движение марксистского типа, соединяющее предполагаемый рациональным универсализм с конкретной мифической картиной осмысления мира. Но в конечном счете псевдорелигия теряет свой пафос, и в образовавшейся пустоте могут пышно расцвести воскресшие

национализмы. Почвой их будет теперь разочарованность в универсальном, духовная опустошенность, и следует ожидать, что именно они примут самые разрушительные, отталкивающие формы, как мистические, так и рационально-эгоистические.

6. Является ли национализм последним и окончательным словом в осуществлении человеческих устремлений обрести укрытость в коллективном, или же возможно развитие, связанное с его преодолением или хотя бы умерением? В мире всё еще идет работа сил, поднятых Просвещением, сил разума, свободы, хозяйственной организации, хотя затмеваемая порою взрывом встречной реакции дорациональных укладов. Конечно, в настоящий момент, как кажется, человечеству предстоит решать и новые глобальные проблемы — демографическую, экологическую, истощение ресурсов. Кроме того, реакция на силы Просвещения достигает таких размеров (в экспансии советского империализма, например), что возникают опасения за саму судьбу этих сил. Поэтому вопрос лучше поставить таким образом — возможно ли в принципе развитие, примиряющее национальности и дающее человеку укорененность в чем-то более универсальном, а именно развитие, сопряженное с работой сил разума?

Прежде всего нужна определенная историческая констелляция — какой-то период существования либерально-демократического национального государства в мирном окружении. В этих условиях постепенно ослабевают стимулы национализма: уязвленность угнетенных народов и недобрая совесть народов-угнетателей. Средние слои населения делаются доступными аргументам универсально-этического либерального мышления, рационалистический национализм начинает преодолеваться.

Конечно, для того, чтобы в роли абстрактного субъекта — человека вообще — универсальных морали

и права мог реально выступить иноземец, нужно предварительное с ним знакомство, нужно, чтобы в том месте, где ранее виднелась одна нерасчлененная масса немцев или поляков, возник теперь целый спектр характеров со своеобразным распределением положительного и отрицательного. Но коль скоро это знакомство состоялось в длительном реальном общении на разных социальных уровнях, то начинает приходить понимание того, что интернациональная маска не вправе заслонять от нас индивидуальное лицо партнера, что расовое и национальное этически нейтрально. Что привычная национальная моральная система заслуживает сопоставления с чужими. Что должна быть общая почва, общая система в отношениях между людьми как таковыми — общая этика и общие правовые основы.

7. Можно ожидать поэтому в будущем — вряд ли очень близком — окончательную победу идей свободы и разума, победу их в универсальном плане. Ее прообразом может служить современная Европа. Но для того, чтобы эта победа была прочной, нужно определение национализма и в другом плане — в плане мистико-религиозного отношения к национальности. В этом отношении национальное начало давало всегда нечто нужное человеку, и оно не может просто бесследно раствориться в абстрактности либеральных принципов. Человек и для себя и для других не может стать человеком вообще — отвлеченным субъектом отвлеченных правовых норм. Национальное и то, чем оно выражало неповторимую конкретную универсальность, должно сохранить себя, точнее должно сохранить свою творческую, положительную энергию, так ярко проявившую себя в истории культуры при оплодотворении универсальными идеями. Нации должны стать друг для друга не просто абстрактными лингвистическими кругами, охватывающими абстрактных субъектов морали и права; они должны обрести друг

для друга конкретное положительное лицо. Возможно ли это?

8. До какой-то степени это возможно на уровне собственно культурном, расширяющем морально-правовое отношение. Знакомство с характерными особенностями национальной жизни само по себе завершается открытием своеобразной ценности этой жизни, ее красоты и выразительности. Еще большую интенсификацию дает здесь знакомство с высокой культурой другого народа. Общечеловеческие ценности предстают нам в неповторимом воплощении, обусловленном народными задатками. Сама мировая культура открывается как переключка этих разнородных голосов, в которой одна и та же тема проходит в столь разнообразных исполнениях, что становится ясно: она обеднела бы, не будь этих исполнений, и не существует никакого усредненного стандартного исполнения, так сказать, чисто общечеловеческого исполнения этой темы. Существование разнообразия воплощений тем мировой культуры — не случайный, но существенный факт ее жизни, без которого немыслимо ее развитие.

9. И все-таки последнее слово — за пределами собственно культуры. После грядущего ослабления псевдорелигий и культа национальностей человечество так или иначе будет искать новые формы конкретной универсальности, видимо, формы всемирно-человеческие. Трудно делать здесь определенные предсказания; я попытаюсь только угадать отдельные черты.

То, что давало людям ранее желанные опоры и смысл: великая религия или национальное начало, — не исчезнут. Напротив, в них выделится ядро этой опоры — уникальный ситуационный язык, прибежище неповторимого смысла. Отпадут же тянущиеся оттуда в эмпирический мир нити прагматического истолкования, поскольку такие истолкования подлежат

другому — логико-эмпирическому и морально-правовому языку.

При этом отказ от внешнего истолкования скрытой в религиозном и национальном началах глубины конкретности будет сопровождаться отказом от притязаний этих начал на исключительность. В конкретное переживание своего смысла войдет конкретное признание смысла чужого. Космос человечества будет ощущаться как космос непереводимых выражений смысла — и это придаст локальному выражению ту универсальность, которой недоставало национализмам. Человек начнет понимать человечество как свою среду, в которой он и другие занимают свое осмысленное место, — как ранее ощущались город, племя, страна, религия, цивилизация, — с конкретным видением его, человечества, сплетенности из разнородных нитей.

Этот подлинно конкретный универсализм многогранного выражения смысла должен радикально отличаться от эмпирико-рационального универсализма науки, морали и права. Вряд ли он будет напоминать кантовский культ человечества, например. И вряд ли он будет иметь свои условные формы — скорее он распространится по миру как параллельное понимание, остающееся в формальных границах своего собственного. В нем и может найти свое разрешение национализм мистического толка.

Октябрь 1979 г. — Март 1980 г.

К ВЫХОДУ САХАРОВСКОГО СБОРНИКА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Имя великого гуманиста нашего времени Андрея Сахарова пользуется сегодня заслуженным уважением во всем мире. К его голосу, хотя бы они того или не хотят, вынуждены прислушиваться даже те, против кого он направлен, ибо вызываемый повсюду им — этим голосом — резонанс определяет в наши дни степень и накал человеческого сопротивления лжи и насилию на земле. Но, тем не менее, без преувеличения можно сказать, что нигде, кроме Италии, имя этого самоотверженного заступника за всех «униженных и оскорбленных» не пользуется таким поистине всеобщим авторитетом. Трудно назвать в итальянской политической и общественной жизни партию или движение, где бы его выступления и призывы не вызвали бы самого живейшего и сочувственного отклика: христиане и атеисты, социалисты и либералы, радикалы и коммунисты образуют здесь как бы единое духовное поле всякий раз, когда речь заходит о судьбе или высказываниях Андрея Сахарова. Всем нам памятно, к примеру, единодушное сочувствие, которое проявила итальянская общественность к Сахаровским Слушаниям в Риме. Публикация сборника, посвященного шестидесятилетию Андрея Сахарова, в издательстве, близком по идеям и духу мировоззрению нашего ныне покойного друга Игнацио Силоне, еще одно красноречивое тому подтверждение.

Мы уверены, что мыслящая Италия по достоинству оценит эту благородную инициативу.

И. Бродский, В. Буковский, А. Гинзбург, Н. Горбаневская, Э. Кузнецов, В. Максимов, Э. Неизвестный, В. Некрасов.

ОШИБКА, КОТОРАЯ ХУЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

От редакции: Под этим, данным нами заглавием мы публикуем главу из книги бывшего офицера вермахта гитлеровской Германии, участника Второй мировой войны — с 22 июня 1941 года на территории СССР. На русской земле, во время зимней кампании 41-го года, он пережил высокое духовное озарение. «И отныне вы будете строить церкви...» — услышал он из снопа света перед лицом разрушенной церкви в русском селе.

Откровению этому, однако, предшествовали долгие размышления о праве и правде. Первые сомнения в том, что армия, офицером которой он является, действует против права и правды, появились у Вальтера Ламе с первых часов вступления ее на советскую территорию: первой причиной было само вторжение без объявления войны, второй — знаменитый «приказ о комиссарах».

«...вечером накануне 22 июня нам, офицерам, был устно прочитан секретный приказ, согласно которому политических комиссаров Красной Армии, захваченных в бою или при сопротивлении, мы должны были принципиально немедленно приканчивать. (...) Неправедное требование убивать военнопленных только из-за их идеологической принадлежности еще никогда немецкому офицеру не предъявлялось и совершенно ошеломило нас. Мы были глубоко задеты и подавлены. Наш правовой инстинкт, непосредственное, стихийное чувство права восставало против такого приказа. В наших спорах раздавались слова об «убийстве». Большинство из нас не было никак политически ориентировано и развращено. Между нами, офицерами, происходили резкие споры о допустимости и законности этого приказа. (...) В этих столкновениях мнений громко прозвучало ходкое тогда позитивистское мышление с его известным аргументом «Приказ есть приказ». Позитивизм в области права (...) еще до 1933 года стал ведущим в немецких университетских кругах (...). Тоталитарное национал-социалистическое государство

в приказе о комиссарах всего лишь всерьез применило позитивистское учение, утверждая за государством право на установление любого правового содержания и требуя надлежащего повиновения. (...) В результате наших споров мы пришли к единодушному решению *не выполнять этого приказа*, если окажемся в такой ситуации. (...) Помню, я тогда в порыве воскликнул в кругу своих друзей: «Как бы нам однажды не отомстилось, что мы начали войну против беззакония Советского Союза приказом об убийстве!» Наше решение (...) в личном плане нас успокоило. Однако с этого момента вопросы и мысли, сомнения и неуверенность больше не прекращались».

Публикуемый отрывок посвящен именно тому периоду, когда «сомнения и неуверенность» автора стали переходить в трагическую уверенность о гибельном пути, который избрало (и — в силу своей тоталитарно-идеологической основы — не могло не избрать) гитлеровское командование. В книге ему предшествуют воспоминания о том, как поначалу немцев действительно встречали как освободителей.

Наша армейская пропаганда пообещала народам России освобождение — освобождение от большевизма. Нам, солдатам в России, осуществление этой задачи казалось жизненно решающим. В нем заключались обоснование и смысл нашей борьбы, наше собственное освобождение от неправды войны! Освобождение российских народов, обеспечение их жизненного права на справедливое союзничество с нами — это было общее спасение, цель и реально достижимый мир. При этом, однако, становилось все яснее и нечто иное. Если немецкие лозунги об освобождении задуманы только как пропагандные, то эта ложь может стать и нашей гибелью. Мы уже узнали кое-что о гигантских размерах этой страны, которая не по плечу никакому завоевателю. Мы уже догадывались о ее невероятном военном потенциале, еще усиленном поддержкой союзников. Разбитые надежды отчаявшихся людей обернутся волей к сопротивлению, которая нас уничтожит. Притом тогда дело пойдет не только о предотвращении грозящего России порабощения нем-

цами, но и о том, чтобы усиленным личным участием отвести всякое подозрение сталинских властей в былом дружелюбном отношении к немцам.

Уже в первые недели войны в России мы получили все основания опасаться именно такого развития дел. Немецкое командование казалось слепым. Не было никакого официального заявления или приказа, указывавших на общепонятные проблемы и разумные цели и способных привлечь на свою сторону невероятное число антисталинцев в России.

В листовках и пропагандных изданиях, обращенных к красноармейцам и русскому населению, в общих словах говорилось, правда, о свержении большевизма как основной цели. Однако не было никаких убедительных обещаний и указаний относительно людей, которые до этого жили в сталинской системе принуждения и государственном атеизме — в условиях тотального господства над людьми.

В тыловых оккупированных областях повсюду были развешаны портреты верховного главнокомандующего Адольфа Гитлера в партийном мундире национал-социалистической партии и подписью «Освободитель». Казалось, командование не замечает, что этого никак не достаточно для того, чтобы немецкие лозунги освобождения вызвали у русских людей доверие. У людей же везде вставал самый животрепещущий вопрос — быть или не быть, — вопрос о правах в их освобожденной от большевизма стране, вопрос о самостоятельном устройстве их собственной жизни. Лишь такая цель дала бы им силу выдержать жестокую борьбу с собственными властителями. На эти животрепещущие вопросы немецкое командование не ответило. И в эту пустоту отмежевания от собственных жестоких властителей, поправших человеческие права и человеческое достоинство всех, кто не хотел подчиниться абсолютной власти произвола, вторглись другие силы — сначала недоверие к не-

мецкому командованию, а затем и постановка иных целей.

Непонятные, невероятные известия о положении в тыловых областях просачивались к нам на фронт и, естественно, достигали и внимательных ушей русского населения.

В результате быстрого продвижения боевых немецких частей большие территории Советского Союза были переданы немецкому гражданскому управлению. Оперативные группы «Зихергайтсдинст» (тайной полиции) играли там ужасную роль. Нам казался невероятным слух, что в находящемся в нашей полосе наступления городе Житомире согнали вместе всех евреев и расстреляли за городом из пулеметов. Перед этим они якобы сами должны были копать себе могилы. Однако этот слух мне подтвердил военный судья нашей дивизии, которого я четыре недели замещал во время балканской кампании и хорошо знал. Он видел это шествие скорби и ужаса собственными глазами. Во время своего рассказа этот человек закона (капитан запаса еще со времени Первой мировой войны) дрожал от возмущения. Он, немецкий судья, должен был бессильно наблюдать такой ужас. Один ефрейтор моего оружейного полувзвода, ездивший с заданием в тыловой оружейный парк, был также свидетелем этого события. На гражданской службе он был шофером. Когда он мужественно заявил людям из СД о «позорном беззаконии», ему ответили угрозой, что, если он не замолчит, его постигнет та же участь, что постигла евреев.

Время облегчения и надежд прошло. Для нас мир снова рухнул. Что означают эти совершающиеся от немецкого имени преступления? И какое вообще имели отношение к войне эти несчастные житомирские евреи, жившие своей простой жизнью? Ведь это абсурдно и непонятно даже с простой прагматической точки зрения: ведь в военное время нужна любая рабочая сила.

Что же это за безумие? Но если такое происходило в Житомире, то ведь это наверняка не исключительный случай. Значит, это организованное убийство! Что за сатанинский план скрывался за этим??? И плохие известия все сгущались: в лагерях русских военнопленных ходила голодная смерть. Нас охватывала тревога.

Конечно, при таком огромном количестве русских военнопленных, какое было в начале войны, затруднения со снабжением были понятны. Но почему было не сделать само собой напрашивающегося: не отпустить их по домам, чтобы они на брошенных полях занятых областей могли работать для собственного пропитания? Ведь очень скоро стало видно, что большинство красноармейцев предпочитало лучше работать дома, чем воевать за ненавистную сталинскую систему. Этим было можно помочь русскому народу, а заодно и повлиять на умиротворение страны и ее людей. Вот такие мысли были у нас на фронте, и приходили они нам в голову из простого наблюдения обстановки и положения.

Но военно-политическое управление в нашем тылу явно думало иначе. Гражданское управление оккупированных областей становилось все двусмысленнее, все непонятнее. Уже в солдатском жаргоне отразилось начинающееся презрение боевых частей к «золотым фазанам». Неуклюжим и чрезвычайно неудачным казалось нам и то, что служащие немецкого гражданского управления расхаживали в коричневой партийной форме и вдобавок заставляли себя называть скомпрометированным именем «комиссар». Как могло прийти в голову, что можно приобрести при помощи формы авторитет в стране, которая так неописуемо страдала под советскими чиновниками!

Но куда хуже этих внешних тактических промахов была идеология этих «коричневых партизан», как их тоже называли. В стране, которая столько страдала из-за попрания человеческих прав и человеческого до-

стоинства советскими чиновниками, национал-социалистические учреждения пропаганды осмелились пропагандировать «теорию низшей расы», унижающую славянские народы России! Таково было их расово-идеологическое ослепление. Мы, фронтовые солдаты, знали об этой зловещей лжи расового сумасшествия. Мы знакомились с замечательными русскими людьми в их домах — и не было никакой разницы, молились они или не молились перед иконами, которые были почти в каждом доме. Многие из нас, знакомые с отрицательными явлениями цивилизации у людей Западной Европы, в особенности видевшие их во время французской кампании, все больше поражались: «Чем дальше на Восток, тем больше встречаешь людей». Эти слова говорят о глубоком уважении, почтении и расположении к этим людям. Вскоре понятие о «низшей расе» стало приводить нас в ярость. Этим извращенным мышлением объяснялись все ошибки и преступления. Тот, кто так думал, был способен и на барское поведение, и на эксплуатацию! Вскоре нам уже не требовались новые доказательства грубого, презрительного отношения к людям со стороны гражданского управления. Эти глупцы и преступники свели нас, боевые части, на положение завоевателей. С этим мы ни за что не хотели смириться. Мы отчаянно защищались от этих горьких выводов. Если эта преступная глупость не будет остановлена, конец станет неминуемым: война на уничтожение двух больших неповинных народов с невообразимыми жертвами и катастрофами.

Страх, чувство вины, бессильное возмущение, неуверенность охватили нас, а бессмысленность происходящего нас почти парализовала. Вряд ли кто-нибудь сегодня сможет почувствовать, как нас все это угнетало. Мы жили снова в мрачном свете 22 июня 1941 года. Мы стояли в безысходном трагическом кругу. И никакие гладкие речи не могли нас освободить от

предчувствия печальной участи, которая на нас неудержимо надвигалась. Как могли мы защититься, маленькая бессильная кучка на ничейной полосе, удаленная от сумасшедших идеологов в тыловых областях?

В начале нашего пути в Россию мы на многих примерах видели, как из глубинного корня правосознания стихийно и неорганизованно вспыхнуло русское освободительное движение. 22 августа 1941 года майор Красной Армии Кононов, с подчиненным ему советским 436-м стрелковым полком, прикрывавшим отступление 155-й пехотной дивизии, после митинга советских солдат и переговоров с немецким генералом Шенкендорфом, с полным вооружением перешел на немецкую сторону. После того как майор Кононов набрал в лагерях для русских военнопленных под Могилевом и Бобруйском огромное количество добровольцев, уже 19 сентября 1941 года был сформирован новый казачий полк из 1800 человек, с 77-ю офицерами, получивший в приказе Верховного Командования название 120-го Донского Казачьего Полка. Духу времени отвечало то, что знаменосцем этого казачьего полка был назначен казак Белокрылатов — он отбыл 12 лет заключения в концлагерях сталинской системы насилия, а два его брата и четверо детей были расстреляны в ГПУ. Просто немеешь от способности русских людей переносить страдания!

Мы знаем из истории войны, что первый проект концепции русского освободительного движения был разработан в Смоленске. Там состоялось совещание офицеров армейской группы «Центр» и видных людей города. В меморандуме, адресованном «фюреру», городской голова Смоленска и 10 человек городского управления предложили призвать русское население к свержению сталинского режима.

Условиями и предпосылками для совместной борьбы Русский Освободительный Комитет Смоленска назвал:

1. Гарантию независимости России,
2. Конституцию нового правительства России,
3. Образование Освободительной Армии.

Даже тем, кто ничего не знал об этом меморандуме, но пережил развитие дел в России с начала войны, со всеми заботами, печалью, надеждами и разочарованиями, было ясно, что только с такого рода концепцией политического ведения войны, какая была разработана свободолюбивыми силами в Смоленске, можно было успешно использовать шанс поражения советского режима с помощью русских. И только этим путем можно было привести войну с Советским Союзом к благополучному концу.

Все те, кто, как мы, следил внимательным взглядом и сердцем за событиями в России, глубоко почувствовали, что исход войны с Советским Союзом решится в первые месяцы. Если немцам удастся создать общий фронт с враждебными сталинизму силами, то война будет немцами выиграна, — но она будет выиграна и русскими. В России, в особенности в драматическом втором полугодии 1941 года, вопрос был не в одних победах на поле боя и сражений. Вопрос был, в конечном счете, в настоящем освобождении глубоко религиозного, храброго народа от террористического режима, который, обещая рай на земле, завел народ в ад. Этим освобождением Германия могла бы широко открыть двери мирному, добрососедскому сосуществованию европейских народов, а может быть, и умиротворению всего мира, который отказался бы от идеологий силы, приносящих лишь кровь и слезы. Принеся мир и свободу русскому народу, она упразднила бы безумие этой войны. Это не было иллюзорным мечтанием немецких солдат — такую картину мира и его возможного осуществления мы пережили. Правда, мы видели только фрагмент общего положения, однако, как мы все больше убеждались, он был типичен для целого.

Более поздние исторические исследования полностью подтверждают этот наш опыт и наши представления. Известный специалист и знаток, американский профессор Даллин, в своем объемистом труде «Немецкое господство на Востоке» (издательство Дросте, 1958) говорит: «В первой стадии кампании применение политического ведения войны могло лечь на чашку весов, колебавшихся между победой и поражением» (стр. 526); «В 1941 году у Германии был благоприятный момент обратиться к населению Советского Союза. Раны, полученные в травматические годы террора и величайшего голода, еще не затянулись» (стр. 692). Мне приходится все время это повторять, чтобы объяснить важность того, что мы узнавали.

Повсюду в течение всего лета и осени 1941 года немецкие солдаты ощущали, а многие и глубоко понимали, что нам, немцам, благодаря надеждам измученного народа, выпала задача, способная придать смысл этой ужасной войне, духовный смысл преодоления бесправия посредством права. И чем глубже мы это понимали, тем больше нарастал страх, потому что мы узнавали о бессмысленных, преступных мероприятиях оккупационной политики в тыловых областях, о непонятном для нас, организованном убийстве невинных людей. Эта злополучная, ослепленная идеологией восточная политика лишила себя поддержки истории и упустила такой исключительный шанс!

Мы, фронтовые солдаты, могли лишь надеяться и тревожиться о будущем, и это делало наше положение трагическим. Мы могли лишь надеяться, что на военных командных постах, а также в политическом руководстве найдется достаточно людей, которым хватит смелости понять положение и бороться за исключительный шанс поворота в этой войне, против идеологического ослепления власть предержащих. Нужно было назвать своим именем пагубное поведение в оккупированных областях и упущения немецкого

командования. Нужно было бороться с неправильными действиями, вызванными ослеплением, и защитить тот шанс, который давало немцам русское освободительное движение. Нужно было найти собственную политическую концепцию и осуществлять ее вопреки власти имущим, жестоко подавляющим (да и раньше часто подавлявшим) любую деловую или этическую критику.

Сейчас, когда с тех пор прошло много времени, я должен признать, что понадобился бы жертвенный мученический путь тысяч людей, чтобы пробить брешь в идеологическом сумасшествии, и что этот жертвенный путь на смерть, вероятно, все же был бы напрасным. Я сегодня знаю лишь то, что если идеологическому абсолютизму дать буйно разрастись, если не воевать за создание духовного противовеса, то побеждает безумие, хаос. Неправда некритического возвеличивания чисто количественного плюрализма как ценности не распознана многими еще и сегодня.

История это доказывает: немецкое командование затопил поток докладных записок, с полным пониманием описывающих положение со всеми его возможностями. В них указывалась опасность упустить этот шанс, содержались предостережения от роковой ошибки. Военное и политическое руководство были атакованы — их заклинали предотвратить опасность взаимоничтожающей войны двух великих народов. И здесь, как и тогда, в нашем тесном дружеском кругу, при столкновении с приказом о комиссарах, стояли друг против друга два основных понимания права. Релятивизация и извращение права всегда мстят за себя, потому что, в конце концов, право основано на Боге и Его духовном законе.

Если идеологии завладевают правом и манипулируют им согласно своим утилитаристским, мелким, жалким точкам зрения, тогда уже сразу одновременно запрограммировано и бесправие, то есть хаос. Выигра-

ли позитивисты со своим главным национал-социалистическим тезисом, что «право — это то, что полезно нации». Определяющими стали близлежащие, мелкие цели примитивного господства и эксплуатации побежденных. Из этого позитивизма проистекли и дальнейшие ошибочные выводы: у кого власть, у того и право.

Возведенную на положение абсолюта идеологию всегда сопровождает ослепление в виде неспособности распознать действительность. Авторы докладных записок того времени, заклинающих высшие инстанции, постоянно ссылаются на характер и правовое восприятие русского человека, уверенного в исконном праве человека на жизнь и свободу (в силе права), и предостерегают от опасностей, которые может повлечь пренебрежение таким очевидным правом русских людей и российских народов с их здоровым и сильным ощущением права. Одна такая предостерегающая и заклинающая докладная записка хорошо известна мне лично. Ее написал капитан Штрик-Штрикфельдт, с которым я познакомился в 60-х годах и которого глубоко почитаю.

В меморандуме в главную квартиру фюрера, отправленном начальником штаба центральной группы войск генерал-майором фон Тресковым, Штрик-Штрикфельдт предложил для центрального участка фронта организацию Русской Освободительной Армии под русским главнокомандованием. Главнокомандующий вооруженными силами генерал фон Браухич поставил на меморандуме резолюцию: «Считаю это решающим для исхода войны».

Сегодня, спустя сорок лет, я все еще раздумываю об этом упущенном шансе, о последовательном ослеплении идеологов и о том, что другим приходилось бессильно терпеть. Я слышал за эти годы самые тяжелые взаимные обвинения обеих сторон. Главным образом, обвинения тех, кто еще и сегодня не понял

причин немецкой несостоятельности и еще меньше понял всю трагичность бессильной борьбы тех, у кого были связаны руки.

Восстановление, в особенности материальное, удалось, а духовное обновление осталось на полпути. После 60-х годов идеологии всемогущи, как никогда, а духовная путаница охватила почти все сферы. Существуют даже ученые-гуманитарии, в том числе богословы, которые отождествляют идеологию с религией, так как и у той и у другой, мол, те же функции. Есть богословы, оправдывающие насилие в духовной борьбе. В угоду власти имущим даже в церковных сферах подавляется личная зрелость, необходимая для ответственного мышления. И только там и сям в виде утешения зажигается огонь истинной духовной борьбы архангела Михаила с отрицанием.

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США

Главный редактор **Андрей Седых**
71-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

Звуковые барьеры радиовещания

НОСОРОГИ ЗА РАБОТОЙ

ШАХМАТНЫЕ «ПОЗЫВНЫЕ» РАДИОСТАНЦИИ «ГОЛОС АМЕРИКИ»

27 октября 1981 года миллионы американских телезрителей узнали от нашего Нобелевского лауреата, что «в течение нескольких лет запрещали по «Голосу Америки» цитирование Солженицына, чтобы только не повредить коммунистической пропаганде...» Телеинтервью об американском радиовещании на СССР, данное писателем члену Палаты представителей США Лебутийе, ознакомило громадную «аудиторию» и с отношением руководства радиостанции к творческой инициативе её сотрудников: за передачу в эфир отрывка из «Архипелага ГУЛаг» диктор подвергся серьезнейшей проработке (за кадром телеэкрана осталась лишь важная деталь — с занесением в личное дело или нет...).

Древнее искусство — не пенитенциарная система империи, шахматный эстаблишмент Советского Союза — не Солженицын, вот, очевидно, почему время от времени «Голос Америки» выкраивает минуты и для шахмат. Заслуга в этом полностью принадлежит русскому отделу радиостанции.

Виктору Французову стоило, наверное, немало труда убедить свое руководство в том, что в современном мире, кроме гольфа, бейсбола, бокса, и шахматы имеют право на место под солнцем. Быть может, глава русского отдела пустил в ход статистику: почти пять миллионов квалифицированных советских шахматистов могут убедить даже фермера из Айовы,

а может быть, дополнил все того же Солженицына, который в «Теленке» иронизировал по поводу бессонных ночей сталинских министров, проведенных, в ожидании звонка Самого, за игрой в шашки. Теперь же номенклатура последовала примеру Ильича Второго и дружно «двигает» в шахматешки. Как бы там ни было, но, благодаря «Голосу Америки», болельщики на Родине смогли узнать о турнире претендентов кое-что новое.

Из австрийского городка Фельдена я вел регулярные передачи о четвертьфинальной схватке между Тиграном Петросяном и невозвращенцем Виктором Корчным. Через несколько месяцев «география» изменилась и в эфир мои репортажи шли уже из Буэнос-Айреса. Тут на пути к матчу с Карповым Корчной преодолел последнюю *советскую* преграду, в трудном поединке одолев Льва Полугаевского.

Еще не успели улечься страсти, Корчной еще не помышлял о возвращении из Аргентины в Швейцарию, как Виктор Франгузов сообщил мне по телефону, что советские радиослушатели возражают против пристрастности моего репортажа (дело касалось анализа отложенной позиции 13-й партии матча Корчной—Полугаевский). Оперативность «радиослушателей» в данной ситуации заслуживает всяческой похвалы — вовремя подключаются необходимые приводные ремни...

А быть может, советская сторона была и впрямь права: ведь их гроссмейстерскому отряду виднее, чем мне? Подробно об этой партии я уже рассказывал в статье «Когда не читают газет...» («Русская Мысль» от 2 октября 1980 г.). В почти телеграфном сокращении дело обстояло так. К откладыванию партии Лев Полугаевский получил, казалось бы, ощутимый позиционный перевес. В пресс-центре матча, расположенном в буэносайресовском театре «Премьер», гроссмейстеры в унисон утверждали, что если советский

шахматист запишет ход пешкой f7-f5, то Корчному будет крайне трудно спасти партию. По пути в гостиницу наши тренеры сокрушенно покачивали головами: дескать, ничейной гавани на горизонте пока не видать. Как только позиция была расставлена, мы показали претенденту все те варианты, которые рассматривались в пресс-центре. С горьким упреком — «Вы ничего не понимаете» — гроссмейстер продемонстрировал нам, как за ничью должен будет бороться его соперник. Двукратный чемпион США Яссер Сейраван вынужден был признать: «Ничего не поделаешь: мы действительно играем, как дети». Минут через десять Корчной играл уже в настольный теннис, я же сообщил в Вашингтон, что партия, скорее всего, закончится вничью, но шансы Корчного предпочтительней. Кстати, Корчной, а следовательно и я, оказались правы: при доигрывании единственными ходами Полугаевский искал путей к миру.

Приближались меранские дни — поединок В. Корчного с членом ЦК ВЛКСМ, близким другом генсека, А. Карповым. «Голос Америки» заказал мне цикл репортажей об этом матче. В эфир на СССР пошли мои отчеты о первых двух турах чемпионата мира. Внезапный звонок из Вашингтона прекратил их. Незнакомый голос на другом конце провода отрубил: «Виктор Адольфович (это о Французове) от вас передач больше не ждет. Вы занимаетесь политической деятельностью, поэтому потеряли объективность!». Возразить на этот бред почти не пришлось — поручение начальника было выполнено, и связь с Вашингтоном, так неожиданно возникшая, так же неожиданно и оборвалась. 2-3 передачи «Голос Америки» еще получил из Мерано — несколько дней в тирольском городе провел американский гроссмейстер Л. Кавалек. Оставшиеся семь недель матча радиостанция освещала, используя выхолощенные сообщения Рейтера и других информационных агентств.

Наша делегация знала, что В. Французов любит шахматы и, казалось нам, немного «грешил», то есть симпатизировал Корчному. Это и побудило меня обратиться к нему за разъяснениями. Ответ пришел незамедлительно. Вот он:

«10. 13. 81.

Дорогой Эдуард Алексеевич,

...Я не знаю правильно ли Вы и Виктор Корчной поняли причины по которым наше руководство сочло необходимым отказаться от Ваших репортажей.

Судя по второму абзацу Вашего письма, боюсь, что нет. Вы пишете, что в то время как Голос Америки отверг Ваши репортажи «по вымышленному доносу...» органы массовой информации Америки поддержали Вас — от АВС до журнала «Ньюсуик».

Не вдаваясь в то, «поддержали» ли американские органы информации вас или просто ознакомили американскую общественность с фактами, отмечу, что Голос Америки по своему уставу не может поддерживать, и не поддерживает никого. Задача Голоса Америки передавать объективно информацию. Для того, чтобы поддержать и обеспечить свою репутацию объективности, Голос Америки не пользуется, как корреспондентами, лицами, связанными с какими-то политическими акциями. Это не означает, однако, что скажем в данном случае, — как и во всех других, — мы не будем освещать положение семьи Виктора Львовича. В самом деле мы уже передали в эфир ряд материалов на эту тему, включая, кстати, и Ваши собственные замечания, переданные телесетью АВС. Если Виктор поделится с радио или прессой какими-либо замечаниями и они дойдут до нас, то мы и впредь будем отражать их в наших передачах. Кроме того, независимо от исхода матча, я буду готов провести с В. интервью по телефону, если он будет на это согласен. То же самое я предложу и КАРПОВУ, хотя, судя по прошлому, он от него откажется.

Вы пресс-атташе Корчного и, как Вы сказали по телефону, должны делать то, что Виктор Вам прикажет. Это естественно. Но если по его распоряжению Вы предпринимаете выступление политического характера, — да еще в майке с надписью Солидарность, — то Вы должны понять, что Вы перестаете быть объективным обозревателем матча.

Желаю и Вам всех благ!

Искренне Ваш Виктор»

(сохранен синтаксис оригинала)

Уточним детали: многочисленным журналистам, освещавшим матч, я, действительно, раздавал открытки с призывом к Л. Брежневу освободить Игоря Корчного. Вся наша делегация носила значки «Солидарности». И все же — никак не могу дотумкать, каким это образом майка с надписью по-польски «Солидарность» исключает профессиональную честность комментатора. Как?

Хотя, быть может, В. Французов кое в чем и прав: 13 октября он в эпистолярной форме выразил свое отношение к свободным польским профсоюзам. В ту же самую чертову дюжину, правда, декабрьскую, Ярузельский (увы, тоже любитель шахмат) «высказался» точнее, а три дня спустя в московской «Литературке» меранско-солидаристский вариант «подытожил» дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт, В. Севастьянов. В статье «Карпов, каким мы его любим» 16. 12. 81 г. он писал обо мне: «Этот ярый враг (да и Корчной тоже) разгуливал во время матча со значком польского профобъединения «Солидарность». Тоже характерная деталь!» (Севастьянов предпочитает писать слово «профобъединение» с мягким разделительным знаком). Смычка по отношению к символам «Солидарности» двух, казалось бы, антиподов поражает.

Течение жизни показало, что в принципиальном вопросе русский отдел радиостанции все же ошибся (с майками и значками, как мы выяснили, все в пол-

ном порядке) — накладка произошла с чемпионом мира Анатолием Карповым. Несмотря на ухудшение американо-советских отношений, московскому гроссмейстеру... посоветовали дать интервью «Голосу Америки». Карпов, однако, поставил одно условие: положение семьи его соперника — табу. Главлитовские ограничения в «Голосе Америки» сработали отменно, и интервью Карпова станции было почти адекватно тому, которое он дал всесоюзному радио. В сложившейся ситуации Корчной категорически отказался от какого-либо контакта с «Голосом Америки». В апреле текущего года, перед самой встречей гроссмейстера-невозвращенца с американским сенатором Г. Джаксоном, тривиальным доводом о горбатом, которому ничего не поможет, мне все же удалось уговорить Корчного воспользоваться волнами «Голоса», хотя бы ради такого заокеанского контакта с семьей.

«Беглый раб» (Корчной) проиграл советскому херувиму (Карпову), «Нью-Йорк Таймс» пететически разглагольствовала о прелести чистых шахмат (по образному выражению Льва Наврозова), молодчики Ярузельского раздавили независимое профсоюзное объединение «Солидарность», «Голос Америки» сохранил свою первозданную объективность.

Почему же написаны эти строки? Во-первых, вот-вот начнется очередной турнир претендентов, и не исключена возможность, что Виктор Корчной вновь повторит «пройденное». Члены нашей делегации до сих пор не сняли с лацканов своих пиджаков значки «Солидарности».

Во-вторых, за решеткой все еще находится и Игорь Корчной, и кандидат в мастера по шахматам Анатолий Щаранский. В-третьих, Борис Гулько и Анна Ахшарумова в Москве не побоялись выступить в защиту многих борцов за гражданские права.

В-четвертых, будущий шахматный обозреватель «Голоса Америки» должен четко усвоить — профес-

сионализм и объективность вторичны; первично же носорожье племя и его потребности.

И последнее: исчезает магнетизм и эстетика черно-белого квадрата, их исподволь заменяет парнокопытный оппортунизм. Хотим мы этого или нет, но шахматы превращены в орудие политической борьбы, интриг, шантажа и насилия. Задержать этот разрушающий процесс мы не в силах, но спасти остатки элементарной порядочности обязаны.

Э. Штейн,

пресс-атташе претендента на звание
чемпиона мира по шахматам В. Корчного.

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

М. Джилас, Г. Русский, Г. Снегирев

Стихи:

**Е. Андропова, М. Векслер, А. Сопровский,
Е. Хорват**

Публицистика:

**Ф. Горенштейн, Ю. Фельштинский,
Ф. Черток**

Искусство

Тимофей Дмитриев

РАЗМЫШЛЕНИЯ С КИСТЬЮ В РУКАХ...

...Она глядит, глядит, глядит в тебя
и с ненавистью и с любовью...

А. Блок. Скифы

Впервые я увидел картины Гавриила Гликмана не в ярко освещенных выставочных залах, не в музее и не в его ленинградском ателье, на берегу Малой Невки, которое долгие годы было центром притяжения для многих, кто искал общения с истинным искусством. Я давно знал имя этого художника — автора знаменитого бронзового Баха, украшающего фойе ленинградской Филармонии, памятника Ломоносову в Ораниенбауме, Циолковскому в Петропавловской крепости, мемориальной доски В. Комиссаржевской на фасаде театра, носящего ее имя, памятника Чайковскому в Клину, Радищеву — в Саратове и многих других изваяний в бронзе, мраморе, граните. Я знал, что известный скульптор Г. Гликман — интереснейший живописец, чьих картин немало в собраниях любителей искусства в России и за рубежом, чье увлечение живописью началось еще в юности, до поступления на скульптурный факультет Ленинградской Академии Художеств. Я слышал, что единственная в Союзе выставка живописных работ художника 1968 года в Доме композиторов (одна из первых ласточек советского неконформистского искусства) была закрыта на третий день, а Г. Гликман-живописец с тех пор стал подвергаться гонениям. Мне довелось

несколько раз рассматривать репродукции его картин (они широко «ходили» в изобразительном Самиздате), которые поражали своей необычностью и остротой даже в черно-белом варианте... Одним словом, благодаря моему многолетнему неослабевающему интересу к этому художнику, у меня была уже большая информация о нем, и все же непосредственная встреча с его живописью произвела на меня огромное впечатление.

Это случилось лет пять тому назад долгой снежной зимой, которые стали уже такой редкостью в России, под Москвой, в том чудом сохранившемся месте, где русские леса, поля, тихие речушки еще не уничтожены безобразно мрачными громадами московских новостроек. После снежных сугробов, неподвижного заиндевевшего леса и тишины приятно было очутиться в гостеприимном уютном доме. От радушия хозяев, обилия книг и нот, большого рояля, скрипывающих полов, самовара на круглом столе повеяло ароматом давно и безвозвратно ушедшей России. Это было неожиданно, щемяще тоскливо. И вот именно в эти короткие часы, в доме, словно приснившемся мне, я увидел впервые картины Г. Гликмана. Они висели на дощатых, пахнущих смолой стенах в небольшой комнате с низким, тоже дощатым потолком. В комнате больше ничего не было, и только широкое, ничем не завешенное окно, обращенное в черный еловый лес, почти полностью заполняло одну из стен. И было непонятно, откуда этот таинственный мерцающий свет в комнате, что излучает его — белый снег в окне или висящие картины? Картин было несколько: безукоризненно вырезанная из мрака фигура девушки, играющей на скрипке-колодке («Закованная в скрипку»), портрет композитора Сергея Прокофьева, элегантный босоногий Игорь Стравинский с тросточкой, в черных очках и шляпе... И еще один удивительный Стравинский привлек сразу же мое внимание. Дерзкая игра фантазии, детская наивность...

Изящество и ирония... На картину хотелось долго смотреть. Напряжение, от нее исходившее, не утомляло, а напротив, погружало в какое-то деятельное созерцание. Возникало множество «улыбчатых» и серьезных «почему», и вместе с тем все было так ясно, оригинально, так смело, выразительно, красиво, так «играючи» и так серьезно!

В неожиданном ракурсе мужской фигуры, брошенной на пространство холста откуда-то сверху, было нечто от птицы. В этом мужчине, сидящем спиной к зрителю, прямо на земле (а может, на облаке или в каком-нибудь ирреальном мире?), в странном голубом одеянии, с капризно закинутой головой, сразу угадывался Игорь Стравинский. В круглой спине, шишковатом лысом затылке, всей фигуре старика, надменно и восхищенно взирающего на парящую перед ним «Русалочку», сошедшую с русского лубка, было неотразимое сходство. В лаконизме картины чудилось все: и возраст, и характер, и судьба большого русского музыканта, циника, мудреца и скептика, выпившего до конца чашу жизни. Причудливые линии, острые живописные диссонансы картины, ее общая атмосфера невольно рождали в памяти музыкальные звучания «Петрушки», «Весны священной»... И была в картине какая-то тайна, без которой нет искусства, притягательность, недосказанность, когда все понятно и необъяснимо, понятно и таинственно.

* *
*

Прошли годы, прежде чем мне довелось вновь встретиться с творчеством Г. Гликмана. Произошло это уже в эмиграции (художник в прошлом году был вынужден покинуть Родину). И эта новая встреча с полюбившимся мне художником была новым свидани-

ем с Россией, на этот раз в багряно-желтом, изнемогающем от жары осеннем Вашингтоне.

Вдохновителем и организатором выставки Гавриила Гликмана, открывшейся в минувшем ноябре в Вашингтоне, был величайший музыкант современности, друг и почитатель таланта художника — Мстислав Ростропович.

В прекрасных залах расположенной рядом с Белым Домом большой галереи Коркоран, где выставляются самые выдающиеся художники, были развешены картины Г. Гликмана — в подавляющем большинстве портреты: великий Достоевский, окруженный призраками страдания; суровый Солженицын в групповом портрете «Матренин двор», названном Ростроповичем «Похороны души России»; Д. Шостакович, которого так хорошо знал и так много писал художник; Цветаева, готовая к последнему роковому шагу в Елабуге; царственная Ахматова; супруги Сахаровы в венце мучеников; триптих, посвященный Мандельштаму, — вся история его горькой судьбы; портреты великолепной Г. Вишневской в ролях; портрет М. Ростроповича — полуфантастическая, полуреальная фигура на холсте, динамичная, излучающая потоки неистовой музыки...

На торжественном открытии выставки звучала музыка. В большом концерте произведения Прокофьева, Шостаковича, Стравинского вдохновенно исполняли Г. Вишневская, М. Ростропович, Елена Ростропович, Рената Бабак, Питер Даниэль.

Музыка и живопись сливались, взаимно обогащая друг друга. Картины раскрывались, внимая этим музыкальным исповедям, они будто вступали в немолчный диалог с многочисленными посетителями вернисажа (в основном это были американцы)... «Читай меня, говори со мной, познай меня, пойми меня, раздели со мной мою радость, утоли мои печали. Ты брат мой, ты человек. Здравствуй!»

Впечатление от выставки было очень большое. На следующий день газета «Вашингтон Пост» в одной из статей писала про выставку: «Это было возрождением эры величия, которой больше не существует».

Действительно, интересно было вглядываться в эти картины, как вчитываться в драгоценную рукопись, и снова и снова открывать, что перед тобой не просто портреты с пронзительным внутренним и внешним сходством, а поэмы о времени, о стране, увиденной глазами большого художника.

Россия необъятна. Ее можно «видеть» очень различно: русская история, одухотворенный мир русского православия, пейзажи России — ее березки, леса, просторы, метели и засухи; жизнь старой России и современная страна, погруженная во мрак и хаос... На полотнах Г. Гликмана — духовная история России, череда мучеников и подвижников русского искусства, осветивших светом добра и истины всю историю человечества.

В эти дни в газете «Новое русское слово» в своем интервью художник сказал, что в своих портретах он пытался выразить высокую духовность и нравственное величие этих людей. «Они для меня — синонимы России, мощные аккумуляторы, вобравшие в себя дух и трагедию моей Родины... Это мой вклад в тот мощный процесс, который ныне возглавляют мои соотечественники здесь, на чужбине — процесс познания России западным миром».

Было очень отраднo, что доброжелательный и импульсивный американский зритель принял и почувствовал этот духовный накал выставки, ощутил ее трагический тонус. Это можно было понять и по реакции посетителей выставки, и по той известности, которую приобрел в эти дни Г. Гликман в Вашингтоне, когда незнакомые люди на улице или в концертном зале Центра Кеннеди подходили к художнику, хлопали его по плечу, улыбаясь, выражая шумное

одобрение. Это можно было понять и по письмам, которые он получал. В одном из них американка миссис Фэй Кэмпбелл пишет: «...Естественно, мы отчетливо почувствовали великую трагедию и великие страдания, которые Вы передаете Вашими картинами. И все же для нас то был не вечер грусти, но вечер триумфа. Темные силы не одержали верх. Художество, музыку, литературу, там угнетаемые, Вы донесли до нас, чтобы просветить наши умы, чтобы обогатить наши жизни. И не только для нашего эстетического удовольствия, но и для нашего спасения» (перевод с английского).

«Спасение!» — великое и благое слово!

В Москве мне часто приходилось проезжать по Бутырской улице, мимо чудом уцелевшего изуродованного останка старинной церкви, одиноко стоящей на фоне унылого здания очередного «номерного предприятия». Уже в эмиграции я узнал, что эта краснокирпичная руина — нижняя часть прекрасной церкви Рождества Богородицы на Бутырках, построенной по приказу царя Алексея Михайловича в середине XVII века. А ведь сотни тысяч людей, ежедневно проходя или проезжая мимо, не знают и никогда не узнают об этом шедевре отечественного зодчества, который ныне безжалостно сметен с лица земли...

А многие ли русские, живущие в нынешней России (я уже не говорю о детях и внуках наших), будут знать и помнить Мейерхольда, Зошенко, Мандельштама, Филонова, Гумилева, Сашу Черного, Бабеля, Цветаеву и многих, многих других — гордость уничтоженного поколения, эпохи, от которой остались только «следы, заполненные кровью» («Макбет», Шекспир). Их книги сожжены или недоступны, их живопись уничтожена или заживо погребена в запасниках музеев, экспонирующих «шедевры» соцреализма, их музыка не исполняется. Многие ли сегодня могут представить себе их духовный облик, вспомнить их

лица! И как значительно, что портреты Г. Гликмана, обладающие огромной художественной силой и впечатляемостью, помогают сегодня спасти от забвения неповторимые облики гениев русской культуры...

Спаси и вспомнить! Вспомнить...

Судьба гениального режиссера Мейерхольда не раз вдохновляла художника. В картине «Тюремная похлебка» («Ложка баланды»), написанной одними черно-белыми красками, изображен человек, заканчивающий трагедию своей жизни. Мейерхольд похож на нахохлившегося кондора. Он сидит в профиль. Его угловатое, лишенное жизни лицо устремлено к руке, к ложке тюремной баланды. Портрет монументален. Торс, ноги, вся фигура посажены по схеме египетского фараона и выражают непоколебимость и вечность. Портрет неожидан, не традиционен, подчеркнуто антитеатрален. И рядом с парадно-пышными, декоративно-затейливыми изображениями Мейерхольда, созданными Головиным и Григорьевым, рядом с «Властелином театра», каким предстает на них режиссер во всей его буйной неудержимой театральности, — портрет Гликмана не только антитеза, но и продолжение. Как будто спали одежды театральности, погасли огни ramпы, ушли актеры, и здесь, в несокрушимой клетке примитивно возвышенного геометризма, человек остался наедине со своей судьбой. То, что было спектаклем, игрой, обернулось жестокой правдой жизни, истории! Предельная обнаженность формы, предельная острота замысла. В ритмах картины — образ тюрьмы. В холодном мерцании лаконичной живописи — образ неволи.

Мы знаем много изображений С. Есенина, но портрет Гликмана с особенной силой раскрывает судьбу этого талантливое самородка. На темном фоне, в плотно непроницаемом мраке бушуют «вихри пространства» (подумать только, какое трудное десятилетие досталось поэту!). Обнаженная, сладострастно

изогнувшаяся женщина — муза поэта — связывает мрачный фон картины с образом Есенина. Поэт изображен с копной светящихся, как спелая пшеница, волос. Глаза его исполнены муки и жаркого вдохновения. И во всем этом неудержимом хаосе света, мрака, отчаяния, упоения, сладострастия, запахов земли, трав, закатов, восходов торжествует обгаренная кровью, захлестнувшая тонкую шею поэта кровавая веревка.

* *
*

На художественных созданиях всегда лежит неизгладимый отпечаток личности их творца. Существует и обратная связь. Картины — его дети — в свою очередь влияют на образ автора, отдают ему часть своей новоявленной души... Г. Гликман — большой, динамичный, нервный, сильный и, одновременно, легко ранимый человек — очень похож на свои картины. И, хотя каждой из них он отдает много сил, крови и вдохновения, жизнь его не чахнет подобно Шагреневой коже, талант возрождает художника вновь и вновь и кажется порой неиссякаемым... А пережито в жизни немало: нищее детство в местечке под Витебском, Ленинград, Академия Художеств (скульптурный факультет), война, эмиграция — несложные вехи биографии человека. Сложнее биография художника, рано осознавшего гибельность всяких убеждений, полученных готовыми, творца, всю жизнь сопротивлявшегося насилию и, вопреки насмешкам и художественной изоляции, к которым Гликман-живописец был приговорен (ни выставок, ни честной критики), упрямо отстаивавшего за собой право оставаться в творчестве самим собой.

«Я живу, потому что я вижу. Мне кажется, что, если бы я не был художником, я бы вообще не был, — говорит часто Гликман. — Но, пожалуй, интереснее

всего для меня человеческое лицо. Я никогда не устаю наблюдать людей. Мне кажется, нет задачи увлекательней, чем пытаться проникнуть в скрытые глубины человеческой психологии. Я думаю, что на лице каждого из нас начертана свыше его судьба, фатум... Это мучительно сложно разгадать, найти, выразить на полотне, но, наверное, еще труднее определить словами. Предначертанность судьбы пронизывает весь облик человека: она и в глазах, и в неуловимости линии щек, скул, лба, в рисунке уха, в кажущемся хаосе душевных движений... Я стремлюсь, чтобы в моих портретах читались не просто внешний облик, но, и это самое главное, характер человека, его судьба».

Рассматривая портреты, мы видим, как решается эта сложнейшая задача художником... Большой портрет седого старика в светлой раме («Старик на зеленом фоне»). Первое зрительное восприятие очень конкретно: загорелое худое скуластое лицо, расстегнутая рубашка, жилистая шея. Но за первым впечатлением следуют другие, раскрываются более сложные пласты психологии, потаенные мысли героя портрета. За изменчивым — постоянное, за наносным — главное, за индивидуальным — общечеловеческое... Зеленый холодный фон, олицетворяющий природу в картине, отнюдь не источник душевного покоя и умиротворения человека. Фоню противостоит блеск усталых циничных глаз старика, чудовищных на багрово-красном лице, выражающих тревогу и отчаянье. Неожидаанные живописные сочетания (зеленый фон, сиреневый тяжелый торс, багровое лицо), напористость композиции создают большое напряжение. Перед нами не просто конкретный человек, но образ трагического одиночества. Второй портрет диптиха — «Женщина с кошкой» — образ смерти. Существовая самостоятельно, как прекрасное произведение искусства, этот портрет еще больше акцентирует, дополняет «Портрет старика». Обе картины связаны не только живописной

манерой, но и атмосферой высокой трагической одухотворенности. Но если «Старик» полон жестокой энергии, то женщина на портрете бесплотна. Светло-серая струящаяся живопись «Женщины с кошкой» мелодична и печальна. Самостоятельной жизнью живут огромные, уже нездешние глаза модели. И, как символ ускользающей жизни, как олицетворение фатума, на коленях умирающей сидит таинственная белая кошка.

Гликман написал очень много портретов — более 500. Некоторые из них находятся у почитателей таланта художника в Америке, Италии, Франции, Израиле, Голландии, Англии, Польше; некоторые хранятся в ателье Гликмана в Вене, где он сейчас живет; многие остались в России, и судьба их неизвестна.

Художнику довелось в жизни встречаться, беседовать, дружить со многими его замечательными современниками. Портреты Шостаковича, Стравинского, Ростроповича, Зощенко, Мейерхольда, Ахматовой, Прокофьева, Филонова писал он с особенным волнением. Об этих портретах говорит М. Ростропович: «Меня поражает в его портретах изображение духовной сущности модели!»

Интересна и другая грань портретного искусства Гликмана. Он часто пытается воссоздать духовный облик людей давно ушедших, но оставивших видимый след в истории человечества, угадать строй их мыслей и эмоций, запечатлеть их. Портреты Достоевского, Чайковского, Рильке, Малера, Скрябина, Кафки, Блока, Пушкина, Лермонтова в какой-то степени фантастичны. В них есть элемент «остраненности», своеобразная точка зрения художника, взгляд современного человека, обращенный «вспять», в глубину веков. Эти портреты овеяны флером легенды, мифа... Но ведь легенда о человеке часто оказывается сильнее памяти о нем...

Изучая сложное творчество Гликмана, можно сказать, что он пишет каждое лицо, которое чем-то

привлекло его внимание или просто заинтересовало. Портреты женщин, детей, мужчин, стариков, красивых, несчастных, безобразных, добрых, злых, безумных, поток лиц, характеров, судеб читается как пронзительная и скорбная летопись времени, эпохи, страны.

Кстати, портретным жанром отнюдь не исчерпываются интересы художника. В его разнообразном и ярком творчестве есть и трагические пейзажи («Моление на луну», «Война», «Дом повешенного»), и картины, где библейские темы восстанавливаются ради нового сюжетного поворота («Жертвоприношение. Авраам и Исаак», «Омовение ног в пустыне», «Давид и Саул», «Возвращение блудного сына»), и изящные, полные юмора, точно наблюденные жанровые полотна («Еврейский портной», «Резак», «Свадебный музыкант»), и, наконец, чувственные, трепещущие «ню» («Невесомость», «Лиловая женщина с собакой», «Розовый сон»). Творчество Гликмана еще ждет серьезного научного исследования. Но вернемся к портрету, интерес к которому у художника отнюдь не случаен. Дело не только в его даре, в его способности выразить самую сущность человека, ярко и неотразимо, но в идейной позиции большого мастера, позиции, рожденной в долгих поисках.

Трудно упрекнуть Г. Гликмана в анахронизме или, тем более, в приверженности мертвым традициям. Вячеслав Завалишин, анализируя творчество художника, пишет: «Как и Эрнста Неизвестного, Г. Гликмана можно считать крупным представителем неофутуризма в Советском Союзе наших дней..., а их обоих наиболее выдающимися деятелями изобразительного искусства среди художников-диссидентов». Волею судеб прекрасные залы Вашингтонской выставки Гликмана соседствовали с залами, где были развешены полотна абстракционистов, начисто отказавшихся от реального изображения человека. И тем более знаменательно, что при этом рискованном сопоставлении

портреты Гликмана отнюдь не казались устаревшими, а воспринимались скорее как дерзкий вызов, как хватающее за душу откровение.

За плечами каждого современного художника — вся история искусства. И невольно ищешь связи и влияния в творчестве Гликмана. Найти их не так просто. Его боги — Веласкес, Сезанн, Ван Донген, Брак, Пикассо, Модильяни. Из русских он больше всего восхищается Рублевым, итальянскими этюдами Иванова к картине «Явление Христа народу», творчеством Павла Кузнецова. Не исповедуя и, одновременно, не отрицая ни одного из значительных направлений в современном искусстве, стараясь освоить и воспринять все, что есть, с его точки зрения, значительного и интересного, Гликман ищет свои собственные законы творчества. Индивидуальный почерк автора ясен, а его манеры чрезвычайно разнообразны: «Верность хранишь, в конечном счете, и иногда подсознательно, только замыслу, который зреет в чреве твоём. Все остальное приходит само собой», — говорит художник. В результате рождаются столь разные по своим манерам работы: уже упоминавшийся портрет М. Ростроповича, играющего на виолончели, поражающий удивительной дисциплинированностью и соразмерностью композиции, ритмической и живописной ясностью, броской декоративностью; он контрастен портретам художника Филонова и Лермонтова, где все построено на недосказанности, неясности живописных соотношений, когда ни один цвет не доводится до полного звучания, где ритмически все построено на бессвязностях и разрывах. Портрет Кафки написан с подлинным живописным «буйством», чувственно, иногда даже недостаточно дисциплинированно. А рядом — тончайшая живописная ткань многих женских портретов, излучающих свет, тепло, воздушность, трепетность. Рассматривая «Даму в шляпке», «Эрику», «Женщину в зеленом», «Лену в платке» и

многих других, невольно вспоминаешь картины французских импрессионистов.

Очень интересно побывать в мастерской Г. Гликмана, наблюдать, как работает этой высокой, стремительный человек с седой головой и пронизательными глазами, чаще всего мрачный, погруженный в себя, а порой по-детски непосредственный, шумный, жаждущий общения.

В ателье художника много книг, холстов, беспорядочно разбросанных красок, совершенно неожиданных «орудий производства» (щетки, грубые кисти, ножи, мочалки...), но нет традиционных для всякого художника палитры и мольберта (вместо него — старый стул с приколоченной поперек рейкой). «Так мне удобнее», — говорит он. Впрочем, пишет он часто на полу, прямо на стене. Технологию художник игнорирует, сознательно и бессознательно, нарушая во имя художественного эффекта элементарные правила своего ремесла. При этом он пожимает плечами: «Я сам не могу это объяснить. Знаю только, что живопись моя, прожившая 20—30 лет, не жухнет, не тускнеет, не осыпается». И это — истинная правда. Так же, как истинно и то, что художник настолько владеет мастерством, что в состоянии решить «играючи» многие труднейшие творческие задачи.

С заказчиками взаимоотношения особые. С ними художник бывает грубоват, надменен. Вероятно, это необходимо ему для внутреннего самоутверждения, для ощущения полной свободы. Он любит приводить пример, как однажды даме, которая пришла заказать свой портрет, он заявил, что что бы он ни написал, даже если просто ногой разотрет краску на холсте и назовет это ее портретом, заказчица должна будет принять его. Условие тяжелое, но отступить было некуда, а может, дама тоже обладала характером, и ее согласие было получено. Вотум беспрекословного доверия, столь необходимый для творчества. Расте-

рать сапогом краску Гликман, разумеется, не стал (хотя он считает подобный прием в процессе творчества вполне допустимым), но портрет получился и до сих пор украшает дом отважной модели. А вообще с моделями художник предельно внимателен и осторожен. Классического позирования Гликман не признает, так же как неуместны в его мастерской реплики, вроде «Я сегодня не в форме» или «Напишите меня, пожалуйста, в сером и с улыбкой». Пристально разглядывающая модель, художник любит слушать музыку: «Давайте, послушаем Моцарта!»* Порой он может часами беседовать с моделью на самые разнообразные темы, лишь бы собеседник почувствовал себя непринужденно и легко. Беседы эти иногда — долгое блуждание в потемках, когда «натура» не дается, когда ее «не видишь». А иногда в портрете, написанном в течение двух-трех часов напряженнейшего труда, читается все: и настоящее, и прошлое, и будущее, и характер, и глубины человеческой натуры, часто впервые открытые даже для самой модели.

Интересно, что в процессе работы с натурой художник порой делает беглые зарисовки на улице, в кафе, просто наблюдая повседневную жизнь своей модели (кстати, эти зарисовки ничего общего не имеют с рисунками художника, о которых можно было бы рассказать немало). Как правило, потом эти беглые зарисовки, сделанные карандашом, уничтожаются, а жаль. Может быть, в них, сам того не ведая, художник приоткрывает завесу над одной из тайн творческого процесса создания портрета. Зашифрованные криптограммы, неожиданная линия, черта, будто начисто уводящая от внешнего сходства (а может,

* Кстати, музыка — самая большая его привязанность после живописи. Она много говорит его сердцу. Она ему необходима. Это настолько ощутимо в живописи Гликмана, что вряд ли нуждается в подтверждении.

указатель какой-то внутренней черты характера?), резкий ракурс, порой нарочитое искажение натуры, а порой — почти натуралистическое сходство... Вероятно, здесь есть нечто от работы скульптора, когда искусные пальцы ищут в мягкой податливой глине вехи, по которым будет проложен путь к постижению натуры.

И, наконец, наступает момент, когда художник будто забывает свою модель. Он наедине со своими мыслями перед холстом. Он громко разговаривает с самим собой, и этот диалог уже вошел в привычку. Все нервно, сумбурно, пока он не начал писать... Но можно ли с чем-нибудь сравнить тот момент, когда, переполненный впечатлениями, изнемогающий от напряжения и усталости, раздираемый сомнениями, в неожиданно наступившей тишине он бросает первые мазки на пустой, прохладный хост...

* *

А сейчас? Сейчас Г. Гликман живет в Вене. У него небольшое ателье, где он трудится. Он любит слушать орган в готических соборах, любит бродить по узким улицам прекрасной Вены. Посетив Париж, он, конечно, влюбился в него без памяти (впрочем, в этом он не оригинален). Он часто бывает в Германии. Художник с восторгом вспоминает великую страну за океаном, где он получил такой запас энергии и бодрости: «На долгие годы!» — любит говорить он. Россия всегда с ним. И та, в которой прожил жизнь, и та, которую заново открыл для себя здесь, в изгнании, — Россия Бердяева, Набокова, Федорова, Шестова, Леонтьева, Солженицына, Бунина... Здесь, в эмиграции, его Родина возродилась для него как Феникс из пепла в такой силе и величии, о которых он даже не подозревал. И миссия, которую несли и несут русские здесь,

в изгнании, еще больше утвердила его в правильности избранного им пути.

Будущее? Друг и «Ангел-хранитель» Г. Гликмана М. Ростропович предсказывает, что художник «займет высокое место в блестящей когорте русских художников, вынужденных продолжать свое творчество не на своей Родине, к примеру Кандинский и Шагал. Залогом тому — юношеская энергия и грандиозный талант Г. Гликмана». Сам художник менее оптимистичен в своих прогнозах. А будущее для него — это сегодняшний день, когда живешь и работаешь!

Ж у р н а л « Б Ъ Д Е Щ Е »

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Литература и время

Александр Сопровский

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

В наши дни часто приходится слышать о «бронзовом веке» русской поэзии. Под этим подразумевают некое возрождение русской поэзии, будто бы имевшее место начиная с 50-х годов нашего столетия. Представление это быстро окаменевают и превращается в один из устойчивых мифов, которыми столь богата современная культура.

Да позволено будет усомниться. 50-е годы никаким «возрождением» русской поэзии не отмечены. Это не означает, будто с поэзией ничего существенного не происходило. Однако происходившее касалось не столько поэзии, сколько внешних воздействий на нее. Происходило, если угодно, возрождение — частичное, непоследовательное и двусмысленное — *печатанья* больших русских поэтов. Если прежде разрешено было «про любовь» читать лишь Симонова да Шипачева — то отныне стало разрешено (с унижительными оговорками) читать Пастернака и Ахматову.

Чтобы это внешнее «возрождение» повлияло на саму поэзию, пустив надежные корни внутри культуры, требовалось — по меньшей мере — удержаться на уровне тех вершин, которых большая поэзия к тому времени достигла. Не могло быть и речи о «возрождении» поэзии, потому что поэзия пред тем не только не умирала, но пережила трагический — наперекор гибельным обстоятельствам — расцвет. Если признать за упадок поэзии пастернаковские стихи из ро-

мана — тогда, разумеется, можно ставить вопрос о последующем возрождении...

Между тем, уровень этот на деле удержан не был. И в 60-е годы лучшие поэты убежавшего времени, поэты дореволюционной культуры вживе и посмертно возвышались над горизонтом нашей поэзии.

Поколению новых поэтов нанесли ущерб иллюзии. «Оттепель» была воспринята чересчур буквально и серьезно. Многие рассчитывали вознести поэзию к вершинам на ее волнах. В итоге много шуму выплескивалось наружу (эстрада); внутри же подготавливался компромисс (на разных уровнях: от поверхностно-случайного и временного — до сознательного и глубоко-прочного), компромисс с официозом. Порой и оппозиция рассматривалась как «оппозиция Ее Величества», как нечто временное, как шанс на будущее поменяться местами с фигурами официальными, превратиться самим в официальные фигуры — тем самым видоизменив (по мере вкусов и стремлений каждого) самый официоз. Расчет этот основывался на обстановке конца 50-х — начала 60-х годов. Но к концу 60-х обстановка зримо переменялась. Компромисс резко обнажился. Главное же — отчетливо прояснилось: на какой основе и при чьей гегемонии компромисс этот осуществлен. Видоизменение официоза прошло для официоза почти безболезненно. Поэзия же (что у «громкого» Евтушенко, что у «тихого» Куныева) утратила ту духовную независимость и ту культурную самостоятельность, которые столь горделиво, сквозь тяготы, выживали в творчестве старых поэтов. Официальная эрзацкультура, восприняв — со строгой избирательностью — новые веяния, обогатилась гибкостью, которой до того ей так не доставало... Баланс оказался явно не в пользу «оттепельного» поколения.

Иллюзии пали. Началась реакция. Те, кто продолжал упорно отстаивать фальшивый компромисс, покатились — медленно, но верно — к утрате права на

звание русского литератора и поэта. Бескомпромиссные вовсе бросили официоз. Родился чистый поэтический нонконформизм. Отдельные судьбы и конкретная хронология не всегда могут уложиться в эту схему; но суть дела, думается, именно такова.

Беда в том, что новейшая нонконформистская поэзия (да и вообще литература, да и не одна литература) в большом числе тех ее образцов, которые сделались популярными по ходу истекшего десятилетия, — страдала и страдает по сей день какой-то досадной ущербностью. Ущербность эта на всех уровнях достаточно однородна и однонаправленна. Веет отовсюду не то что бы «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом», но — самоосмеянием рухнувшего самообмана. В массе выступлений, художественно неполноценных, это выражено в уродливом кривлянии, мелком эпатаже — в мелком, так сказать, хулиганстве. На более высоком уровне та же тенденция представлена во всепроникающих интонациях иронии.

Об этом-то и пойдет в основном речь. *Ирония* как основополагающий ценностный и стилесозидающий момент нонконформистской поэзии (шире — и литературы, и культуры в целом); ирония в связи с общими тенденциями истории культуры; оценка — в этом контексте — тенденций и перспектив современной поэзии как культурного явления, — вот чем теперь уместно заняться.

Что ирония пронизывает насквозь литературные пласты — спорить не приходится. Перед нами многообразие психологических оттенков ее. Так, у Бродского (изначально самого бескомпромиссного, да и вообще едва ли не самого раннего из новейших нонконформистов) ирония сопряжена с ответственным сознанием собственного достоинства; в романе Ерофеева «Москва — Петушки» ирония доходит до отчаяния *от страха* за это достоинство; в ироническом романе

Лимонова чувство собственного достоинства счастливо утрачивается... Перед нами — и разнообразие жанров, захваченных иронической интонацией или содержащих апологию иронии. Названы уже поэзия и художественная проза, но существует даже ироническое литературоведение (школа Синявского); пуще того — ирония восхваляется в... политической публицистике! В самом деле: в 6-м номере журнала «Синтаксис» можно прочесть такое: «Нет, без иронии никак нельзя. Ирония — это даже лучше, чем *habeas corpus act*» (с. 81)... Насыщены иронией и многочисленные групповые направления, начинания, предприятия: тут и «Аполлон», и «Ковчег», и даже полуреспектабельный «Метрополь».

Как будто застыл на рекламном щите освобождающейся русской литературы один-единственный выразительный жест: высунутый язык.

Ирония рассматривается не просто как распространенный сегодня стиль мышления, тон, прием, троп: нет, но — как едва ли не универсальная основа культуры, как гарантия культурных ценностей.

Можно рассматривать исток этой тенденции как эмоциональный импульс, именно — как реакцию на параноидальную серьезность официоза. Ирония призвана «снимать» ограниченную односторонность патетики. Но разве всеобщее, бесконечное, самоценное пересмешичество не есть также односторонность, заслуживающая — как это ни парадоксально! — иронического же оглушения? Существует же удачная пародия на Лимонова (см. «Эхо» №2-3). А вышеприведенный пассаж насчет *habeas corpus* — разве не в пародию просится?

Но даже не в односторонности этой — ущербная суть нынешнего «паниронизма». Суть в том, что — как показывает история культуры (литературы прежде всего) — дух иронии плодотворно и продуктивно дышит там, где вызывают его с позиции силы, где уве-

ренная в себе творческая личность опирается на мощный внутренний потенциал. Вот лишь два примера. Насквозь ироничной была русская культура конца XVIII — начала XIX столетия. Создавали эту культуру люди сильные, притом упивавшиеся — может быть, чересчур легкомысленно — взлетом молодой послепетровской России над ареной европейской истории. Люди эти пол-Европы завоевали и пол-России устали памятниками себе («Румянцова победам»). Державин (спасавшийся верхом от самого Пугачева с подручными), Пушкин (восхищавшийся за это Державиным) и другие люди того же склада — все они дышали и наслаждались мощью и славой России, для самих же себя за долг почитали из пустяков подставить под дуло пистолета грудь на поединке. *Этим* людям ирония не только добавляла блеска, она еще сообщала им человечность: без иронии, согревавшей эпоху, они оказались бы какими-то бесчувственными монстрами, лишенными обаяния слабости человеческой. — Еще пример: знаменитая романтическая ирония. С ее помощью немецкий писатель-романтик и его романтический герой отталкивались от косного и ограниченного филистера, а затем возносились и над собою в бесконечности чистого мышления и в артистической многогранности тренированного воображения. Здесь также налицо была сила — сила духа в понимании немецкого идеализма.

От иронии же, которой перенасыщена сегодняшняя наша литература, за версту веет растерянностью, неуверенностью в себе, слабостью. У истоков этой иронической поэтики — не игривое сознание силы, но горькое разочарование, крах былых надежд. Отчего это так — во многом объясняется приведенными в начале соображениями исторического порядка. Ирония, лишенная сильной позиции, в большинстве случаев выглядит беспомощно. В целом описываемое течение можно определить как *культурное поражение*.

Слабость, находящая себе неприемлемое, неадекватное выражение и не пытающаяся отыскать для себя прочную духовно-ценностную опору, — к тому как раз и ведет, что у людей даже способных (как Лимонов) ирония вырождается в голое ёрничество, самоосмеяние доходит до утраты собственного достоинства, напроць выветривается высокая ответственность поэта и даже элементарная литераторская ответственность.

Очевидно, что до бесконечности так продолжаться не может. «Возрождение русской поэзии», «бронзовый век» — на деле болезненно-переходный период, или, точнее, болезненно-переходное течение в истории русской литературы. Оно должно вынести поэзию нашу в более чистое русло, к более плодоносным берегам. Но пока что поветрие чрезвычайно устойчиво, цепко, даже косно — при всей его тяге к ниспровергательству всего и вся. Нужен обширный, основательный и, прежде всего, добросовестный диалог, дабы разобраться во всех навёрченных за последние десятилетия противоречиях, недоразумениях и несообразиях. И не следует думать, будто названная тенденция касается случайно связанных между собой или поверхностных явлений. Явления эти, помимо общей исторической и психологической основы, корнящейся в недавнем прошлом и описанной выше, основываются также (созательно или бессознательно) на одной весьма глубокой историко-культурной ошибке.

Недавно опубликованы чрезвычайно показательные в этом смысле записи Михаила Бахтина. Авторитет Бахтина, полвека с лишним исключительно плодотворно работавшего на стыке нескольких гуманитарных наук и сделавшего ряд оригинальных и блестящих открытий, как бы способствует созданию видимости, будто сам «объективный ход науки» обосновывает «стихийные искания» художников интересующего нас направления. Бахтина уж никак не заподозишь в слу-

чайности или поверхностности суждений; но в данном случае создается впечатление, что чем основательней и глубже высказывался Бахтин — тем основательней и глубже его заблуждение. Следует поэтому подробно рассмотреть его высказывания. Думается, что немалое число нынешних сочинителей охотно высказались бы в духе этих записей Бахтина, располагай они кругозором ученого. Любопытно, кстати, что хотя Бахтин не имел отношения к «бронзовому веку» и т. п. — ему в свое время пришлось по душе один из показательнейших образцов современного «паниронизма»: роман «Москва — Петушки». Значит, перед нами — не отвлеченная игра ума, но нечто, что носится в воздухе.

Вот несколько выдержек. — «Ирония вошла во все языки нового времени (особенно французский), вошла во все слова и формы (особенно синтаксические, ирония, например, разрушила громоздкую «выспренность» периодичность речи). Ирония есть повсюду /.../ Человек нового времени не вещает, а говорит, то есть говорит оговорочно. Все вещающие жанры сохраняются главным образом как пародийные или полупародийные части романа. Язык Пушкина — это именно такой, пронизанный иронией (в разной степени) оговорочный язык нового времени.

Речевые субъекты высоких, вещающих жанров — жрецы, пророки, проповедники, судьи, вожди, патриархальные отцы и т. п. — ушли из жизни. Всех их заменил писатель, просто писатель, который стал наследником их стилей. Он либо их стилизует (то есть становится в позу пророка, проповедника и т. п.), либо пародирует (в той или иной степени). Ему еще нужно выработать свой стиль, стиль писателя. Для азда, рапсода, трагика (жреца Диониса), даже еще для придворного поэта нового времени эта проблема еще не существовала. Была им дана и ситуация: праздники разного рода, культы, пиры. Даже предроманное слово имело ситуацию — праздники карнавального

типа. Писатель же лишен стиля и ситуации. Произошла полная секуляризация литературы» (Из записей 1970-1971 годов. — В кн.: М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 336).

Ироническому слову противопоставлено у Бахтина слово авторитарное. — «Слово с освященными, неприступными границами и потому инертное слово с ограниченными возможностями контактов и сочетаний. Слово, тормозящее и замораживающее мысль. Слово, требующее благоговейного повторения, а не дальнейшего развития, исправлений и дополнений. Слово, изъятое из диалога /.../ Это слово было рассеяно повсюду, ограничивая, направляя и тормозя мысль и живой опыт» (там же, с. 337).

До сих пор Бахтин описывал и определял то, что представлялось ему как фактическая закономерность (хотя и здесь не скрывал оценочных симпатий). Но вот он и напрямую ставит оценочный аспект. — «Недопустимость однотонности (серьезной). /.../ Насилие не знает смеха. /.../ Интонация анонимной угрозы в тоне диктора, передающего важные сообщения» (там же, с. 338).

Итак, ироническому слову Бахтин откровенно симпатизирует — авторитарного же слова не жалуется. Последнее, как видно из контекста, понимается им как слово *любой* авторитарной культуры (значит, культуры общества теократического или полисного, имперского или деспотического, сословно-монархического или абсолютистско-бюрократического, наконец — идеопартократического). Ясно, однако (в особенности из примера о дикторе, передающем важные сообщения), что эмоционально Бахтин отталкивался прежде всего от *последней* из названных форм. А ведь сущность этой последней формы — не столько авторитаризм вообще, сколько *насильственная бездуховность* этой особенной системы. Созидательная творческая потенция этой особенной системы — ничтожна.

Поэтому, именно поэтому современная идеопартократия *боится* смеха, как боится вообще любых «поэтических вольностей». Но многие прежние формы авторитаризма (в особенности патриархально-религиозные) не только не страдали боязнью смешного, но действительно способствовали распространению стихии смеха — ради сохранения здорового баланса общественных настроений. Бахтину было превосходно известно, что осмеяние триумфатора, к примеру, носило религиозно-ритуальные черты. Древние иранцы не приступали к ответственным переговорам без возлияний (наверяд ли это приносило в процедуру скучную серьезность). В античности ирония была полноправно признана тропом риторики (риторические жанры — вот уж поистине жанры вещающие). Средневековье знало подобные же традиции. В древности поза окаменелой серьезности соответствовала эпохам упадка, но никак не расцвета социально-культурных образований (а *все* социально-культурные образования древности, включая даже афинскую демократию, были, по крайней мере, в идее своей — авторитарны). Разве можно утверждать, будто авторитарное слово всегда и всюду «тормозило мысль» (а с другой стороны — и возведенная в систему езда без тормозов есть занятие небезопасное)?.. Видимо, в сознании Бахтина имела место аберрация, повсеместно распространенная в наши дни и основанная на нехитрой формуле: «всегда и всюду одно и то же» — «мудрость» отчаявшегося рассудка! Но позиция Бахтина заслуживает особого внимания, потому что, разделяя с младшими современниками одну и ту же историко-культурную ошибку, знаменитый ученый как бы осеняет своим авторитетом бунт против авторитаризма, подводит серьезную научную базу под апологию всеобщей иронии. Повторюсь: во всех случаях эмоциональный импульс един, едина и ошибочность оценок, выросших на основе этого импульса. Закон, выведенный из наблюдений

над нашей современностью, — с машинальной предубежденностью переносится на прошлое. И обратно: нечеткое сознание различий в историко-культурных образованиях ведет к обоснованию, а затем — к оправданию нынешнего культурного (в частности, поэтического) упадка, в конечном счете — к самооправданию.

Поэтому представляется ложной не только ретроспективная аберрация у Бахтина. Удивляет и его оценка современной культуры как иронической по существу своему, более того — как необходимо иронической по логике процесса (от отдельных жанров — до языка как общекультурной основы). Удивляет — ибо если об ушедших от нас эпохах можно судить, рядить и спорить, основываясь на противоречивых источниках, то ведь наша эпоха — вся перед нашими глазами, на все лады звенит в ушах и с недвусмысленной осязательностью берет за горло... Приходится в ответ Бахтину привести несколько простых, но существенных возражений.

1. Бахтин, похоже, опоздал со своей оценкой на столетие-другое: по крайней мере, для той обстановки, в которой самому ему пришлось несколько десятилетий жить и работать (под угрожающие рулады радиотранслятора). — В основе «паниронической» концепции Бахтина стоит фигура основного «речевого субъекта»: просто писатель (в отличие от вещающего пророка, проповедника и т. д.). Фигура такая и вправду существовала. И явилась она не на пустом месте.

Просто писатель — герой нового времени, выразитель европейских тенденций возрождения и просвещения. Он — деятель автономной культуры, своеобразный участник углубленного разделения труда, полноправное частное лицо, — тип, окончательно выявившийся в XIX веке.

Автономизация культуры, углубленное разделение труда и отчуждение индивида сопровождали утрату человеком культурной основы (в средние века пронизывавшей и скреплявшей самые различные сферы человеческой деятельности). Параллельно утрачивалось и то, что Бахтин обобщенно именует *п и р о м* (т. е. праздники, тесно связанные с тем же культом). Так, резкое сокращение числа праздничных дней в году и одностороннее восхваление производительного труда — существеннейшие положения в программе кальвинистской Реформации. С другой стороны, процесс этот положительно поддерживался укреплением социально-материального положения индивида, в надежном юридическом ограждении росла его житейская самостоятельность. И в XIX веке (возможно, следует сюда приплюсовать и начало нынешнего: в особенности это верно для России) процесс этот достиг кульминации...

Благообразный XIX век... но, как без промедления показала история, благообразие это оказалось нестойким и мало чем гарантированным.

Вот именно к нему-то, к девятнадцатому — но никак не к нынешнему, не к *на ш е м у* столетию и апеллирует (по всей вероятности, бессознательно) Михаил Бахтин. О т т у д а (неоткуда больше!) явилась и предстала его глазам фигура просто писателя, — и ученый залюбовался этой фигурой в ее свободном одиночестве. Сочинитель, кровно ни с кем не связанный, никаким авторитетом не поддерживаемый, — зато ни от кого и не зависящий. Поставщик товара среди поставщиков товаров — но и мастер, обладающий тайнами мастерства, но и властелин образов, являющихся ему в миги озарений... Безоружный — но вооруженный иронией, возвышающей его над жалким миром и над самим собой.

Что, однако, дал нам нынешний, потрясенный мировыми войнами и тотальными социальными экс-

периментами век? Он дал нам картину, глядящуюся парадоксально.

Вот Запад: общество как-никак более традиционное, чем наше. Казалось бы, там и фигура «просто писателя» могла и должна была сохраниться в более чистом, нежели у нас, виде? — Ничуть не бывало. Как нестойким оказалось благообразие XIX столетия — так нестойка нынешняя сравнительная традиционность западного общества, в особенности же — его культуры. Писатель Запада (обобщенно-типический, разумеется) по доброй воле не желает оставаться «просто писателем». Герой Бахтина — в безнадежном меньшинстве: он, как правило, исповедует малопочтенные (с точки зрения интеллигентского большинства) консервативные взгляды. Пример — Борхес. «Левое» же большинство, как будто бесовской горячей одержимое, так и рвется — вопреки Бахтину! — в очередь за поддержкой авторитета (внеположного культуре и уж непременно прогрессивного: какой-нибудь революционной партии, либо абстрактных народных масс, либо молодежи и т. д.). А не находят авторитетного друга — так ищут (ненавидеть — куда проще, чем любить!) авторитетного врага. И вот Маркес (это — просто писатель? а ведь писатель недурной...) заявляет гордо, что бросает перо до тех пор, пока не свергнут Пиночет. И вот Кортасар (тоже не последний писатель!) убеждает Маркеса вернуться в литературу: зачем бы вы думали? чтобы остаться верным писательскому призванию? — нет, но потому, что это больше способствовало бы свержению Пиночета! Но дело даже не в этих голых декларациях; тенденция много глубже и органичней. Ведь и на жанровом, например, уровне западная литература — во многих ведущих направлениях ее — стремится к документалистике... Не сидится западному «просто писателю» за письменным столом. А подчас, теряя рассудок, начинают даже завидовать «заботе», проявляемой по

отношению к писателям в СССР (не соображая, что это — зависть независимого человека к человеку подкупленному...).

Иное дело — у нас. У нас литература (как и вся культура) делится на две, так сказать, зоны: авторитетная официальная — и подавляемая независимая. Обе выделить из своих рядов «просто писателя» не в состоянии: одна не желает, а вторая не может.

Официальный писатель никоим образом не уместится в заданные Бахтиным рамки «писателя без стиля и ситуации». За ним — культ, и он по преимуществу — служитель этого культа, хотя и бездуховного. В сопоставлении со схемой Бахтина ему пристало среднее положение между «жрецом» и «придворным поэтом нового времени»; подчас выпадает на его долю и роль судьи. «Служение» здесь вовсе не метафорично: писатель пишет на заданную тему, в заданном тоне, с заданными выводами; он заседает на ритуальных собраниях, ему предписывают ритуальное восхваление вождей и единомышленников, а также ритуальную травлю противников. Культовым ситуациям соответствуют и «пировые»: праздники разного рода (хотя их число — вполне в духе кальвинистской традиции! — сильно урезано): юбилеи, чествование, банкеты. Праздники эти также требуют личного и творческого писательского участия... Нехитрое дело — посмеяться над этими ритуалами; плодотворней, однако, было бы рассмотреть их во всей присущей им систематичности и тщательности, дабы понять: каким образом родилась и выжила их зловещая непобедимость. Официальному писателю присуще единство стиля и ситуации; он сознает это единство; он далеко не всегда глуп; порой он по-своему прозорлив. Вот один из адептов культа — Феликс Кузнецов — замечает точно, что главное в литературе «...проблема писательской позиции, а также проблема целостного взгляда литературы на жизнь, включающая в себя как сферу граж-

данскую, так и сферу частную» («ЛГ», 3 дек. 1980, с. 4). — Облик Ф. Кузнецова ясен достаточно, чтобы не сомневаться, какую-такую позицию подразумевает этот деятель. Однако снова же: нетрудно со смешком отмахнуться от этого, но полезнее — поразмыслить над тою железною последовательностью, с какой этот и другие «писатели» проводят свою линию. Бездуховность и продажность этой культуры, ввергающие ее в ничтожество, не могут не отталкивать; но невозможно, увы, отрицать сам факт победоносного существования этой ущербной культуры... Советский писатель умышленно не желает оставаться «просто писателем»; в этом он подобен западному коллеге, хотя «стилеобразующие ситуации» у них различны.

С другой стороны, писатель, пытающийся в наших условиях работать самостоятельно, также не становится «просто писателем». Хотя он-то как раз — может быть, он один во всем мире (не считая малого числа крайних реакционеров на Западе) — к этому и стремится... Потому я и назвал общую картину современной литературы парадоксальной: западный писатель может, но не желает занять позицию «просто писателя» — наш же независимый писатель не может, хотя всею душою желает. Один только партийный советский писатель равен себе, своему стилю и своей ситуации.

У нас попросту нет условий — социально-материальных и юридических — для существования «просто писателя». Нет условий его общественного признания как писателя, нет шансов на профессиональный заработок, но самое страшное — нет уверенности в том, что однажды не оступишься в бездну, откуда и этот унижительный нищий быт предстанет как желанная свобода. Можно было бы — с чисто культурной точки зрения — счесть эти обстоятельства внешними, но степень этих невзгод такова — и в этом суть дела, — что они отнюдь не только пронизывают со-

бою во всех направлениях повседневный быт, но — в этом заключена принципиальная особенность — посягают на самое душу. И не только твою, но и твоих близких, друзей, единомышленников. Поэтому «отвлечься» от этих обстоятельств — означало бы отвлечься и от собственной совести.

Это не может не сказаться на внутренних особенностях творчества. Оно с неизбежностью окрашивается в цвета бушующих вокруг невзгод. Можно и нужно силою духа отталкиваться от этих условий, возвышаться над ними, но ведь и сама сила духа — она проявляется в э т и х условиях, по контрасту с н и м и, вопреки и м.

И в нашей поэзии выработалась уже родившаяся на этой почве традиция. Вопреки Бахтину, в этой традиции автор имеет (хотя большей частью поневоле) как раз и с и т у а ц и ю, и с т и л ь. Это ситуация подавления, это стиль полуподпольного братства, пафос обреченного, но непобедимого дежурства — и нищей, а оттого бесценной любви.

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло? —

говорит Ахматова. С интимностью, невыносимой для «просто писателя», обращается к нищенке-подруге Мандельштам:

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин...

Эти стихи невозможно почувствовать с точки зрения «просто литературы», нельзя понять как «текст». Разве в тексте не резанет поначалу дурацкая рифма «посидим — керосин», а под конец не раздражит ин-

фантильной сентиментальностью пожелание «...уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал»? Замкнутая на себя в тексте, интонация стихов этих умрет; она строится в расчете на активное сопереживание слушателя, на «узнавание» общей атмосферы — жутко-тревожной атмосферы, охватившей всю страну и сплотившей подспудно лучшую часть ее народа.

Вот оба поэта встречаются, и Ахматова, навеющая Мандельштама в ссылке, произносит:

И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвонят сильнее,
Как будто пьют за ликование наше
На брачном пире тысячи гостей.

Вот и ситуация: тут и культовая церемония, и пир. Тополям велено зазвенеть не как что-нибудь, но именно как сдвинутым чашам.

Не так ли справляли свои нищие празднества гонимые первохристиане?.. Но в нашей «ситуации» пир несколько преобладает над культом. Русская поэзия XX столетия несла в себе черты былой «секуляризации», мучилась ностальгией по «просто писательству» минувшей эпохи. Стремление к культу — к культу сопротивления, только и возможному в этих условиях, — было часто смутным; но оно бесспорно, это стремление. Те поэты были плоть от плоти XIX столетия — и старались удержать, согреть, отстоять душу безвозвратно отошедшего времени. Им не давали... Что же оставалось? Оставалась любовь — и небогато накрытый стол в доме, вдвойне уютном оттого, что «дворник с черными усами стоит всю ночь под воротами» и что в дверь каждую минуту могли (и могут) постучаться незваные гости... Вся эта материя с ходу становилась поэтикой.

И слово такой поэтики вызывает никак уж не к «дальнейшему развитию, исправлению и дополнению».

Кошунственно было бы тут говорить об исправлениях и дополнениях (пожалуй, Бахтин вообще с этим определением погорячился: не только лирик, но и прозаик-романист может обидеться, коли слово его примут лишь как отправную точку, материал «исправлений и дополнений»!). Нет, это слово требует именно «благоговейного повторения», а то и коленопреклонения.

Слово это — безоговорочно:

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Слово это — авторитарно, и на вершинах обретает какое-то немислимо хорошее, всемирное звучание:

И в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

Мандельштам не зря «Стихи о неизвестном солдате» сравнивал с ораторией.

Такова традиция, сложившаяся в 20-30-е годы и прервавшаяся, в основном, на рубеже 50-х и 60-х. Поэты, начавшие свой путь до революции, хорошо помнили прошлое, помнили нормальные культурные условия, помнили бытие «просто писателей». Новое родилось на контрасте этой их памяти (замешанной на редкой душевной силе) — с катастрофической ненормальностью происходящего. Традиция рождалась настолько непредвзято, органично, живо, что здесь

непочатый край работы для исследователя культуры... Но за теми мастерами пришли люди, которые, с одной стороны, не имели за собою «царскосельского» прошлого, с другой же — испытывали чрезмерные «оттепельные» иллюзии в отношении к настоящему.

Об этом достаточно сказано было в начале. Попытка возврата к «просто писательству» была настолько утопичной, а последующее разочарование — настолько неизбежным, что вся «прекрасная эпоха» («бронзовый век») оказалась лишь пародийным повтором того — поистине эпохально-глубокого — перелома, который застиг ушедшее великое поколение. Лишь разобравшись с этим, можно в теории и на практике покончить с тупиком, куда заводят нас директивы иронических публицистов и запоздалые пророчества Бахтина.

2. Помимо этих историко-культурных соображений, нелишне заметить: Бахтин напрочь не принимает во внимание всем известных особенностей русской традиции писательства. Столь чуткий к «приключениям жанра», он вообще чересчур легко перепрыгивал нередко, прослеживая жанровые традиции, через рубежи традиций национальных. А ведь не нуждается в доказательствах извечная повышенная ответственность, проповедническое самоощущение русского писателя — и даже соответствующее отношение к писателю русского общества (что, в скобках заметим, есть одна из причин нынешнего «бережного» отношения к литературе со стороны официальных органов). Это проявилось уже и в благообразном XIX веке. Язык Пушкина (кстати, иронический лишь на поверхностном уровне: по большей части сказалось это в письмах, тяготеющих ко французской эпистолярной традиции) лег в основу литературного языка нации, сказанное же на этом языке Пушкиным — живой кодекс чести нашей культуры... Поэтика, рождающаяся на

такой основе, не могла и не может тяготеть к оговорочному слову.

3. Последнее. Бахтин говорит об ироничности слова новых языков. Но не зря этот разговор о культуре вертится все время вокруг лирического жанра. Законы этого жанра изначально отличны и от романной прозы нового времени и даже от общеязыковых тенденций. Об этом писал когда-то блестяще ... Михаил Михайлович Бахтин.

«Язык в поэтическом произведении осуществляет себя как несомненный, непререкаемый и всеобъемлющий. /.../ Мир поэзии, сколько бы противоречий и безысходных конфликтов ни раскрывалось в нем поэтом, всегда освещен единым и бесспорным словом. /.../» — А поэтому «...язык поэтических жанров, где они приближаются к своему стилистическому пределу, часто становится авторитарным, догматичным и консервативным /.../» (Слово в романе. 1934—1935. — В кн.: М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 99-100).

Отвергая ради иронии авторитарное слово как таковое, Бахтин должен был бы целиком отвергнуть лирическую поэзию как жанр! Законы лирической поэзии в этом смысле редкостно совпали и с особенностями национальной традиции, и с культурными тенденциями эпохи. Не потому ли в последние полвека сбывается мандельштамовское пророчество о «конце романа» (упадок особенно ошутим на вершинах жанра: взять хотя бы рафинированную консервацию формы Набоковым, у которого от романа к роману все безнадежней улетучивалось тепло содержательного смысла) — поэзия же в эти годы расцветала на ледяных ветрах?

Покушения духа мыслящего и анализирующего на дух страждущий и созидающий — дело не новое. Но поэты не уйдут из города, уповая на авторитет современной науки, как не ушли из города, уповая

на авторитет Платона. Нынешняя волна ёрничества в поэзии порождена отчаянием слабости. Но стоит ли отчаиваться? Поэзия (на всех уровнях: от личностного поэтического темперамента до глубин поэтического слова) способна и призвана держать линию сопротивления среди нестройной разноголосицы во всеобщем распаде. Светит ей этот путь и теперь.

Так обстоит дело в наш век... хотя и походит он больше на свинцовый, нежели на бронзовый.

14-20 декабря 1980

Москва

ПИСЬМО В РОССИЮ

(К 70-летию Л. К. Чуковской)

Дорогая Лидия Корнеевна!

В день Вашего семидесятилетия я думаю, прежде всего, о Вашем исключительном мужестве — о том мужестве, которое начало проявляться не в «оттепель», не тогда, когда оно временно перестало быть опасным. Ваша «Софья Петровна», рядом с «Реквиемом» Ахматовой, — редкое свидетельство о временах «великой чистки», написанное не из безопасного исторического отдаления, но в самом «сердце тьмы», когда конфискация одной страницы, одной строчки подобной рукописи могла навеки прервать и литературную деятельность, и самую жизнь. Пока было возможно, Вы служили русской культуре, ее исторической памяти, «великому русскому слову» на страницах официальных изданий и книг, выходящих в советских издательствах. Но отказ наклеивать «марку» идеологии на послание культуры, но первые же Ваши выступления в защиту гонимых — и среда советских писателей извергла Вас как чужеродное тело. «Вы — свободны!» — не понимая смысла собственных слов, объявили Вам они, холопы. Ваши книги последних лет: «Записки об Анне Ахматовой» и «Процесс исключения» — навсегда останутся пособием по истории русской литературы 30-70-х годов XX века, доказательством невозможности закабалить ее подлинные вершины. Я — не я одна — с нетерпением жду третьего тома «Записок», книги «Дом поэта», новых Ваших работ. Дай Вам Бог здоровья в Ваших нелегких трудах.

Наталья Горбаневская

Жорж Нива

ЗАБЫТАЯ ЗАМЕТКА БЛОКА О «ДВЕНАДЦАТИ»

Двадцать восьмого августа 1921 года Петербургская «Вольная Философская Ассоциация» торжественно почтила память Блока. Это было открытое заседание. Выступили по очереди Андрей Белый, А. З. Штейнберг и Р. В. Иванов-Разумник, основатель самой «Вольфи́лы». Штейнберг рассказал об аресте Блока 14 февраля 1919 года. В тот день рано утром петербургская Ч.К. арестовала Р. В. Иванова-Разумника (в Царском Селе) и всех его друзей. Пришедший арестовать Штейнберга агент Ч.К. утешал его, как мог: «Не расстраивайтесь, у нас сегодня список большой, и все — писатели, художники, профессора». В списке значились и Петров-Водкин, и Алексей Ремизов, и Александр Блок... Собственно, это был весь кружок основателей «Вольфи́лы»... Всех выпустили спустя несколько часов или суток. Блок провел одну ночь на Гороховой, где помещалась Ч.К.

На том же заседании 28 августа Иванов-Разумник рассказал об отношении Блока к «Вольфиле». «Вольфи́ла» зародилась вокруг самого Иванова-Разумника и идеи «скифства». Известны сборники «Скифы», вышедшие в 1917 и 1918 гг. Блок в сборниках не участвовал, но должен был участвовать в третьем, не осуществившемся. «Только случайным отсутствием Александра Александровича из Петербурга и спешностью печатания сборника объяснялось отсутствие имени Блока в 'Скифах'», — пишет Иванов-Разумник. «Скифство» состояло в идее «духовного максимализма, катастрофизма, динамизма», а такая идея была очень «блоковская», она была для Блока «тождественна со стихийностью мирового процесса». Первое заседание «Вольфи́лы» было посвящено докладу Блока «О крушении гуманизма».

Выступление Андрея Белого, того же 28 августа, было самое синтетическое из всех трех. Блок, по Белому, был всегда максималист, но максималист «духовный», не политический.

Цитируя знаменитое стихотворение Блока «Скифы» 1917 года («Пока не поздно — старый меч в ножны, / Товарищи! мы станем — братья»), Белый так истолковал «скифство» Блока: «Да, *братья, братья*; «товарищи» — это только начало... Александр Александрович теперь уже знает, что политическая революция — «граждане» — сон пустой, она вызывает к социальной; и социальная революция («товарищи») — сон пустой, она вызывает к духовной, к революции сознания».

Под конец своего выступления Белый задает себе вопрос: «Можно ли причислить Александра Александровича к тем или иным партийным влияниям?», и отвечает «обнародованием» одной неизвестной заметки Блока о «Двенадцати». Заметка была набросана карандашом на четырех вырванных из блокнота Блока страничках. Ее нашли друзья поэта после его смерти. Она носит дату «1 апреля 1920 года». По «поручению Вольной Философской Ассоциации» ее привел полностью в своей речи Андрей Белый.

Тексты всех трех выступлений 28 августа были полностью опубликованы в специальной брошюре «Вольной Философской Ассоциации» в следующем году, т. е. в 1922¹.

Отдельно и полностью заметка была опубликована лишь раз, в эсеровском альманахе «Пути революции», вышедшем в Берлине в 1923 году².

Сборник, который Иванов-Разумник издал в Берлине в 1923 году (сам он остался в Петрограде, но многое из того, что тогда писалось в России, печаталось в Берлине), продолжает линию двух петроградских сборников «Скифы»³: здесь также основной мотив — «скифство», «вечная революционность». В сборнике помещены большая статья И. З. Штейнберга «Дантоново и Робеспьерово начало в революции», очерки о НЭПе, воспоминания одной эсерки, члена Боевой организации партии, о Киеве под властью деникинцев... Отдел «Материалы» открывается «Запиской» Блока.

В 1933 году тот же Иванов-Разумник (который в указанный промежуток успел посидеть несколько раз в тюрьме) вновь опубликовал «Записку о Двенадцати» — в пятом томе Собрания Сочинений Блока, но теперь — со значительными сокращениями, причем ссылаясь он не на «Пути революции», а на брошюру, выпущенную Вольной Философской Ассоциацией в 1922 году⁴. В Собрании Сочинений 1960 года редактор Владимир Орлов сокращает «Записку» еще больше и в комментариях ссылается лишь на издание 1933 года⁵.

Причины, по которым Иванов-Разумник в 1933 году сократил «Записку» и не сослался на свой же берлинский сборник, очевидны. Он также не мог бы в 1933 году переиздать свою речь 1922 года. Настало время самоцензуры, даже в академических изданиях.

Между тем, пропущенные места из «Записки о Двенадцати» и сама история печатания этой заметки уточняют и позволяют лучше понять и определить «политическую философию» Блока.

Когда Блок написал заметку, он уже не верил революции, больше не слышал ее «гула»⁶. Как сказал Иванов-Разумник, «поэт революции не пережил революции. Не душа Блока изменилась — изменилась душа революции; ни от чего Блок не отрекся, но он задохся, когда исторический воздух, очищенный стихийным взрывом, снова отяжелел и сгустился»⁷.

В первом абзаце «Записки» Блок упоминает свои связи с левыми эсерами. Подлинная «октябрьская революция», по Блоку, длилась «три-семь месяцев», то есть до запрещения эсеровского журнала «Наш Путь» и эсеровской газеты «Знамя Труда». Блок тогда регулярно печатался в обеих этих публикациях, в них опубликовал «Двенадцать». Своим участием в этих эсеровских журналах Блок себе нажил осуждение и даже презрение части российской интеллигенции, для которой он принадлежал к «прихвостням правительства» и к «изменникам»⁸. Блоку и всей группе «Скифов» действительно была предоставлена в левозэсеровской печати вся «культурная» часть. «Скифы не партийны, — толкует Иванов-Разумник, — но они не аполитичны. Правда вот в чем: левые эсеры были тогда единственной политической партией, понявшей все глубокое значение культуры вне всякой политики». И в самом деле, ни Блок, ни Белый, ни Иванов-Разумник не были членами партии Левых с.-р. Но их «революционность» нашла у с.-р. поддержку и помощь. Подавление Левых эсеров, закрытие «Знамени Труда» означали для Блока, как видно из «Записки», конец того периода, когда правительство «относилось терпимо к революции». Травля этой «скифской» группы происходила с обеих сторон: Бунин и Гиппиус больше не подавали руки Блоку, по крайней мере «общественно»⁹, издевались над «пошлостями» «Двенадцати»; а с другой стороны, новая власть закрывала газеты, с подозрением следила за основанием «Вольфилы» и даже затеяла арест всей группы¹⁰.

Если Блок подчеркивает в «Записке», что он не отрекается от «Двенадцати», это потому, что многие могли бы так подумать. Не исключено, что «одна капля политики» может портить целую бочку поэзии; но та же капля может быть «бродилком». Главное, что чув-

ствуется в «Записке», это грусть и страшное утомление: кончилась «октябрьская революция», затихла «стихия»; говоря языком Андрея Белого, «Дракон государственности опанхнул его своим издыханием».

*
*
*

Рукопись «Записки» находится в Пушкинском Доме, в архиве Блока. Мы ее публикуем по тексту «Путей Революции», который мы сличили с речью Белого на заседании Вольной Философской Ассоциации. Нам показалось небезынтересно указать курсивом ту часть текста, которая воспроизводится в Собрании Сочинений 1933 года. В Собрании Сочинений 1966 года текст еще более сокращается. Он начинается в середине «Записки» и даже в середине одной фразы: «...в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914».

ЗАПISКА О «ДВЕНАДЦАТИ»

С начала 1918-го года, приблизительно, до конца октябрьской революции (три-семь месяцев) существовала в Петербурге и Москве свобода печати; т. е., кроме правительственных агитационных листков, были газеты разных направлений и доживали свой век некоторые журналы (не из-за отсутствия мыслей, а из-за разрушения типографского дела, бумажного дела и т. д.); кроме того, в культурной жизни, в общем, уже тогда заметно убывавшей, было одно особое явление: одна из политических партий¹¹, пользовавшаяся во время революции поддержкой правительства, уделила место и культуре: сравнительно много места в большой газете, и почти целиком — ежемесячный журнал¹². Газета выходила месяцев шесть (кроме предшествующего года); журнал на втором номере был придержан, и потом — воспрещен.

Небольшая группа писателей, участвовавшая в этой газете и в этом журнале, была настроена рево-

люционно; что и было причиной терпимости правительства (пока оно относилось терпимо к революции). Большинство других органов печати относилось к этой группе враждебно, почитая ее даже собранием прихвостней правительства. Сам я участвовал в этой группе, и травля, которую поднимали против нее, мне очень памятна. Было очень мелкое и гнусное, но было и острое. Иных из тогдашних врагов уже нет на свете, иные — вне пределов бывшей (и будущей) России; со многими я помирился даже лично; только один до сих пор не подает мне руки. Недавно я говорил одному из наших врагов, едва ли и теперь проотившему мне мою деятельность того времени, что я, хотя и не мог бы написать теперь того, что писал тогда, не отрекаюсь ни в чем от писаний того года. Он отвечал мне, что не мог тогда сочувствовать движению, ибо с самого начала видел, во что оно выльется; меня же понимает постольку, поскольку знает, что я более «отдаюсь» стихии, чем он. Это совершенно верно: в январе 1918-го года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого¹³. Оттого я и не отрекаюсь от написанного, что оно было писано в согласии со стихией¹⁴: например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видят в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, — будь они враги, или друзья моей поэмы. Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и

искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи¹⁵, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней!

Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на раду-гу, когда писал «Двенадцать», оттого в поэме оста-лись капли политики. Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так гряз-на, что одна капля ее замутит и разложит все осталь-ное; может быть, она не убьет смысла поэмы; мо-жет быть, наконец, — кто знает! — она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» про-чтут когда-нибудь и не в наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но — не будем сейчас брать на себя решительного суда.

Александр Блок

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Памяти Александра Блока. Андрей Белый, Иванов-Разумник, А. З. Штейнберг. «Вольная Философская Ассоциация», Петербург, 1922. Перепечатано в Англии в 1971 году (Prudeaux Press). См. стр. 30-32.

2. Пути революции. Статьи, материалы, воспоминания. Пре-дисловие Р. В. Иванова-Разумника. «Скифы». Берлин, 1923. См. стр. 277-278.

3. «Скифы, Сборник I» и «Скифы, Сборник II» вышли в 1917 и в 1918 году, соответственно. Первый был посвящен войне, второй — революции.

4. Александр Блок, Собрание Сочинений, том V. Поэмы, 1911-1921. Редакция текста Иванова-Разумника при участии Д. М. Пине-са. «Издательство Писателей в Ленинграде», Ленинград, 1933. См. стр. 132-134.

5. Александр Блок, Собрание Сочинений, том III. Стихотворе-ния и поэмы, 1907-1921. Под общей редакцией В. Н. Орлова, А. А.

Суркова и К. И. Чуковского. Подготовка текста и примечания Вл. Орлова. ГИХЛ. М.-Л, 1960.

6. 9-го января 1918 года Блок записал в записную книжку: «На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слушал гул, гул: думал, что началось землетрясение».

7. Памяти Александра Блока, стр. 55.

8. Блок начал печататься в «Знамени Труда» 19 января 1918 года. 22-го он записывает: «Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском зале, и толпа кричала по адресу его, А. Белого и моему — изменники!».

9. О последней своей встрече с Блоком пишет Зинаида Гиппиус в «Живых Лицах» (Прага, 1925). Они встретились в трамвае, и Зинаида Гиппиус, протягивая руку, сказала: «Только лично. Не общественно».

10. Об этом аресте в советском литературоведении первый говорил Владимир Орлов в своем «художественно-документальном повествовании» о жизни Блока, *Гамаюн* («Дружба народов», 1977, XI). Орлов не дает никаких источников, никакой библиографии, но впервые приводит отрывок из протокола допроса Блока в Ч.К. «В партии левых с.-р. никогда не состоял и не поступил бы ни в какую партию, так как всегда был вдали от политики». О своем сотрудничестве в левозеро-вской печати Блок, по Вл. Орлову, ответил, что сотрудничал в «Знамени Труда» и в «Нашем Пути» «по причине, что, сочувствуя течениям социализма и интернационализма, склонялся всегда более к народничеству, чем к марксизму».

11. А. Блок имеет в виду партию левых с.-р.

12. Блок имеет в виду «Знамя Труда» и «Наш Путь».

13. В январе 1907 года написал цикл «Снежная Маска», в марте 1914 года — цикл «Кармен».

14. Тут Андрей Белый включил следующее замечание от себя (оно в скобках и вне кавычек в Вольфильском тексте): «с тем звуком органическим, которого он был выразителем всю жизнь!» В «Пути Революции» это замечание ошибочно вошло в самый текст Блока.

15. Так называли Финский залив по имени министра флота при Александре I маркиза де-Траверсе.

К ИСТОРИИ САМОЦЕНЗУРЫ В «НОВОМ МИРЕ»

Цензурные трудности, с которыми сталкивался «Новый мир» во времена Твардовского, общеизвестны. Вероятно, можно умножить число примеров, которые покажут, как одни произведения не пропускались цензурой, а другие попадали на страницы журнала искалеченными, какими средствами главный редактор, редакция и авторы ухитрялись обходить цензурные препятствия, однако в целом картина ясна. Известны примеры иного рода: когда редакция даже не решалась представить то или иное произведение на рассмотрение цензуры, заведомо считая это безнадёжным. Так было с романами Солженицына, так было с «Реквиемом» Ахматовой. Тут, во всяком случае, редакция не прибегала к отговоркам, не убеждала себя в том, что сама не хочет этого печатать. Однако выдерживать такую позицию постоянно было, вероятно, психологически невозможно: хотелось уверить самих себя в том, что та или иная вещь отвергается «не только потому, что она непроходима». Пример такой глубинной внутренней самоцензуры — публикуемые нами фрагменты обсуждения редколлегией «Нового мира» повести Фридриха Горенштейна «Зима 53-го», знакомой читателю «Континента» (№№ 17-18).

А. Кондратович: Это именно «угол зрения», а не широкий и объективный взгляд на жизнь. Автор настойчиво хочет испугать меня, и в этом я вижу преднамеренность, едва ли добрую, во всяком случае — надуманную. Написана повесть местами (особенно в начале) так усложненно, с таким обилием рудничных терминов, что разобраться в этом нелегко. Патологичность характера главного героя несомненна, так же как некоторая болезненность авторского отражения этого характера. Но последнее, возможно, от моды.

Е. Герасимов: Боюсь, что в данном случае Анна Самойловна [Берзер, сотрудник отдела прозы, рекомендовавшая повесть к публикации — Ред.] ошиблась. Поведение героя повести кажется патологичным, и что хотел сказать автор — я не понял.

Б. Закс: О печатании повести не может быть и речи — не только потому, что она — непроходима. Это еще не вызывает ни симпатии, ни сочувствия к авторскому видению мира. Шахта, на которой работают вольные люди, изображена куда страшнее, чем лагеря; труд представлен как проклятие; поведение героя — сплошная патология; повествование на редкость алогично, а обилие технических подробностей не помогает, а мешает понять что-либо. Талант автора сильно преувеличен в известных мне устных отзывах. Хотя, надо признаться, отдельные эпизоды написаны сильно. Если, как пишет А. Берзер, перед нами «произведение сложившегося талантливое писателя», то — надо признать прямо — это талант больной, и болезнь неизлечима. Другое дело, если повесть — произведение незрелого, неопределившегося писателя. Тогда это случай тяжелый, но не безнадежный.

В № 31 «Континента» на стр. 381 по недосмотру типографии выпала подпись автора статьи «Симптомы 'бурбонизма'» *Германа Андреева*. Приносим глубокие извинения автору и читателям.

**ПИСЬМО СТЕФАНА МАРИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ
ТОДОРУ ЖИВКОВУ**

Господин Председатель,

Сегодня, 19-го апреля 1982 г., неофициальным путем я узнал, что указом №3039 от 28 декабря 1981 г., подписанным Вами, я лишен болгарского гражданства и вся моя движимая и недвижимая собственность подлежит конфискации. Санкция мотивирована тем, что моя деятельность наносит вред интересам Народной Республики Болгарии.

Желаю довести до Вашего сведения, что Болгария конституционное государство, управляемое законами, а не прихотями и капризами административных лиц. Ваше мнение относительно того, вредит ли моя деятельность интересам НРБ, совсем недостаточно, чтобы я был лишен болгарского гражданства. Эту санкцию может дать только суд, где прокурор предъявляет обвинение и где я могу защититься.

Готов в любой момент прибыть в Софию и показать перед судом, что моя деятельность физика, социалиста и пацифиста не только что не вредит интересам НРБ, но исключительно необходима, чтобы провести процесс демократизации и демилитаризации Болгарии как можно более быстро и более радикально и чтобы имя болгарской науки было поднято высоко перед миром. Я не Ленин, чтобы бояться предстать перед государственным судом и пытаться укрываться тут или там. Уважаю суд НРБ и приму с полным удовлетворением любой его приговор, будь он и несправедливый, твердо зная, что несправедливый приговор тяготеет не над осужденным, а над тем, кто его произносит. Но если Вы лишите меня возможности предстать перед законным судом в Софии, значит, суд боится меня.

С уважением

Стефан Маринов

ГОРЕ ОТ УМА

«Если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно со мною, — их первым действием было бы уйти из Центральной Америки, из Азии, из Восточной Европы, оставив все эти народы их собственной вольной судьбе. Их вторым шагом было бы прекратить убийственную гонку вооружений, но направить силы страны на лечение внутренних, уже почти вековых ран, уже почти умирающего населения. И уж конечно открыли бы выходные ворота тем, кто хочет эмигрировать из нашей неудачливой страны. Но удивительно: все это — не устраивает Ваших близких советников! Они хотят — чего-то другого».

Александр Солженицын
(из письма Президенту США
Рональду Рейгану)

Не так давно мне довелось оказаться свидетелем передачи по французскому телевидению, посвященной Сталину, в которой участвовали четыре здешних советолога и два советских, так сказать, очевидца событий — выпускник Института Красной Профессуры, автор популярнейших (даже среди партаппаратчиков!) политологических книг Абдурахман Авторханов и бывший личный секретарь «великого кормчего», политический публицист Борис Бажанов.

В течение почти часовой дискуссии четверо ученых французов, среди которых в особенности выделялась одна бойкая дама, слывающая во Франции большим знатоком по всем проблемам, начиная от политологии до столоверчения включительно, и небезызвестный переводчик русской литературы, кстати сказать, осуж-

денный в свое время французским судом за измену родине в пользу СССР и, спустя несколько лет, помилованный де Голлем, практически не дали своим русским оппонентам раскрыть рта: с чисто семинаристским апломбом они до конца передачи объясняли двум дикарям из России, что же такое на самом деле являл собою «вождь всех времен и народов». Честно говоря, мне — их соотечественнику — хотелось при этом одновременно и плакать, и смеяться. Вот уж воистину: «Еще б ты более поднавострился...»!

Эпизод с этой злополучной передачей вспомнился мне в связи с недавней перепалкой, кратковременно вспыхнувшей на страницах «Русской мысли» по поводу, казалось бы, рядовой публикации. Суть дела вкратце такова: один *западный* интеллектуал отрецензировал (может быть, даже и не совсем справедливо!) научный труд другого *западного* интеллектуала, а третий *западный* интеллектуал (причем, из тех, кто обычно поучает нас, «нетерпимых советских дикарей», правилам достойной полемики) возмущился несправедливостью этой рецензии. Казалось бы, не произошло ничего из ряда вон выходящего.

Все было бы, разумеется, в порядке вещей, если бы автор отклика остался на уровне своего научного положения и проповедуемых им правил. К сожалению, содержание и тон его заметки оказались таковы, что даже попривыкшая ко всему Редакция (поговаривают!) вынуждена была сократить наиболее вызывающие выражения, дабы не унижать их оглашением уважаемого имени автора.

Но даже в том, что осталось, моим, привыкшим к советской демагогии, ухом прослушивается знакомая мне еще со времен моей газетной работы музыка: если, к примеру, в какой-либо статье, спектакле, фильме, книге задет бухгалтер или, того хуже, отставной полковник, то редакцию засыпают письмами «от имени» всех бухгалтеров или отставных полковников, в

которых авторы оскорбляются за все свое сословие и клеймят обидчика всякими нехорошими словами. Уму только непостижимо, как такая же психология проникает в душу человека, казалось бы, родившегося и выросшего в условиях свободы? А ведь в его заметке так и написано, как говорится, черным по белому, будто в лице обиженного (пусть даже несправедливо!) слависта оскорблена вся французская славистика. Поговаривают, что были письма и похлеще и тоже от вполне почтенных деятелей Сорбонны. Вот вам и «европейский» уровень полемики!

Видимо, этот самый «европейский уровень» обязаны соблюдать только мы — «тоталитаристы» из России, — а для французских профессоров он, этот самый уровень, совсем необязателен.

Слов нет, французская славистика блистает такими, подлинно научными и высокопочитаемыми среди нас именами, как неувядаемый Пьер Паскаль, Ален Безансон, Жорж Нива, Элен Замойская и ряд других. Все они — подлинные знатоки своего предмета, соединяющие это свое знание с любовью к истории и культуре той страны, которую они изучают. И если благодарность всех мыслящих людей России может служить им хотя бы относительной компенсацией за их подвижнический труд, то они могут быть в ней уверены.

Но, к сожалению, интеллектуальное высокомерие не заменяет ученому ни ума, ни таланта. Порыться раз-другой в архивах Румянцевской библиотеки или подержаться однажды за фалду русского классика, это еще не значит стать специалистом в области русской истории и литературы. Авторам вышеозначенных писем в русскую печать, при всех их заслугах в собственных областях, следует быть гораздо скромнее или хотя бы (учитывая трагический опыт нашей новейшей истории) деликатнее.

Давайте не учить, а учиться друг у друга. У французских славистов появилась теперь благодарная возможность многое узнать (хотя бы критически!) об истории и литературе той страны, которую они изучают, от людей, познавших эту страну на своем собственном и зачастую весьма поучительном опыте. А у нас, в свою очередь, появилась такая же возможность непосредственно познать наконец смысл и дух европейской культуры. И, уверяю вас, мы готовы учиться и делать выводы, но, упаси Боже, не на таких примерах, как упомянутая выше полемика на страницах «Русской мысли». Этому мы могли научиться и в Советском Союзе. Весьма сожалею, но это так.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР

Ежемесячная литературная газета

Главный редактор Михаил МОРГУЛИС

В издании участвуют авторы всех волн эмиграции, всех литературных направлений. Единственным критерием оценки материалов для редакции служат слова Бориса Пастернака: «Талант — единственная новость, которая всегда нова». В ближайших номерах: И. Башевис-Зингер, В. Максимов, И. Бродский, В. Аксенов, М. Булгаков, Н. Коржавин, Л. Ржевский, В. Марамзин, И. Елагин, А. Антонович, С. Блох и многие другие.

Годовая подписка: для жителей США и Канады — 12 долл.,
для жителей Европы — 15 долл.,
для жителей России — бесплатно.

Цена отдельного номера — 1 доллар.

Заказы и письма направлять:

Literary Courier, 106 Rivington St.
New York, N.Y. 10002, USA

или

B. SHLAEN,
38, rue Martre, apt. 101, 92110 CLICHY, FRANCE

Наша почта

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКТОРУ «КОНТИНЕНТА»

Многоуважаемый г-н редактор!

До России дошел номер «Континента» с первой частью труда г-на Хейфеца, в котором рассказывается история жизни В. Осипова, редактора 9-ти номеров журнала «Вече», издававшегося в Москве с 1971 по 1974 год.

Работа г-на Хейфеца содержит тяжкие обвинения в адрес четырех человек, из которых одного уже нет в живых, другой 6 августа с. г. арестован органами КГБ.

Выбор обвиняемых не случаен. Покойный Юрий Машков был первым мужем В. Машковой-Осиповой. Трое других — активные участники журнала «Вече» до самого его закрытия. Как известно, издание журнала было прекращено редакцией после выхода 10-го номера из-за начатого органами КГБ следствия по делу В. Осипова.

Иван Овчинников — редактор последнего 10-го номера.

Анатолий Иванов, историк и публицист, ныне арестованный органами КГБ, был одним из самых активных авторов и сотрудников журнала до самого его закрытия.

Светлана Мельникова — фактический соредактор журнала с 3-го по 10-й номер включительно. На ее плечах лежала вся тяжесть практической редакционной работы.

Что касается обвинений, выдвинутых против А. Иванова и И. Овчинникова в первой части труда Хейфеца, то конкретный материал, их опровергающий, содержался в статье А. Иванова, написанной им

за несколько дней до ареста и изъятой органами КГБ при обыске. К сожалению, я не обладаю данными, чтобы восполнить этот материал, т. к. знал А. Иванова, как и В. Осипова, в более поздний период, только по «Вече». О деле с участием И. Овчинникова также не имею достаточных сведений.

Юрия Машкова знаю по последним годам своей лагерной жизни (1960-1962 гг.). Не только я, но и другие бывшие политзаключенные (свящ. Георгий Петухов, свящ. Борис Кирьянов и многие другие, уверен также, что и сама Валентина Машкова-Осипова) могут свидетельствовать, что Юра Машков — не доносчик. Человек чрезвычайно трудной судьбы, он почти всю сознательную жизнь провел в лагерях, рано умер на чужбине. И теперь, после его смерти, обрушивать на него обвинения, на которые он сам уже не может ответить, — нечистоплотно и жестоко.

О Светлане Мельниковой, которую г-н Хейфец никогда не знал лично, так же, как и предыдущих троих обвиняемых им людей, он пишет как об «агенте КГБ».

Как участник «Вече» и клирик Русской Православной Церкви, прошу опубликовать следующее мое свидетельство.

Никаких «агентов КГБ» в «Вече» не было. Конфликт в редакции «Вече» был вызван не происками гебистов, а духовной и нравственной незрелостью нас самих. Всем сотрудникам «Вече», всем, кто близко их знал, хорошо известны подлинные причины этого конфликта.

Версия, в свое время изложенная М. Агурским, о том, что конфликт в «Вече» будто бы был вызван борьбой между «голубями»-юдофилами и «ястребами»-антисемитами, также не имеет под собой никакой реальной почвы.

Светлана Мельникова никогда не была «агентом КГБ». Искренно и самоотверженно она работала в

журнале, достойно вела себя на следствии. Не переоценивая возможностей «Вече», она понимала его задачу как культурную и нравственную. Ее влияние на направление и качество журнала было несомненно благотворно. Именно С. Мельникова, со всей незаурядной ее энергией, постоянно противостояла антисемитским тенденциям. Благодаря ее активному вмешательству, например, была полностью заменена передовая статья первого номера «Вече», которая в первоначальной своей редакции дала повод П. Якиру информировать Запад о выходе в Москве «шовинистического», «черносотенного» журнала. В. Осипов в письмах лично ко мне неоднократно называл С. Мельникову «семиофилкой».

Версия, излагаемая г-ном Хейфецем, исходит от людей, не знающих покаяния и не желающих каяться. Этот недуг, широко распространенный среди новых христиан, препятствует обращению России больше, чем официальная лжерелигия марксизма. Корни этой болезни уходят далеко в глубь истории. Но сейчас она становится особенно ядовитой и позорной. Мы успеваем съедать друг друга раньше, чем прикоснется к нам КГБ. Потому и бесплодны все наши подвиги. Мы готовы громогласно обличать власть имущих и садиться в лагерь на большие сроки. Но факты говорят, что в нас самих, называющих себя христианами, нет даже приближения к тому, чем должно быть христианство, к той любви, которая «не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, и *никогда не перестает*»... (1 Кор. 13, 4-8). Такой любви в нас нет. Единственное плодоношение, на которое способна наша скоропреходящая любовь — это любая грязная сплетня в адрес не угодившего друга, вчерашнего соратника, а в случае особой важности — неотразимый, нокаутирующий удар — «агент КГБ»!

Такого сорта сплетня с удовольствием подхватывается и гебистами: нет лучше средства для создания вакуума вокруг честных и дееспособных людей.

Среди новых христиан поразительным образом свирепствует та бесовщина, которую описал еще Достоевский, но только еще более отвратительная, потому что те бесы открыто исповедывали атеизм.

Уроки «Вече» — очень горькие. Но становится еще горше, когда читаешь опусы, подобные сочинению г-на Хейфеца, где героизация одних достигается клеветой на других.

Прошу редакцию «Континента» прекратить дальнейшую публикацию крайне недоброкачественного материала, уподобляющего Ваш журнал типичным образцам партийной литературы.

Иеродиакон Варсонофий (Хайбулин)

август 1981 г.

601553, с. Эрликс Гусь-Хрустального р-на
Владимирской области

Уважаемый Владимир Емельянович!

Уступая Вашей просьбе, отвечаю на открытое письмо г. Хайбулина.

Глава из книги «Русское поле» под названием «Русский патриот Владимир Осипов» была написана мною в 1977 г. в зоне ЖХ 385/19 и через год (когда я был в ссылке) оказалась в Париже вместе с другими главами книги. При написании я опирался только на «лагерное интервью» Осипова, не проверяя его показаниями других участников событий (просто не имел к тому физической возможности). В основе моей авторской позиции, однако, лежал некий принцип, определявший то или иное отношение к описываемым пер-

сонажам. Вот он: я плохо, скверно отношусь к тем, кто помогает КГБ, особенно против своих друзей и единомышленников. Г. Хайбулин склонен, по-моему, этих людей прощать — такова его ментальность. Я считаю ее вредной для русского движения. И хотя делать практические выводы, конечно, должны сами русские люди, а я, гражданин и патриот Израиля, в этих вопросах — человек посторонний, но иметь свое мнение мне никто не запретит, в том числе и уважаемый иеродиакон.

Письмо г. Хайбулина показалось мне неискренним, политиканствующим. Например, защищая репутацию С. Мельниковой, он обвиняет «Континент» в «уподоблении партийным журналам» — т. е., видимо, в одностороннем, пристрастном изложении событий и версий. Но в «Континенте» не просто изложили известную версию Осипова относительно Мельниковой, но специально сопроводили главу редакционными примечаниями Эдуарда Кузнецова, который версию Осипова опровергает. Где же тут «партийность» журнала? Вряд ли г. Хайбулин не заметил этих примечаний. Его заключительная фраза поэтому — заведомая и ясная для него самого неправда.

Другой пример: мимоходом отрицается версия г. Агурского о столкновении «юдофилов» и «антисемитов» в редакции «Вече», но абзацем ниже сообщается, что «Мельникова противостояла антисемитским тенденциям», «Осипов сам называл ее семитофилкой». Так все-таки — был конфликт или не был? Было кому противостоять или нет?

Неприятно, что человек, призывающий неких «новых христиан» покаяться (кстати, кто такие — «новые христиане», Вы знаете? По тексту я понял, что подразумеваются Осипов и его сверстники), сам при этом отнюдь не страдает излишним смирением и твердо знает, «что есть истина». Знает, что «недуг непокаянности хуже официальной лжерелигии марк-

сизма», что «бесы современности хуже бесов Достоевского» (суждение того же ряда) и даже знает, как потребовать прекращения публикации в «Континенте». Вроде он управделами культуры или цензор Главлита!

Был ли стукачом покойный Машков? Я этого не писал, и Осипов мне этого не говорил. Но осудил я его, прежде всего, за благодарственное письмо в КГБ после ареста Осипова. Г. Хайбулин этот факт не опровергает, его невозможно опровергнуть, но он склонен Машкова простить, я же — вынужден повториться — имею право рассуждать по-иному. Возмутили меня слова «нечистоплотно и жестоко» потому, что они относятся не ко мне, а к редакции журнала. Очерк был написан *при жизни Машкова*, о чем сообщается в редакционном примечании, принят редакцией и набран, когда Машков *был жив*. Публикации (после внезапной смерти Машкова) предшествовали непростые размышления и колебания в редакции; решение печатать всё, «как было», приняли, исходя из принципиальной позиции журнала. Обругать ее можно и нетрудно, но большого уважения такая ругань не вызывает.

Наверное, было бы лучше, если бы Эдуард Кузнецов высказал свое мнение, что Машков «стучал только на евреев», более неопределенно. Но он вовсе не из воздуха вытащил подобное мнение. Бывший союзник и приятель Машкова Юрий Меклер, ныне профессор Тель-Авивского университета, в беседе со мной высказался осторожно, как подобает математику: «Существует более пятидесяти процентов вероятности, значительно более пятидесяти процентов, что Машков делился информацией обо мне с гебистами». То же думает другой их союзник — Б. Подольский.

Зато Сергей Пирогов в беседе со мной решительно отрицает «стукачество» Машкова: «Вы в самом деле так думали? Нет, он просто бегал по зоне и говорил направо и налево, что с евреями надо бороться всеми средствами. Кто-то его спросил: что значит — все-

ми? Стучать, что ли? Он ответил: да, и стучать тоже».

По-моему, лучше бы Машков действительно стучал, чем говорил такое. Стукачами становятся иногда по ошибке, внезапной слабости, из страха за близких. Но проповедывать союз с ведомством г-на Андропова против союзников-евреев — нет, даже смерть не внушила мне почтения к памяти Машкова! Интересно, иеродиакон Варсонофий уважал бы покойного сиониста, который бы проповедовал среди евреев, что в борьбе с Осиповым, Порешем, Якуниным, Огородниковым возможен союз с уполномоченным по зоне?

Последнее замечание, правда, не имеющее прямого отношения к открытому письму и. Варсонофия. В нем он, между делом, лягнул д-ра М. Агурского, защитника в Израиле дела русских национал-христиан. Однажды г. Агурский написал, что опасаться «русского хомейнизма» не следует, ибо люди, подобные В. Осипову, Л. Бородину, и. Варсонофию, будут всегда препятствовать расизму. Его оппонент, д-р Дымерская, немедленно ответила цитатой из Обращения к Великому Собору, подписанному, среди прочих, и. Варсонофием (Хайбулиным): «Нельзя молчать, когда самоочевидной стала чрезвычайно возросшая опасность со стороны организованных сил сионизма и сатанизма. Агенты сионизма и сатанизма... искусственно создают трения между Церковью и Государством с целью их общего расслабления... Церковь является нравственной силой и опорой Государства в его благородной борьбе против сил разрушения и хаоса...» и т. д.

О людях, разделяющих подобные взгляды, много говорилось в очерке. Что ж, у каждого в Вере и Церкви своя дорога, я бы только предпочел, чтоб перед словом Государство (с большой буквы) стояло ясное определение — Советское. Или — марксистско-ленинское. Другого ведь как будто нет.

После этого Открытого письма я лучше понял, как нелегко приходилось герою моего сочинения, когда он вместе с некоторыми из его коллег выпускал журнал «Вече».

С искренним уважением

21 апреля 1982 г.

М. Хейфец

Уважаемый Владимир Емельянович, я согласен с Вами, что письмо иеродиакона Варсонофия следует опубликовать. К сожалению, не под рубрикой «Эпистолярные шедевры», а на страничке «Почему бы и нет?» — какой-никакой, а все же глас читательский, да еще оттуда... Относительно же того, отвечать ли ему публично, не уверен — журнал-то его шелчок как-нибудь переживет, всенародное же обнаружение немудреной пристрастности автора письма, ущербности его логики поневоле может обернуться ему обидой и унижением. Может, лучше ответить ему приватно? Оставляю это на Ваше усмотрение.

Вместе с тем, есть в этом письме повод для размышлений. Мы не можем игнорировать и читателей с желчным дисбалансом, тех, кто уверены, что редакция использует журнал для сведения неких счетов и раздачи пряников. Я думаю, впредь следует быть осмотрительней, когда дело доходит до имен. Каким бы числом свидетельств мы ни располагали (а случай Машкова из таковых), всегда найдется блюститель мундирной чистоты — «наших не замай!» — или (что еще грустней) «очевидец»: «На меня он не стучал, а потому не жертвам его доносов вера, а мне...» Разве не характерна в этом смысле позиция того же Осипова относительно Ильи Глазунова («Ко мне он был хорош. Не могу и не буду говорить о нем дурно»)?

Сталкиваясь с читателями, я убедился, что публикация Хейфеца об Осипове не прошла незамеченной. Мне она нравится безыскусностью изложения, точной передачей лагерного воздуха, я слышу самого Осипова, его голос, я узнаю лагерь со всеми его мытарствами, предрассудками, глубинами и стереотипами, мудростью и благоглупостью, далеко не всегда безвредной. Герой предстает неоднозначно — это почти очевидно. И все же я встречал таких, кто, вроде иеродиакона Варсонофия, усмотрели тут попытку чуть ли не канонизации Осипова. Но основания для такого вывода они черпают в восторженной доброжелательности, с которой Хейфец рисует Осипова, а не в самом материале вещи. Материал же (зачастую помимо воли автора) таков, что и грустно, и смешно...

Итак, Владимир Емельянович, если Вы надумаете отписать иеродиакону Варсонофию, то вот Вам мои некоторые соображения — к сведению, так сказать.

1. Позиция самого Хейфеца присутствует лишь во всякого рода размышлениях «по поводу», во всем остальном он только рупор Осипова. И, насколько я знаю Осипова, насколько мне известна его трактовка ситуации с «Вече», его мнение об Иванове, Мельниковой и Машкове, я утверждаю, что Хейфец передал их точно — и по смыслу, и даже интонационно. Посему все претензии к Осипову. Это его точка зрения. А нам интересна его версия; если есть иные, уверен, что журнал с удовольствием их опубликует, поскольку история «Вече» — значительное событие. Но ни письмо Репникова, излагающее «вечевой» конфликт в терминах, с кем Осипов спал — не спал, ни письмо иеродиакона Варсонофия света не проливают. Даже напротив.

2. Публикация работы Хейфеца совпала со смертью Машкова — усматривать тут особый со стороны ре-

дакции умысел, по меньшей мере, странно. Выйди журнал на неделю раньше, и нас упрекнули бы в том, что мы ускорили смерть Машкова... Равным образом редакция не только не несет ответственности за арест Иванова, но и обеспокоена его судьбой. Что, к сожалению, не отменяет факта, описанного Хейфецом: в 1961-м году Иванов дал доносные показания на Ременцова, Осипова, меня и многих других.

3. Поскольку достоверны факты лишь о прошлом кое-кого из «вечевиков», свидетельство иеродиакона Варсофония об отсутствии агентов КГБ в «Вече» следует принять со всей серьезностью. Меня всегда более впечатляет мнение людей, возлагающих вину за провал того или иного дела на свои несовершенства, а не на сатанинскую агентуру.

3. Мгновенно внять велению «не уподоблять журнал типичным образцам партийной литературы», а заодно полюбопытствовать, о какой партии идет речь. И что стоит за характерными оборотами, типа: «Выбор обвиняемых не случаен»? На что автор намекивает?

Ну и так далее.

С уважением

Э. Кузнецов.

23/IV-82

Уважаемая редакция!

Литература нашей диаспоры становится сейчас предметом самого тщательного исследования. 31-й номер Вашего журнала, представив читателям неизвестные архивные материалы, собранные Л. Чертковым в публикации «Листки из альбома», внес в этот процесс посильный вклад.

Рассказывая об альбоме Н. А. Залшупиной, Л. Чертков вспоминает забытого русского поэта Петра Потемкина. В своей публикации критик тонко характеризует мастерство поэта. К его оценке я бы хотел добавить еще одну, другого «сатириконовца». В 1928 году Саша Черный писал о музе П. Потемкина: «В каждой мелочи, как в мельчайшем осколке алмаза, все та же игра: грациозная, порывистая веселость, прерывистый, вольный ритм, добродушное, юное лукавство, четкая и чеканная словесная графика».

В публикации «Листки из альбома» приведен отрывок из невеселого стихотворения П. Потемкина «Двое» (название стихотворения почему-то отсутствует). Финальная строка отрывка имеет, однако, несколько иную редакцию:

И место действия — Москва,
И время — девятьсот двадцатый.
Ах, если б о косяк проклятый
Хватиться насмерть головой!

Автор интересной публикации сообщает читателям, что «...стихи (П. Потемкина. — Э. Ш.) до сих пор, к сожалению, остаются несобранными...» Это утверждение, увы, ошибочно. Первую книгу своих стихов П. Потемкин опубликовал еще в России, в Санкт-Петербурге, в 1908 году. Называлась она — «Смешная любовь». 15 лет спустя, уже в Берлине, появляется второй сборник стихотворений поэта — «Отцветшая герань. То, чего не будет», а в 1928 году

выходит в свет посмертное издание стихов поэта — «Избранные страницы», причем в книгу включена и комедия «Дон-Жуан — супруг смерти», написанная П. Потемкиным совместно с С. Поляковым.

Русским Зарубежьем почти забыта, а в СССР вообще неизвестна та роль, которую П. Потемкин сыграл в становлении мировой шахматной культуры. Вместе с другим русским эмигрантом, доктором Каном, он был одним из инициаторов создания ФИДЕ — Международной шахматной федерации. Это ему и Кану принадлежит идея девиза ФИДЕ — «Gens una sumus», их подпись стоит под хартией ФИДЕ. Это им обоим принадлежит большая заслуга в проведении в Париже в 1924 году первой неофициальной шахматной олимпиады. Благодаря этим двум эмигрантам, Россия вошла в олимпийское шахматное движение.

Э. Штейн

БИБЛИОГРАФИЯ:

Потемкин, П., Поляков, С., «Избранные страницы. Дон-Жуан — супруг смерти», предисловие — Черный, А., Париж, 1928, изд., «Таир», стр. 144;

Gawlikowski St., «Olimpiady szachowe 1924—1970», Warszawa, 1972, стр. 447.

Штейн, Э., «Поэзия русского рассеяния 1920—1977», Ашфорд, США, 1978, изд., «Ладья», стр. 182.

Критика и библиография

«ЭТО МОЯ ИСПОВЕДЬ»

«Трудясь над книгой, я не пытался создать произведение в поучение современникам или потомкам. Больше того, я не думаю, что чужая жизнь может быть примером для других».

Я не думаю, что чужая жизнь может быть примером для других...

Генерал Григоренко включил эту фразу в свое коротенькое обращение к читателям, предпосланное к книге воспоминаний.

Нет ничего особенного в этой фразе — кроме того, разве, что она не совсем обычно звучит в устах профессионального военного, в устах солдата: солдат знает увлекающую силу примера. Еще неожиданнее эта фраза — в устах человека, воспитанного комсомолом и партией: один из основных принципов этого воспитания — стремление заставить человека повторять определенные клише, следовать отлитой раз и навсегда форме, типу отношений — и отношения к перманентной подмене понятия, к перманентному лицемерию и ловкому искусству этого лицемерия не замечать, что в конечном счете вполне естественно, ибо ничего не меняет в существе дела.

Я не думаю, что чужая жизнь может быть примером для других...

Только потом, через множество страниц, пропутешествовав вместе с автором, понимаешь, откуда она могла родиться — из глубоко заложенной и никакими идеологическими перипетиями не вытравленной религиозности: сознание личного выбора, стоящего перед каждым. Из жизненного опыта, конечно. Горькая констатация факта, вытекающего не только из собственной биографии, но и из биографии мира, — стало быть, констатация историческая: страны, как и люди, каждый раз делают свой выбор заново, и история, как правило, их ничему не учит.

Петро Григоренко. В подполье можно встретить только крыс... «Детинец», Нью-Йорк, 1981.

И — для личности крупной — всегда существующая решимость: как бы ни было безнадежно — просто рассказать, и с п о в е д а т ь с я. Кто-то задержится взглядом, кто-то остановится на минуту — ну и слава Богу, ну, стало быть, не зря.

Но больше всего книга нужна для себя — себя увидеть, как говорится, «от и до», себя и свою жизнь, грехи, ошибки, стыд, долгие или мимолетные радости, людей, которых касался, с которыми шел, жил, а то и, повстречавшись случайно, сразу и легко расстался, но потом оказалось, что и они были в жизни для чего-то, для какого-то, высшего, быть может, смысла, и их тоже нельзя забыть, никого нельзя забыть, ничего нельзя забыть, иначе — грех...

Это — основное ощущение от книги Петра Григоренко: что забыть, пропустить что-либо или кого-либо, кто б ы л, — грех...

Он заваливает читателя именами, мелкими семейными событиями, т. е. тем, что описывать долго и подробно не принято: «нетипично» и оттого не остается в памяти, и потом много всего этого, много, и наша бедная и опасливая память не торопится удержать, теряет по дороге. В результате же — стойкое впечатление, что наглотался света — светлым человеком излучаемого. Это не писательская книга. И слава Богу. В ней нет ничего от литературы, ни при литературе, никаких потуг, никакого «красивенько», никакой позы и вообще помысла о фотогеничности данного движения или поворота в авторском профиле или фасе: Григоренко пишет о себе и одновременно не о себе и как бы удивляется тому, как получилось то или другое в жизни, и по-детски радуется своим удачам или везенью, и по-детски же обижается на несправедливость (как, скажем, в истории с орденом Суворова, которого ему не дали). Поучительной Григоренко сделать свою книгу не смог бы, если бы со страстью преследовал именно эту цель: писать книги — просто не его профессия. Поучительной она получилась, наверное, именно поэтому. Именно потому, что неумело написана, именно потому, что с миллионом убегающих подробностей и с миллионом ускользающих имен — со всем тем, *чего обыкновенно не делают.*

На самом деле, воспоминания Григоренко — настоящая эпопея. Превосходная иллюстрация к истории страны, по-

тому превосходная, что нечаянная, ненарошная, не многозначительная, без учительского тыкающего в нос пальца.

Это ничего, что мы не можем удержать в памяти поток имен — Григоренко как бы долг исполняет: перед собой и перед этими людьми, умершими ли уже или живущими — неважно. Для него это драгоценно — вдруг вспомнить кого-то и старательно записать, когда и по какому поводу встретились, познакомились, расстались.

Иллюстрация к истории страны — это я уже сказала.

Поразительно. Единственно — и множественно, множительно, говорите, как хотите, представляйте, как хотите, даже тошным словом — «типично».

Жизнь в деревне, у которой свои законы, свои тяготы — и немалые, отнюдь не располагающие к оперной лирике («у меня не было детства», — пишет Григоренко). И все-таки от этого «небывшего детства», которое состояло из работы, работы, работы, — веет теплом, веет светом. Не потому что — воспоминания, и как бы ни было бесприсветно детство, к нему все равно испытываешь тайную зависть: там — ты всегда храбрец, всегда счастливец, потому что знаешь мало, ничего, собственно, не знаешь, и ответственности у тебя особой нет, а уж горечи — точно. Но у Григоренко — не в этом одно дело.

Во времена его детства деревня была еще н о р м а л ь н о й. Трудности были естественны, разделялись всеми, вытекали из необходимости работать на земле и — работать землю. Крестьянские тяготы. И семейные тоже — у всех бывает, со всеми случается, никто мимо них не проскочит. Все это было — д о с о б л а з н а. Соблазна с корнями в идеологии и с практикой в гражданской войне, в междоусобной ненависти, в межлюдской зависти. Григоренко прекрасно это показывает (не показывая — рассказывая). Не «до революции — и после», не «до переворота — и после», а до соблазна — и после. Почти невозможно поверить — собственным глазам поверить, до какой степени книга Григоренко лишена какой-либо тени идеологичности, тенденциозности, и оттого она приобретает захватывающую дух глубину — тем более захватывающую, что неожиданную. После соблазна — все пошло вперекосяк. Все, что считалось разумным раньше, — стало называться вредным теперь. Все, что могло раньше служить разве что предметом

спора за стаканом водки, когда времечко выдастся, — стало составом обвинения. Все, что считалось кощунством, — стало доказательством свободы духа, эдакой беспардонной лихостью, которую юные дурачки стали носить, как орден (и не всегда рядом был отец, чтобы выпороть от души). Короче — всё вывернулось наизнанку, понятия Добра и Зла с бесовской легкостью поменялись местами, и пошла чехарда, и пошла чехарда, которую потом в советских учебниках будут называть «триумфальным шествием советской власти».

Григоренко спрашивает себя: как могли мы стать поклонниками диктатуры, поверить в нее, принять как должное, как естественное? Как могли мы считать законным и справедливым уничтожение целых классов и слоев населения, высылку, лишение имущества, лишение гражданских и человеческих прав? Однако же считали. Что за хмель, откуда он, отчего он вызывает такой дыхание захватывающий восторг? Да оттого, что нравственные препоны вдруг упали. Во все времена дремлет в человеке разрушитель. Вопрос в том, какие этому разрушителю границы поставлены. И размышлениями над одним только этим вопросом снимется вечное сравнение между дореволюционной и послереволюционной Россией: дело не в социально-политических изменениях. Политический режим царской России отнюдь не был идеальным, он не был даже оптимально-разумным. И злоупотреблений было достаточно. И беспорядка тоже. И неразберихи. И недальновидных действий правительства. А что касается советской власти — и тут не в ошибках и не в злоупотреблениях дело. Изменение произошло качественно-нравственное, ибо новая власть открыто сделала ставку на разрушителя в человеке. Не от социальных несправедливостей освободила — от нравственных границ. Мысль не новая, конечно, однако же далеко не всеми еще воспринятая и понятая — особенно в Свободном мире. В книге же Григоренко этот водораздел, эта незасыпаемая пропасть не провозглашена, не навязана сентенциями, а со всей простотой и беспредельной искренностью показана — на собственном грехе слабости перед искушением, перед соблазном.

Вот он ушел из деревни. Выучился. Получил высшее образование. И что же пришлось ему делать, где приложить полученные знания? Церкви взрывать. Ну, конечно, это факт личной его биографии, случайность — не всем же, в

конце концов, приходилось церкви взрывать! Ан нет. Даже и не в том дело, что церкви, а как бы получилось так, что при этой власти все учились, чтобы что-нибудь взрывать: стены ли, головы или души — это уж кому как приходится. Главное — взрывать. И над осколками еще колдовать, чтоб не собрались обратно в бывшее целое. И церкви здесь — реальные здания с реальными когда-тошними адресами — превращаются в символ: дух надо было им взорвать, Неуловимое, Несказанное. А на место это (в головы) всадить свое: *сказанное, писанное, предписанное*. Потом уже — и неписаное, тоже дух: Зла.

И все, что пишет о своей жизни Григоренко, вот так же, незаметным образом, превращается в символ. Бездарное зачастую планирование военных операций, сознательный обман и самообман в предвоенные годы, уничтожение укреплений на старой границе и неготовность новых, планомерное уничтожение кадрового командного состава армии, беспрерывные слезки, шпиономания, страх не столько перед возможным врагом (а затем уже и реальным), сколько перед Смершем — все это отдельные части той самой чехарды, которая началась с соблазна. Во всех армиях бывают бездарные полководцы, неумные командиры, нерасторопные штабы. Не с советской власти началась глупость и злая воля. Любая армия может потерпеть поражение. Но когда все это вместе вытекает из некоего дьявольски сформулированного закона, неподчинение которому карается смертью, а подчинение ведет к смерти же (одна надежда — выборочной) — это великое завоевание первой в мире страны Советов. Самое несомненное из ее завоеваний. Самое непреложное. Авторство которого никто и никогда уже не решился оспаривать.

И все это является не только частью истории СССР, но и частью биографии Петра Григоренко, если можно так выразиться, текущей по жилам его жизни кровью, лимфой, клеточным наполнением. Простая его биография на самом деле не так уж и проста: он один — целый совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поскольку он и крестьянин, и рабочий, и солдат. Да еще и комсомолец. И коммунист. И генерал (какой солдат не мечтает стать генералом, да только не каждому удастся, а Григоренко удалось). Он побывал составной всех слоев общества — от самого ни-

щего низа до генералитета, военной иерархии, до «лично знаком с товарищем Брежневым». И еще он — то, что принято теперь называть «диссидентом». И, среди них, — один из немногих, кому было что терять. Кто выше забрался — тому больнее падать. Тому и мстят злее: впустили, подняли, наградили, приласкали, думали — свой, а он...

Григоренко как человек, как личность, как гражданин, просто как трудившийся всю жизнь человек очень легко объединяется с понятием народ, как бы конкретизирует это понятие — именно потому, что был и рабочим, и крестьянином, и солдатом, и грехи его были грехами многих, и заблуждения — заблуждениями многих, и ошибки — ошибками многих. И то, что пришел он к отрицанию подсказанных, навязанных ценностей (хоть и впитал их, и почитал долго), вселяет надежду. Народ-то ведь «всем народом» не двигается, движение начинают всегда немногие. Судьба Григоренко — как бы залог прозрения множества, тьмы ослепленных, которые однажды двинутся разом и сметут путы, сдернут смертные мешки с прорезями для близоруких глаз. Судьба Григоренко свидетельствует о том, что диссидентство — не книжно-интеллигентское движение умствующих неудачников, как стараются его представить в самом лучшем, благожелательнейшем случае. Довольно здорового смысла, простого здравого смысла — и смелости дать ему волю.

Григоренко много и подробно пишет о рождении в нем протеста, о наивности его проявлений, о попытке организовать подпольную борьбу. О том, как листовки собственного сочинения раздавал на заводе, однажды — даже в военной форме. Аж вчуже сердце сжимается от страха, когда читаешь, как он стоял у выхода из завода с пачечкой своей. Это же безумие, чистое безумие! Как не испугался втянуть детей, семью, обрушить на их головы все камни, все глыбы, которые — ох, как мы это знаем! — умеет превращать в могильные эта власть.

Он не испугался. Или испугался — но только не смог иначе. И об этом тоже пишет Григоренко — как и почему не смог иначе, как и почему было уже не повернуть назад, не зажить снова по-прежнему: со служебной лестницей, зарплатами, надбавками, гонорарами, партийными собраниями... и даже беспартийными собраниями — в этом круге, короче.

В этом круге было уже не усидеть и даже оглядываться стало ему страшновато.

С огромной нежностью пишет он о новых своих друзьях — и тоже старается никого не забывать, всем сказать доброе слово, всех поблагодарить за то, что дали ему узнать, увидеть, встретить, догадаться и понять.

Все мучения, которые были ему уготованы, все страдания, которые пришлось пройти — и вынести, словно были ему даны в испытание на прочность любви: так прочитывается это в книге. В книге чистой и обаятельной, почти старинно целомудренной, застенчивой чуть ли не по-девически и — поучительной. Очень поучительной.

Виолетта Иверни

РОД ТОЛСТЫХ

Прошло сто пятьдесят лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, и нужно было еще раз хотя бы кратко пережить сагу рода Толстых.

Внук Толстого — Сергей Толстой, врач, являясь генеральным секретарем Медицинского общества, несколько раз посетил Советский Союз, где сохраняют и Ясную Поляну, это знаменитое имение, в котором прожило несколько поколений Толстых и которое хранит драмы, радости и страсти этой необычной семьи, и дом в Москве, превращенный в музей, но где на каждом шагу чувствуется присутствие его уже давно усопших обитателей.

Книга С. Толстого — не новая биография Льва Николаевича, а просто эскиз рода Толстых, персонажей этой семьи, так как они составляют неотъемлемую часть всего творчества Льва Толстого.

На страницах своей книги Сергей Толстой пробует восстановить исторический фон развития хроники этой семьи.

Читая книгу С. Толстого, не нужно забывать, что автор покинул Россию ребенком и в первый раз посетил — уже

Сергей Толстой. Толстой и Толстые. HERMANN, Ed. des Sciences et des Arts, Paris, 1980.

Советский Союз — сорок лет спустя. Прекрасно можно представить себе его волнение, когда он очутился в Ясной Поляне. Та же деревянная церковь XVII века с могилами этой семьи, а самое главное — в глубине многовекового парка, где Левушка Толстой с братьями упорно искал «зеленую палочку», простой холмик, летом покрытый цветами, а зимой еловыми ветками, где спит тот, который заставил проводить бессонные ночи два поколения российских правителей.

Род Толстых ведет свое начало с XIII века, когда граф Генрих Фландрский со своими людьми прибыл в Россию после неудачной экспедиции на Кипр. Его правнук получил прозвище Толстой.

Настоящая история рода Толстых начинается в XVII веке с графа Петра Толстого, сподвижника Петра Великого. Это был очень умный и хитрый политический деятель, острый ум которого Петр оценил по достоинству. Петр Толстой становится одним из самых крупных русских дипломатов, так как он умел «вывернуть любую обстановку с лица на изнанку и с изнанки на лицо». Тринадцать лет в Константинополе послом при султани — это в те времена небывалый рекорд. Внимательный обозреватель, он в то же время прекрасный писатель своей эпохи. В его дневниках записано необычайно просто и ясно все о тех событиях, свидетелем которых он был. Эта хитрая личность часто была замешана и в весьма неблагоприятных делах того времени. Петр Толстой уговорил сына Петра Первого Алексея вернуться в Россию, где его ожидало «полное прощение», только вместо «прощения» царевича ждала смерть после долгих пыток.

История России имела, да и имеет, свою определенную цикличность взлета и падения всех крупных политических деятелей. После смерти Императрицы Екатерины Первой Петр Толстой приговорен Меншиковым к смерти, лишен и титулов и имущества. В последнюю минуту смертная казнь заменена пожизненным заключением в Соловецком монастыре.

Семья Толстых была реабилитирована в 1742 году Императрицей Елизаветой. На этом периоде истории в этой семье появляется еще один легендарный персонаж — Андрей Иванович Толстой по прозвищу «Большое Гнездо». У него

родилось за двадцать пять лет супружеской жизни двадцать три отпрыска, из которых шестеро дочерей и шестеро сыновей тоже имели огромное количество наследников, что и позволило продолжиться роду Толстых.

В портретной галерее Толстых нельзя забыть, и автор не забывает, кузена Льва Николаевича Федора Ивановича, прозванного «Американцем». Он не имеет прямого отношения к линии Льва Николаевича, но он был феноменом своего века, и мы находим его образ несколько раз в творчестве Толстого. Красивый брюнет, полный обаяния, дамский сердцеед, драчун, всегда готовый к дуэли. Надо сказать, что он жил в то время, когда любые перегибы считались хорошим тоном. Участник морских и сухопутных приключений, он попадает в заключение на несколько лет за дуэль с Нарышкиным, выходит из заключения и героически ведет себя во время Бородинской битвы. Уйдя в отставку, ведет жизнь между Санкт-Петербургом и Москвой. Поэт Вяземский, друг Пушкина и Федора Толстого, называл последнего «другом и Богом гурманов». Обожая цыган и цыганские песни, он женился на цыганской певице. Этот брак закрывает ему почти все двери людей его круга. Шумная жизнь Федора описана на страницах произведений великих русских писателей. Грибоедов в «Горе от ума» посвящает ему самые знаменитые строки. Зарецкий в «Евгении Онегине» тоже удивительно на него похож. После Грибоедова и Пушкина мы находим Федора Толстого в образе Долохова в «Войне и мире» и в «Двух гусарах», где граф Турбин похож на него как две капли воды. Читая отзывы современников, видно, что Федор Толстой был необыкновенным персонажем. Стахович, который его ненавидел и в то же время восхищался им, писал: «Мало кто из людей умных и способных вели такую бурную, преступную и ненужную жизнь, как Толстой — Американец». Автор книги пишет о Федоре Толстом: «Надо признаться, что этот удивительный человек растратил все свои таланты с редкой энергией. С энергией, которую можно сравнить и которая, быть может, идет из того же источника, что и та, которую использовал Лев Толстой для создания своего творчества».

Юношей Лев Толстой мечтал походить на своего деда, образ которого мы без труда узнаем в князе Болконском в «Войне и мире». Когда роман вышел в свет, критики упре-

кали Толстого за его идиллическое воплощение крепостного права. На что Толстой ответил, что не будучи свидетелем этой несправедливости, он не может ее критиковать. Мать Толстого княжна Мария Волконская получила от своего отца прекрасное воспитание, ее, сам по себе пытливый, ум был умело направлен князем. Для своей эпохи она была необыкновенно развитая и умная девушка. Прирожденная рассказчица, она всегда имела вокруг себя целое общество, готовое слушать ее бесконечно. На одном из балов, даваемых Трубецким, княжна Мария встретила Николая Толстого. Красивый, остроумный молодой человек ей сразу понравился. Николай Толстой прекрасно осознавал, что в его положении (к этому времени семья Толстых уже разорилась) необходим брак с богатой наследницей. Но, надо сказать, он ценил «достоинства сердца и ума своей невесты».

Во второй части своей книги автор уводит читателя в мир, который сформировал Льва Толстого. После смерти матери маленькие Толстые, окруженные близкими и целым составом крепостных, ведут «гармоничное детство». В окружении преданных крепостных, которые служат своим барам из поколения в поколение, кажется, что нет никаких бурь, что Ясная Поляна отгорожена от всего мира. Но детство проходит, и братья Толстые, и их сестра сталкиваются с миром вне этой идиллической Руси. Добрые слуги, нежные тетки, балы чередуются в жизни Толстых, как времена года. Сложная наследственность, сложные характеры; в каждом из них заложена искра Божья, но только Лев раздувает ее до конца. Огромная дружба связывает братьев и сестру с детства. Братья расстаются и снова встречаются, и каждый летит на помощь другому.

Николай, который в детстве изобрел «зеленую палочку», Сергей, необыкновенно способный, но разочарованный жизнью, Дмитрий, переходящий от мистицизма к разврату, и младшая Мария, принеся в эту семью незаконнорожденного ребенка и умершая в монастыре, — со всеми Лев был тесно связан, каждому отдавая частицу своей бурной натуры.

Прочитав эту книгу, прекрасно понимаешь, как Лев Толстой смог стать этим невероятным писателем, который потряс и продолжает потрясать столько поколений читателей. Автор книги Сергей Толстой проделал огромную

работу, он сумел соединить и раскрыть основные образы этой семьи. И кто знает, может быть, эта книга и является тем романом, который не успел написать Лев Толстой.

Л. Козлова

ФОЛЬКЛОР АРХИПЕЛАГА ГУЛаг

В свое время Белинский отмечал познавательную ценность древних русских былин, художественные достоинства которых ставил невысоко. Такой подход правомерен по отношению к любому фольклору, и книжка Я. Вайскопфа представляется тем более полезной, что по понятным причинам творчество населения Архипелага ГУЛаг выпало из поля зрения фольклористики. Между тем, население это достаточно многочисленно: по количеству заключенных — и абсолютному, и на душу населения — СССР и сегодня, вероятно, стоит на первом месте в мире. Кроме того, значительная часть вольных обитателей Большой Зоны либо побывала на Архипелаге, либо так или иначе соприкоснулась с ним, пропиталась его духовной атмосферой. Отсюда отмеченное А. И. Солженицыным массовое проникновение лагерных словечек и оборотов в современный русский язык. Духовная атмосфера Архипелага, т. е. культура эковского мира (составитель напрасно извиняется за это слово, оно не только антоним бескультурия), определялась в основном блатными. Причины отчасти ясны из превосходного предисловия составителя: блатные и в его время (1937-42) составляли свой замкнутый мир со своей моралью, законностью, организацией, иерархией. В 1945-55 гг. я не наблюдал этого у «политических», не говоря уже о «бытовых». Сознание принадлежности к одному социальному кругу было выражено слабо, хотя и стало усиливаться после выделения лагерей для «политических». Большинство осужденных по политической статье не сознавали себя врагами советского режима и не помышляли с ним бороться. Отсюда скудость их фольклора.

Блатная лира. Сборник тюремных и лагерных песен. Собрал и составил Яков Вайскопф. Иерусалим, 1981.

5-й раздел книжки содержит всего 4 записи. Г. Гелинков, чьи стихи встречаются в эпиграфах, был не единственным писавшим среди политических, но творчество этих людей не сумело или еще не успело стать фольклором. В песнях «Ты сама нас воспитала» и «Надо мной раскаленный шатер Казахстана» характерно ощущение себя невинно пострадавшим верноподданным, чья «совесть чиста» не потому, что боролся, как мог, против режима, а, напротив, потому, что не боролся. Песня «С одесского кичмана» несомненно сочинена блатными, а в песне «По тундре, по железной дороге» весь настрой идет от блатных. Бунтарский дух в этих песнях демонстрирует парадоксальное положение, что политическое самосознание у блатных было тогда выше, чем у «политических».

Некоторые из песен в несколько иных редакциях я тоже слышал на Архипелаге. «С одесского кичмана» и «Гоп-Со-Смыком» были записаны на пластинку в исполнении Л. Утесова. Текст записей короче. В «Гоп-Со-Смыком» 7 куплетов из 12 приведенных Я. Вайскопфом. Конечно, никакого анти-советского привкуса. Исполнение несравнимо с позднейшим Утесовым. Можно смело сказать, что советская эстрада дала ему звание Народного артиста, но зарыла его талант.

Фольклор Архипелага ГУЛаг еще ждет изучения. Эту целину — в противоположность хрущевской — действительно следует освоить. Это благодарное поприще не только для фольклористов. И книжка Я. Вайскофа, хорошо оформленная полиграфически, включающая записи мелодий песен, несомненно сослужит службу будущим исследователям.

Виктор Казан

СЕКРЕТЫ ВЕЛИКОЙ УТОПИИ

Авторам этой книги «повезло». Они родились и половину жизни прожили в стране, историю которой не только написали, но вынесли, что называется, на собственной шкуре, в стране, которая созидалась в соответствии со схемой

Михаил Геллер, Александр Некрич. Утопия у власти. История СССР с 1917 до наших дней. Calmann-Levy, Париж, 1982. На франц. яз. Русское издание готовится к выходу в изд. Оверсиз.

маньяка-ученого и получилась подобной искусственному ребенку, зачатому и выращенному в колбе.

Страна победившего социализма... О ней написано немало исторических сочинений. Все советские — без исключения лживы. Западные — умозрительны, почти всегда необъективны и лишены ощущения духа событий. Эта книга написана не только профессиональными историками, очевидцами и, так сказать, ровесниками Октября, но и действующими лицами событий. Александр Некрич, к примеру, в СССР преследовался властями: его книга «1941. 22 июня» была запрещена вскоре после выхода. Михаил Геллер был эком сталинских лагерей. Ныне и А. Некрич, и М. Геллер — эмигранты.

«Утопия у власти» — современная книга. Она появилась в критический момент «самоокупации» Польши, когда наметился очередной, на этот раз более решительный перелом в умах и настроениях западного общества, его новое разочарование в социализме и когда каждый действенный удар по иллюзиям особенно ощутим и полезен.

Александр Солженицын практически первый раскрыл секреты советского страшного ларчика, который не так-то просто открывался. «Архипелаг ГУЛаг» во многом представил картину его чудовищного механизма. Однако появление специального, сугубо исторического исследования с подробным и тщательным анализом событий имеет в теперешней обстановке очень важное значение.

Прежде всего авторы стремились показать, что социализм и связанная с ним тоталитарная система — не только не русское явление (положение, ставшее расхожим местом), но *нисколько* не русское явление. Так позволительно было думать в первые десятилетия существования Советского государства, когда оно было единственным в мире. Но после Второй мировой войны история показала поразительный пример образования подобных систем не только в отдельно взятых странах, но даже в половине страны, другая половина которой жила, как всегда, в реальном, а не утопическом измерении. Следовательно, география, традиции, национальные особенности здесь ни при чем. Все страны, входящие в советский блок, неизбежно повторяют опыт СССР — государства, схваченного тисками идеологии, призванной

порабощать и оболванивать человека для сохранения власти кучкой олигархов и преданной им правящей партии.

К началу XX века Россия была обычной европейской страной, не хуже и не лучше других. Перед Первой мировой войной она развивалась в отношении экономическом и политическом с особой быстротой, успешно избавляясь от зависимости от иностранного капитала и при нормальном развитии событий стала бы вровень с ведущими капиталистическими странами мира. Но чудовищное сплетение обстоятельств распорядилось иначе. И возникла страна-монстр, страна-опухоль, история которой воспринимается именно как история болезни.

Возникновение в России к 1917 году революционной ситуации не было явлением из ряда вон выходящим. Старый режим себя изжил. 2 марта страна стала демократической республикой. Но что же случилось потом? Что произошло в роковые осенние месяцы 17-го года? Какая неведомая сила перевернула положенный порядок вещей и в мгновение ока опрокинула не только историю русскую, но и мировую?

Тщательный, чуть ли не по дням, а порою — часам, анализ событий того периода позволил авторам подойти к центральному положению книги, к тому, как и почему у власти оказалась Утопия и что же это такое — «Утопия у власти»? Проблема момента заключалась в том, кто способен был взять и удержать власть. Необходимое сочетание маниакальной жажды власти с политическим бесстыдством и демагогической изворотливостью, умение использовать недовольство и революционную настроенность масс оказались только у большевиков. Авторы пишут о поразительной вялости Временного правительства, его бессилии и нерасторопности. Керенский знал, что готовится вооруженное восстание, но не вызвал подкреплений с фронта. Знали также, что Ленин в Петрограде, но ничего не предприняли, чтобы его арестовать. Большевистский вождь был совершенно прав, когда заявлял, что власть надо немедленно захватывать, ибо некому ее защищать. Ради этого для него все средства были хороши. «Нужно уметь лгать и обманывать» — учил он своих соратников.

Утопия — это выдумка, химера, то, чего нет. Другими словами, это — ложь. Авторы подчеркивают, что больше-

вики легко победили, потому что предлагали утопию: всё для всех и немедленно. Они взяли власть своею первой Ложью — обещали мир, землю, хлеб. Они неплохо разбирались в психологии масс. В этой книге не случайно приводится изречение испанского философа Мигуэля де Унамуно: «Лицо действительности ужасно, народ нуждается в мифах, иллюзиях. Он хочет быть обманутым...» Прекрасная Ложь разбилась об ужасную реальность — впереди была война, конфискация зерна, голод и никогда еще не виданный террор.

Провозглашение Лениным «Апрельских тезисов» авторы считают датой рождения советской идеологии. В утопической программе уничтожения полиции, армии, чиновничьего аппарата — вся большевистская политика Лжи с ее гибкостью, маневренностью, умением прославлять сегодня то, что вчера осуждалось, и проклинать то, что превозносилось. Существенная черта этой идеологии: сначала вождь делает поворот на 180°, и вскоре, чуть поколебавшись, за ним следует и партия. Уже в начале пути примеры подтверждают правильность этого положения. Перед Октябрем у большевиков был лозунг: «На защиту Учредительного собрания!» Придя к власти, они Учредительное собрание разогнали. В этой акции большую поддержку им оказали левые эсеры. Вскоре наступила очередь самих левых эсеров. Их уничтожили. «Мы не нуждаемся в справедливости, — цинично заявлял главный палач революции Дзержинский, — сегодня мы ведем борьбу насмерть». Организованная властью Утопии ВЧК — орган террора и подавления — стала главным орудием в борьбе за существование самой Утопии. «Победу в гражданской войне, — пишут авторы, — большевикам принес союз утопических обещаний с безжалостным массовым террором».

Массы очень скоро поняли, что их обманули. В книге приведены любопытные свидетельства: «После Февральской революции, — говорится в газете «Рабочая революция», — увеличилась зарплата и понизился рабочий день. После Октября рабочие ничего не добились». Чрезвычайное заседание делегаций петроградских фабрик и заводов резюмирует: «Профсоюзы потеряли свою независимость и больше не организуют борьбу за права рабочих... Четыре месяца уже прошло, и мы видим, что наши надежды растоптаны». Растущее недовольство можно было задушить, лишь потопив

в крови. Насилие устанавливается в таких размерах, каких еще не знала история. Ленин разделял точку зрения Троцкого, который писал: «Страх — могущественный рычаг власти... Война, как и революция, базируется на страхе». Уничтожаются под корень целые общественные слои. Расстреливаются рабочие, если они осмеливаются выражать недовольство. Что же касается крестьян, то прелюдией к сталинскому геноциду 30-х годов была бойня 18—20-х. Об Антоновском восстании известно очень мало потому, что не осталось свидетелей — были истреблены поголовно все.

Тень Орвелла витает над этой книгой. Что поделаешь, его утопия почти полностью совпала с реальностью, и для характеристики советского тоталитаризма пригодились почти все орвелловские положения и система символов. Советская власть определяется в книге как «мир фикций», для существования которого среди прочих условий необходимы перманентные кризисы. Точно так же, как в «1984». Если врага нет, то его надо придумать. Это держит массы в напряжении, доводит их почти до истерики, отвлекает внимание. «Кризис позволяет требовать и добиваться жертв и полного подчинения», — отмечают авторы, показывая причины, по которым, к примеру, рано или поздно должен был кончиться нэп: советская система не создана для того, чтобы решать существенные государственные проблемы в обстановке гражданского мира. Сигналом войны послужил «Шахтинский процесс», по которому 53 инженера обвинялись в саботаже и шпионаже в пользу иностранных разведок. Все последующие процессы будут сфабрикованы по этой нехитрой колодке — и Великий террор 30-х годов, и послевоенные суды над космополитами. Измученный народ жаждет перемен, улучшения жизни, но умелый отвлекающий маневр переключает внимание на кулака с обрезом, вездесущего шпиона, «убийц в белых халатах». Воспитание ненависти — один из главных аспектов идеологического воспитания, и «минуты ненависти», в точном соответствии с орвелловским описанием, организуются периодически, начиная с процесса эсеров и до наших дней.

Единоличная, неограниченная диктатура вождя — также определяет лицо тоталитарного государства. Ленин прекрасно это понимал, сосредотачивая всю власть в своих руках и готовя себе достойного восприемника. Существует распро-

страненное мнение, будто появление Сталина на исторической арене произошло вопреки воле Ленина. Авторы развенчивают этот миф, показывая, что Сталин не сам сделался генеральным секретарем, а занял эту должность по прямому указанию Ленина. «Сталин — законный сын Ленина и единственный его сын, — пишут они, и по поводу строк знаменитого «Завещания» заключают: — А если отец сердится на сына, то в этом нет ничего удивительного». И это справедливо, ибо если государство подобного невиданного типа так или иначе возникло, то с неотвратимой закономерностью во главе его должен был встать самый жестокий из претендентов на престол.

Обладавшему к 30-м годам всей полнотой власти политической, Сталину не хватало всеохватной материально-экономической власти, что позволило бы ему стать полновластным хозяином всех сфер жизни, владыкой человеческих душ и умов. Следовательно, последний оплот неподконтрольного хозяйства, а именно — частно-крестьянского — подлежал уничтожению. И он был уничтожен. Человечество до сих пор не знало ничего, что было бы подобно сталинской коллективизации. «История первого социалистического геноцида еще не написана, — говорится в книге. — Он происходил в мирное время и по приказу правительства». По личному указанию Сталина был организован искусственный голод, восстания зверски подавлялись с помощью войск и авиации. Авторы с горькой усмешкой напоминают о словах Бакунина, обвинившего царизм в том, что за 200 лет он уничтожил более миллиона человек. Сталин ухитрился погубить гораздо больше народу всего за четыре года коллективизации. «Великий перелом» 29—34 годов красноречиво показывает, как вводятся в жизнь принципы Великой Утопии. Начавшиеся вслед за этим чистки ввергли душу народа в пучину ужаса. Страна оцепенела. И вот теперь, когда человек был нравственно сломлен, он годился в самый раз для создания нужного властям робота, которого авторы называют *Homo Sovieticus*. Этот индивид принципиально отличается от прочих представителей человеческого рода. Его мораль отвечает нормам Идеологии, он не сомневается в правоте партии, в непогрешимости вождя и ненавидит их врагов. К началу войны с фашистской Германией образова-

ние общества, в котором человек целиком зависел от государства, закончилось.

В этом государстве на одном полюсе находилось 7 млн. членов партии, а на другом — 8 млн. заключенных. Так создавалось равновесие, необходимое для существования системы. Страна расцветающего социализма создала невиданную в истории империю лагерей. Население ГУЛага росло с невероятной быстротой. Труд заключенных предусматривался планом. И аресты носили массовый, запланированный характер. Но в соответствии с доктриной иллюзия счастья должна была наполнять сердца. Вождь изрек, и все повторили: «Жить стало лучше, жить стало веселее». В этой обстановке началась война.

Главы, посвященные войне 1941—1945 годов, насыщены глубоким, тщательно изученным материалом, подвергшимся всестороннему анализу. К сожалению, размеры статьи не позволяют подробнее об этом рассказать. Приведем лишь итог размышлений историков, убежденных, что советский народ победил в этой войне не благодаря, а вопреки сталинскому мудрому руководству. Великий полководец ухитрился громоздить одна на одну самые нелепые, чудовищные ошибки, стоившие жизни миллионам солдат. Впрочем, как и положено в мире фикций, все поражения были представлены как блистательные победы.

Смерть Сталина перевернула страницу истории. Десятилетие хрущевского правления авторы назвали «годами растерянности и надежды». Разоблачение Хрущевым «культ личности» было явлением огромной важности, ибо дало возможность понять советскую систему как самую бесчеловечную в мире. Именно в этот период впервые в истории тоталитарного государства возникли Движения протеста, пробились первые ростки общественного сознания. Детали этого сумбурного, противоречивого, полного надежд и разочарований времени обрисованы со знанием и пониманием не только ученых, но очевидцев и участников событий. Общий же итог главы выражен кратко и образно: «Хрущев пробил брешь в железном занавесе, но построил Берлинскую стену». Развернутый анализ дается начавшейся тогда политике детанта и общей позиции капиталистических стран по отношению к Советскому Союзу. Не без иронии замечается, что «историки XXI века (если цензура позволит)

отметят удивительный парадокс XX века: капиталисты проявляют неодолимое желание помогать коммунистам, которые не скрывают, что их цель состоит в уничтожении капиталистов». Одна из причин, по мнению историков, заключается в том, что непомерно разросшееся общество потребления хочет потреблять еще больше и боится потерять свои привилегии. Как бы то ни было, именно капиталисты помогают зловещей советской Утопии жить и выжить.

Раскрывая уродливую, нежизнеспособную экономику тоталитарного государства, ставящего превыше всего Идеологию и незыблемость власти правящей партии, авторы приходят к выводу, что экспансия становится единственной формой жизни зрелого социализма. Пятнадцать лет царствования Брежнева показали, что Советский Союз неспособен выйти из внутреннего политического кризиса. Любой шаг от средней линии в сторону реформ или, наоборот, репрессий угрожает основам системы. Вот почему страна боится любого живого движения. На нынешней своей стадии она поражена энтропией, она саморазлагается. Раздувание военной силы, военной истерии, все новые и новые захваты дают приток необходимой энергии. В этой обстановке пассивность Запада, его завороченность перед успехами Чудовища, нарастание настроений, которые названы здесь «пораженческими», могут стать гибельными для всего мира. Общий анализ современной обстановки не дает оснований для оптимизма. Михаил Геллер и Александр Некрич, постигшие историю своего государства не только умом, но и сердцем, — не академичные исследователи, а живые люди, активно всему сопереживающие, воспринимающие как собственные все происходящие в мире события. Они трезво сознают всю сложность и всю трагичность эпохи, в которую мы живем. Но не верить в лучшее они не могут, ибо знают, что История не кончилась, и память о прошлом позволяет им хранить надежду.

Майя Муравник

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О РОССИИ

Анджей Дравич, один из лучших польских специалистов по русской литературе XX века, в прошлом году издал в Варшаве книгу, озаглавленную «Вопросы о России». Это была первая его книга после долгих лет вынужденного молчания, но и она вышла не в официальном, а в независимом издательстве («Кронг» — «Круг»). Однако времена для него во всех отношениях поворачивались к лучшему: отпало запрещение на публикацию в официально издаваемой периодике, можно было ожидать, что, наконец, будет снят цензурный запрет с его монографии о «Мастере и Маргарите», наконец — Анджей Дравич смог вернуться к любимой преподавательской работе, хотя и не в Варшавском университете, где прежде работал, а в Ягеллонском (Краковском). Нынче все это в прошлом.

В момент, когда я пишу эту рецензию, Анджей Дравич «интернирован». Станный термин — такой же странный, как сама эта война, которую поляки окрестили «польско-ярузельской». Польская энциклопедия объясняет интернирование как «принудительное помещение в назначенном месте пребывания, соединенное с запретом покидать это место (страну, местность, лагерь); часто применяется во время войны воюющими государствами по отношению к гражданам противной стороны, а нейтральными государствами — по отношению к воинским частям и военным лицам воюющих государств, которые оказались на их территории, а также кораблей, отказавшихся покинуть нейтральный порт». Польский (ПНРовский) Военный совет «национального спасения», применив интернирование к гражданам ПНР, откровенно продемонстрировал, что польское общество, польский народ действительно является для генералов от партии «противной стороной», что своей-то стране коммунистическая хунта и объявила войну.

Анджей Дравич (я опять подчеркиваю — в марте, когда я это пишу) находится в привилегированном (без кавычек) лагере, в бывшем армейском доме отдыха Явоже, куда, заботясь о своем престиже, власти свезли наиболее известных представителей интеллигенции. Тем не менее, это лагерь — и

Andrzej Drawicz. Pytania o Rosję. Wyg. Krag, Warszawa, 1981.

тоже без всяких кавычек, и еще неизвестно, куда ведет путь из этого лагеря: в насильственную эмиграцию или под суд — выход на свободу власти пытаются обусловить заявлением о лояльности, и нередки случаи ареста (уже не интернирования, а настоящего ареста, с обвинением и подготовкой процесса) людей, едва успевших освободиться.

Чем же так опасен польскому военному коммунизму литературовед Анджей Дравич?

Французские слависты, выступившие в защиту своих интернированных польских коллег, в своем открытом письме отметили, что среди заключенных на удивление много тех, кто посвятил себя распространению в Польше ценностей подлинной русской литературы. Подобный же парадокс ранее, еще до «войны», отмечал Виктор Ворошильский: выступая в конце октября 1981 года в Русском культурном центре в Монжероне, он обратил наше внимание на то, сколько исследователей и переводчиков русской литературы оказалось среди тех, на чье имя во второй половине 70-х годов в Польше был наложен запрет.

С одной стороны, обязательное изучение русского языка в школе и во всех без исключения вузах (отмененное демократически выбранными вузовскими советами в 1981 г. и теперь вновь восстановленное), — как всякая принудилровка, способное лишь отбить охоту читать что бы то ни было, написанное кириллицей. С другой — изгнание лучших русистов с кафедр и со страниц журналов и книг и полное воцарение наихудших образцов советской русистики (в рецензируемую книгу Анджей Дравич включил статью, выразительно озаглавленную «На дне русистики», — в ней он показал, что советские литературоведы, которые в ПНР курируют преподавание русской литературы XX века и книги которых переводятся на польский, принадлежат к школе, которая даже в СССР заслужила репутацию непроходимо ретроградной). Все это, вне сомнения, преследует цель полной подмены образа русской культуры, русской литературы — «культурой» и «литературой» советской.

В этих условиях книга Дравича — почти учебник. Хотя это и не монографический курс по современной русской литературе, а сборник статей, написанных в разное время, тем не менее, здесь охвачены многие важнейшие аспекты ее нынешнего состояния. В книгу вошли статьи:

«Вопросы о России (из которых важнейший остается без ответа)» — о подлинной литературе, которая «защищает честь русской культуры на тесной и ограниченной почве, определяемой зоркими и активными читателями, способными искать, выбирать и оценивать», и о псевдолитературе, которая «сама идет в руки читателей неопытных и наивных, все увеличивая размах и глубину наносимого ущерба»;

— «Зарубежная Россия». Русский перевод этой статьи, опубликованной сначала, как и некоторые другие из статей сборника, в независимом журнале «Запис», появился в «Континенте» № 27;

— «Попытка 'МетрОполя'»;

— «Чудище у знамени (или Об определенной практике неосталинизма)». Эта статья о послехрущевской литературной сталиниане интересно и справедливо толкует неосталинизм в советской литературе и партийно-государственной жизни как феномен, где сам Сталин не важен, где призрак чудища у (не *на*) знамени понадобился, чтобы «залатать хрущевскую дыру», восстановить «без потерь» непрерывность режима, укрепить его в его внутреннем застое и заодно, хотя и не откровенно, найти наилучшего патрона внешней агрессии;

— «Письмо Владимиру Богомолу» — горькое свидетельство об искажении исторической правды талантливым писателем;

— «На дне русистики (или Об одном учебнике и не только о нем)»;

— «Булгаков, или Школа отказа». Дравич не случайно выбрал «Мастера и Маргариту» объектом своей докторской диссертации и большой монографии — здесь же, сжато анализируя творчество М. Булгакова в целом, он рассматривает его «главную книгу» как сумму всего опыта писателя, сумму не в арифметическом, но в средневековом, метафизическом смысле;

— «Мандельштамы» — эссе памяти Н. Я. Мандельштам;

— «А что за пределами России?.. 'Советское' — не обязательно 'русское'». Как в «Зарубежной России» Анджей Дравич исправлял распространенное в Польше (и не только в Польше) смешение советского с русским, давая малоизвестный польскому читателю образ русской литературы и

журналистики за пределами СССР, так здесь он исправляет другой вариант этого смещения (тот, о котором Буковский пишет, что для Запада мы все — «от молдаванина до чукчи» — русские). Описывая огромное по объему поле национальных литератур, исследователь поневоле фрагментарен, однако общая картина убедительна. Он напоминает читателю, что объект разговора — «созвездие *различных* явлений, объединенных общей территорией и общей судьбой. В сумме здесь много весьма интересных вещей, без всякой скидки, но располагаются они неравномерно». Существенны замечания Дравича о роли русского языка для писателей больших и малых народов. Он — и средство русификации, и в то же время средство выхода в широкий мир. Отмечая, что в Азии или Африке есть писатели, пишущие на языке бывших колонизаторов и не теряющие при этом своего национального лица, А. Дравич говорит: «Функции этих языков уже стали бесконфликтными. Функции русского языка на советской территории не бесконфликтны. Можно вообразить себе положение, при котором он был бы просто удобным, универсальным связным между народами и выполнял бы эту роль *только* с пользой. Но пока — лишь вообразить...»

Я превратила рецензию почти в реферат, но (не говоря уже о том, что не так много русских читателей читает польски) книга Анджея Дравича в условиях арестов и обысков рискует стать библиографической редкостью. Поэтому форма реферата (репортажа?) показалась мне наиболее адекватной, чтобы воздать должное заключенному автору.

Н. Горбаневская

«СИРОТЫ ВЛАСТИ ПЕТРОВОЙ»

«Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А кто ж будет ее расхлебывать?
Детушки, матушки, детушки,
Детушки, сударыня, детушки!»

А. К. Толстой

На весах истории качаются чаши, и ни одна не перетягивает. Так сложна и неоднозначна историософия поэта Юрия Кублановского. Пробный камень — Петр Великий. Как некогда отношение к Петру разделило мысль российскую на западников и славянофилов, так и поныне делит людей и мнения отношение к прошлому и будущему. Читая стихи Кублановского с его неоднозначным по концепции и пронзительным по глубокому и сдержанному лиризму восприятием России как зеркала всечеловеческих взлетов и падений, вспоминаешь, как Алексей Константинович Толстой (не первый, впрочем) заметил, что термины сами (западники и славянофилы) весьма неточны и случайны, ибо речь шла, по сути, о радикалах и консерваторах, ибо Россию любили оба «лагеря», но одни — сквозь призму социалистических утопий смотрели на нее и спешили «чёрт знает куда и зачем», а другие — понимавшие Европу не хуже любых прочих европейцев — и не старались выпячивать свое европейство, «как столбовой дворянин не твердит без конца о своем дворянстве». Это длинное отступление не случайно: как А. К. Толстой, так и Ю. Кублановский в этом вековом споре «двух станов не боец, а только гость случайный».

В стихотворении «Петроградские строфы» обзор «родителя и палача» предстает перед нами как апокалипсическая фигура, которой суждено было ввести страну на тот путь страданий, искушений и хождения по мукам, который проходит «от имперских гробниц» России прошлых двух столетий до «имперских границ» империи нынешней, парадоксально непохожей на империю классическую; ибо нынешняя на прежнюю похожа «как Антихрист на Христа». Есть в ней «и симбирский шакал, и уральский подвал, и свинцовая легкая пуля». Глубины апокалипсического бытия, проживание

Ю. Кублановский. Избранное. Ардис, Анн-Абор, 1981.

последних дней света перед гибелью и обновлением, полвека ада и скрежета зубного, в самой безнадежности коего таится: «аз есмь воскресение и жизнь» — вот итог на сегодня этого пути, намеченного Петром, пути, который ни осудить однозначно, ни воспевать бездумно нельзя.

Зачумлен водопровод,
Баловство — краюшка,
Комариный пулемет
Разжирел, как пушка.

И перемешались тут все времена. В дикой пестроте этой абсолютно реалистически выглядит гоголевкий Акакий Башмачкин, подающий «в застенке морс», или несущийся с колхозных полей запах горелого навоза, вместо ладана тянувшийся к куполу храма...

Сколько уже годин
Ты здесь совсем один,
Нерукотворный Боже!

Из этого падения, падения до конца, лишь и возможно воскресение страны, которая «чужим не понята, обогнана своими / в чреде глухих годин». Одичание человека — вот слова, которые попадают на страницах стихов Кублановского множество раз. И еще образ, проходящий через его поэзию, — снег. И странно: этот снег выглядит нестрашным в восемнадцатом веке, даже во времена суздальской Руси; в балладе о екатерининских «орлах» снег этот праздничный, что ли, а вот сегодняшний снег — уже деталь иррациональной жуткой картины, «гнезда морозных терний», ледяное безмолвие последних минут.

Если искать корни — ибо у каждого поэта они есть, — то поэзия Кублановского в предках своих числит А. К. Толстого, Дм. Кедрина, Н. Клюева...

Что же касается Пушкина — то он не предок поэта, а один из самых частых персонажей в стихах Кублановского. То прямо как действующее лицо (стихотворение об А. П. Керн написано вроде бы как монолог поэта), то в виде эпиграфов, то просто незримо, но постоянно присутствует он во всех стихах о Петербурге, во всех деталях быта прошлого века имперской столицы... то в названиях стихов («Вакхические

мотивы)), а порой и в виде прямых цитат, перемежающихся с собственными строками:

Сквозь вереницу дней несет моя рука
— *никто твоей любви небесной не достоин* —
прощальный поцелуй, подобье мотылька,
Не правда ль, ты одна... ты плачешь... я спокоен.

Это выглядит органично, ибо, несмотря на ненужные порой инверсии или на «густоту» и многослойность метафоры, сама фактура стиха у Кублановского выглядит не только классической, но и намеренно ретроспективной. Причем это не просто рационально придуманная архаизация, это органика его стиховой манеры. «У меня же — отцовская длинная шпага, / целый ворох рубах домотканых льняных / и о древности рода с печатью бумага / и горячее тело кровей голубых».

Интересно и то, что самые ужасные картины поэт дает в интонациях, лишенных всякой патетики, спокойным, слегка тяжеловесным тоном, сквозь который издали едва-едва слышен легкий акцент восемнадцатого столетия. Ни взрывов резких чувств, ни отчаяния напряженных ритмов — все гармонически уравновешено, и в этом спокойствии стихии, в этой ровности малозамечаемой формы резкость метафорической системы выглядит страшновато:

И потому бегу по лестницам в галоп,
беру рукой трамвай за жестяные жабры...

И вот эта метафорическая разгульность позволяет разгуливать по временам запросто от нынешнего жуткого пейзажа, от нынешней, ущербной и обокраденной любви, до спокойного, почти летописного рассказа об ослеплении братьями князя Василия, прозванного затем Темным... Или Крым, где «серые корабли» увозят с собой начинающуюся трагедию эмиграции двадцатых годов, оставляют на берегу трагедию той России, в которой: «Как говорится, кончен бал, / в застенки побросали фрейлин, / уже с отвесных финских скал / на броневики спустился Ленин».

И, кроме снега, который лейтмотивом звучит в стихах, относящихся к любым временам, то на фоне снега этого, то на фоне зелени мелькает... брусника. Цветовой символ? Наверное. Это — и капельки крови, и цвет времени...

А стихи об иных временах — светлее, праздничнее. Даже когда он рассказывает об усобицах времен суздальского княжества или о любовниках императрицы Екатерины, есть какая-то все же мажорность: «Уж лучше это свинство, / да водка, да балык, / чем кровь и якобинство / парижских прощелыг».

...И вот обращенность к прошлому, сказавшаяся и в темах и в стиле, становится почти той, какая свойственна была всегда романтизму — единственному, строго говоря, «направлению», которое может существовать в поэзии. Но... это не лермонтовское однонаправленное «Да, были люди». Это — сгущение всего худшего с течением времени, лишь до тех пор, пока станет ясно, что хуже уж некуда. И тогда — возрождение из пепла.

И в Останкине ли, в Изборске, Москве, Пскове, Царском Селе — всюду вечная природа, с ее снегом, с ее кровинками брусники, молча, сквозь несказанные слова, напоминает о том, что за антихристовыми временами, за концом света («того, который есть»), не пустыня, ибо конец означает возрождение. Такова эсхатология поэта, опирающаяся на неистребимость духа и природы, на неуничтожимость самого духа культуры. И если даже рукописи горят, то Слово и без бумаги, однажды высказанное, не исчезает. А слово Кублановского — о России. И сгущаемому злой силою мраку истории — противовес: какая бы ни была она, это моя страна, моя судьба, моя история, и не отрекусь — ибо что было, то было, да ведь и у иных прочих не лучше история, не меньше крови и подлости, разве что глубина падения такая еще не достигнута, еще впереди у них, а нам из бездны виден огонек...

И в заключение — одно еще наблюдение: зачастую поэты говорят о старине, используя резко современную лексику, ритмы, мелодику стиха... У Кублановского — наоборот: критика нынешнего быта со вставленным современным словечком, к примеру, становится убийственной — оттого, что звучит она лексически и мелодически почти что как стих начала прошлого столетия:

Ни воску теплого, ни камушка, ни смол
законопатить уши нету,

когда звучит в саду старинный рок-н-ролл,
и дева, не чинясь, попросит сигарету.

«Избранное» — так названа книга. И это очень жаль, что поэтам сразу приходится издавать избранное — ведь сколько лет непечатности за этим словом! Но такова судьба поколения, тех поэтов, которые созрели уже во времена полностью непечатные. Среди них, среди поколения «тайной свободы», Юрий Кублановский, по-видимому, один из самых характерных поэтов, и к тому же один из самых ярких.

Василий Бетаки

СПРАВОЧНИК ЭМИГРАЦИИ!!!

Новое коммерческое издание с биографическими данными эмигрантов из СССР, независимо от страны, в которой они сейчас живут. Все политические деятели, бывшие политзаключенные, религиозные деятели, ученые, писатели, журналисты, деятели искусств, предприниматели, врачи, адвокаты, специалисты в разных областях будут включены в Справочник безо всякой дискриминации.

По желанию в справочнике могут быть опубликованы также рекламные сведения об организациях, предприятиях, издательствах, ресторанах, галереях, основанных эмигрантами.

Каждый заинтересованный должен направить запрос по адресу: POB 24027, Mount Scopus, Иерусалим, с приложением конверта с оплаченным ответом и написанным на конверте обратным адресом. Желаящим будет выслан вопросник.

ЭТОТ СПРАВОЧНИК НА МНОГИЕ ГОДЫ БУДЕТ ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИГРАЦИИ. ОН ПОЗНАКОМИТ ВАС ДРУГ С ДРУГОМ. ОН ПОЗВОЛИТ ВАМ СОХРАНИТЬ МНОГИЕ СТАРЫЕ СВЯЗИ И ПРИОБРЕСТИ НОВЫЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ.

Copyright «АРХЕОН».

Коротко о книгах

Ален ДЮБУА

РИСОВОЕ ПОЛЕ ВАРВАРОВ

Alain Dubois. La rizière des barbares.

Juillard, Paris, 1980

Нашествие «новых варваров» на Азию — вот о чем рассказывает нам роман Алена Дюбуа.

Ален Дюбуа — по профессии детский врач, а с 1978 года он становится «врачом без границ», т. е. работает там, где эпидемии, голод или война, где нуждаются в таких, как он.

В течение шести месяцев А. Дюбуа был в Таиланде, в лагере для перемещенных лиц. За эти месяцы он выслушал тысячи рассказов камбоджийских и вьетнамских беженцев. Окунувшись в кошмар этого ада, Ален Дюбуа в своей книге рассказывает нам параллельно историю Вонга, чудом спасшегося от истребления на стройках в Прейноне, и Сана — морского офицера южновьетнамской армии, бежавшего из «перевоспитательного лагеря». Трагедия героев романа — это только ударение на страшном крике задыхающегося народа. Камбоджа, падающая под ударами красных хмеров после пяти лет гражданской войны, и Южный Вьетнам, агония которого была естественным продолжением всей политической кухни на Дальнем Востоке.

Преступления, ненависть, незаживающие раны сплели корзины, куда и стали падать головы осужденных. Все, кто не успел спастись, были врагами, а врагов надо истреблять. Новым палачам не надо было далеко искать осужденных. Вот так и началась медленная агония двух народов. Камбоджа — это уже не Камбоджа, а Кампучия, в которой царит новый Бог под странным именем «Ангар Ле» — Новый закон. «Ангар Ле» знает все, что необходимо камбоджийскому народу; он карает, он кормит, и он убивает. Его хранители — дети 13-15 лет в телогрейках, черных полотняных штанах, с коричневым галстуком на шее. Вот они — новые варвары. «Их задача — разрушить мир, о котором они ничего не знают, в них нет ненависти, только лишь заученная жестокость, ставшая долгом. Холодное беспощадное варварство. Вот они — Боги и хозяева нового монашеского ордена Права и Силы». А рядом с этими новыми хозяе-

вами — тысячи живых людей, которых гонят по дорогам их Камбоджи. Новому закону не нужны лишние рты, а лишь только те, кто может работать.

Тянутся колонны людей, остаются лежать на обочинах дорог те, кто падает от истощения. Новый ГУЛаг заслонил старый. А потом работа, «трудовой день» начинается в шесть часов утра и заканчивается в восемь вечера, распорядок одинаков для всех. Когда остается только отчаяние, пропадает страх, и раб готов на все. Бегство любым путем. И вот они бегут, эти люди-призраки, бегут к вьетнамской границе, и там кое-кому удастся перебежать. И на вьетнамской границе беженцев спасал старый «бог» — золото. Те, кто смогли спрятать на себе хотя бы немного золота, имели право на надежду. Но Вьетнам был только первым этапом бегства, из него тоже нужно было выбираться любыми путями. Бегство и спасение героев этой книги проходит на фоне драматической истории нашествия «новых варваров».

История знает не одно такое нашествие. Сколько империй, сколько цивилизаций исчезло под натиском варварских орд. Вот и сейчас мы живем в тот период, когда, в который раз, «новые варвары» готовы смести то, что мы называем цивилизацией и демократией.

Когда-то Рим пал под ударами варваров, и в ту эпоху они тоже были «новыми варварами». И хочется сказать тем, которых так привлекает безликий Бог «Нового закона»:

— Европа недалеко от Азии... Кто знает?..

Ф. НЕЗНАНСКИЙ, Э. ТОПОЛЬ

ЖУРНАЛИСТ ДЛЯ БРЕЖНЕВА ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. Детектив.

«Посев», Франкфурт-на-Майне, 1981

Остановимся сразу же на этом непривычном для русской книги подзаголовке: «Детектив». Покамест легкий жанр — редчайший в русской литературе. Все есть — поэзия, мемуары, романы, рассказы. Даже юмор есть. А детективов не было. Не считая зачи-

танного до дыр Шейнина да одиозного «майора Пронина», ставшего уже объектом анекдотов.

А тут — пожалуйста: доброкачественный, с лихо закрученным сюжетом. Написанный двумя соавторами: бывшим следователем Ф. Незнанским и бывшим журналистом «Комсомольской Правды» Э. Тополем. И их герои — тоже следователь и журналист «Комсомольской Правды». Авторы прекрасно ориентируются в мире, где действуют их герои: в мире криминалистики и мире советских журналистов.

Итак — журналиста Белкина похищают среди бела дня в Москве, у Курского вокзала. А ведь буквально через несколько дней он должен был отправиться в Вену вместе с Брежневым на встречу с Картером!.. На Лубянке, на Петровке, в Прокуратуре переполох. Журналиста надо найти во что бы то ни стало! И тут по следу направляют самого одаренного, самого энергичного и т. д. — следователя Прокуратуры СССР Шамраева. Действие развивается как на курьерских. Возле подмосковной железной дороги находят труп парнишки из Баку, который ехал в Москву и исчез, похищенный вместе с журналистом. Следователь направляется в Баку. И тут он, а с ним и мы, — оказываемся в темном мире торговли наркотиками.

Торговля гашишем и опиумом — бизнес, процветающий в советских среднеазиатских и кавказских республиках. Морфием торгуют прямо с аптечных складов. И главари всего этого мира (и это не художественный вымысел) — люди, наделенные властью, вплоть до министров, вплоть до членов правительства. Эти мафиози от номенклатуры руководят и отправкой наркотиков через советскую границу.

Коррупция, проституция, уголовщина — вот чем оборачивается жажда наживы у советских чиновников высоких рангов. Зато читатель от этого отнюдь не внакладе. Он-то имеет все, что угодно для души. В детективе «Журналист для Брежнева» в широком ассортименте: голые девочки и наркоманы; поножовщина и бриллианты; убийства и супермены-преступники; роковые женщины, секс (причем любовные сцены через подслушивающее устройство транслируются прямо по громкоговорителю прокуратуры!). Виски, инфернальный врач-гипнотезер, роскошная «вамп» — дочь Генерального прокурора. Вамп предназначена вывести из ступора журналиста Белкина, найденного в сумасшедшем доме задуренным наркотиками. Любовной сценой на больничной койке в сумасшедшем доме и заканчивается «Журналист для Брежнева».

Кроме остроты сюжета, в книге привлекает и фактический материал. И не только касательно спекуляции наркотиками в государственных масштабах. А и тем еще, как не ладят друг с другом и борются между собой КГБ, милиция и Прокуратура.

Об интересной книге говорят: «читается, как детектив». А что сказать о детективе? Ну, конечно: «читается с захватывающим интересом». Что правда, то правда. Вот только, пожалуй, Ф. Незнанский и Э. Тополь уж чересчур расщедрились: западный автор накроил бы на их месте из стольких сюжетов по меньшей мере с десятков полицейских романов «Черной серии»! Но для читателя такая плотность повествования — безусловный шанс.

Рина ЛЕВИНЗОН

СНЕГ НАД ИЕРУСАЛИМОМ

Израиль, 1981

Книжка Рины Левинзон не поражает, а трогает. В этом её достоинство.

В Советском Союзе слово Россия стало одиозным. Им спекулируют, как хотят. Им прикрывают самые подлые дела. Оно густо рассыпано по газетам и журналам. В небольшом сборнике Александра Прокофьева оно попадает 57 раз.

В маленькой (до обидного маленькой!) книжке «Снег над Иерусалимом» слово Россия не встречается ни разу. Но почти на каждой странице — плач о России, мука расставания с ней.

Дождик стучит по оставленным крышам,
Мы уезжаем и писем не пишем.
Странная это затея, ей-Богу,
Вдруг ни с того, ни с сего и в дорогу.

Затея, конечно, не странная. «Весь народ одной волной подхвачен». Позади боль унижений, разгул государственного антисемитизма, «дело врачей», закрытые двери университетов.

И вот — заявление на отъезд. Месяцы, а то и годы ожидания. Ужас перед отказом. И ужас, что разрешение наконец получено.

Теперь всё окончено, всё неизбежно — надо расставаться с родиной.

Вот и остался последний глоток,
Может быть, самый прекрасный.

Пришло желанное освобождение. Но для людей глубоких это не ликование, а трагедия.

...нам освобожденье, как Голгофа.

Семья разорвана, мама уже отделена стеклом, самолет улетает.

Кому под силу столько перемен?
И новый мир, как пропасть, перед нами —
Легко пропасть...

Новый мир, обетованный край встречает поначалу сурово:

Здесь так земля суха, как будто
Ей не хватает наших слёз.

И все первые мысли — об оставленных, о друзьях:

Что у вас в Замоскворечье?
Так же холодно, небось.
Те же страхи, те же речи,
Так же едут на авось.

Память не умолкает:

Я помню номера домов,
Названия улиц,
Запахи дворов.

Тяжело, особенно для поэта, и еще одно испытание — чужое многоязычье.

Что Бог задумал, языки смешав
И тем разъединив родные души?

Но жизнь не кончилась:

...качнулось мирозданье,
А люди продолжают бег.

Книжка написана и издана скромно, без претензий. Не все стихи одинаково хороши. Любовная лирика удалась меньше.

Но вы прочтите эту книжку и поставьте ее на полку. И когда подступят воспоминания и станет особенно грустно, раскройте ее и вам горестно отзовутся созвучные струны.

Виктор КРИВУЛИН

СТИХИ

«Ритм», Париж, 1981

Перед нами — изящный, небольшого формата, стихотворный сборник, вышедший в новой серии «Библиотека современного поэта», напоминающий по виду издания 20-х годов. Первый сборник стихов поэта Виктора Кривулина.

«Пью вино архаизмов» — так начинается сборник. Неторопливым гекзаметром, сходным с движением волн, плывут протяженные строфы. Эти стихи «из подполья» — словно подземное море. Словно река:

...подпольные судьбы
черны, как подземные реки,
маслянисты, как нефть...

Дар, созревший вне поля влияния официоза, вне костоломной цензуры, ныне приносит истинный плод.

Виктор Кривулин — поэт, у которого мысль — слуга слова. Здесь правит метафора:

Художник слеп. Сорокадневный пост
сплетен, как тень висячего моста,
из черных водорослей и шершавых звезд...

Метафора рождается загадкой. Поэт прислушался и слышит среди ночи — как бы огромный зонт шуршит. Читатель тоже превратился в слух. Метафора не обретает зримой формы, но претворилась в звук. «Звучные стихи» — так говорилось о Пушкине, о Тютчеве, о Мандельштаме. Так говорят о стихах плеяды задумчивых царскосельских поэтов недавних десятилетий: Игнатовой, Кривулина, Афанасьевой. Эти поэты не составляют оркестра — каждый сам по себе, у каждого партия соло. Каждому чувство прекрасного нужно, как нищему хлеб. Это мистическое чувство восходит к истоку христианского русла, но золотые зерна язычества так и сверкают в донном песке:

Мы составляем единство, зовомое лес:
где кустарник постелем, где моху,
где приклеится бабочка —
пыль, соразмерная вздоху, —
полудуша, полужилец...

Что же, однако, скрыто под невесомой пылью? Тончайшее, крепчайшее крыло. «Полудуша, полужилец»... —

Дети полукультуры,
С улыбкой живем полудетской...

Да, но подполье — темница! Поэт сам себя туда заключил! Нет ему, поэту подполья, места в стойле официоза. Его мир — без солнца. Так рождается хмурое счастье, машет в подполье свобода острым прозрачным крылом.

Может ли чистый звук противостоять общей фальши? Может, даже если негромок. Ахматова и Мандельштам — крестные этой поэзии. Вот почему здесь таится такая угроза всей бездуховности; вот и надежда — отсюда.

Виктору Кривулину чужд и модернизм, и академическое версификаторство. Он привержен архаике (вспомним: «пью вино архаизмов»). Его архаизмы неожиданны, свежи и как-то бесплотны. Но стихи Кривулина не назовешь стихами «вне времени»: его грусть — грусть нашего современника. Архаика наслоена на предметность окружающего мира, переплетена с бытовым. Древняя метрика создает такой сплав слов, что они кажутся существовавшими от веку, догмой:

Дух свободы подпольной, как раннеапостольский свет...

В этой строке-криптограмме слито: стремление к свободе Духа и к человеческой свободе; попытка скрыть свой свет — и в то же время его не таить.

Это первая, малая книга стихов большого поэта. Трудно ему живется в потемках добровольного заточения. Но линия его поэтической судьбы уже прочерчена на ладони России двадцатого века.

ПИСЬМО ЗАПАДНЫМ РАДИОСТАНЦИЯМ, ВЕЩАЮЩИМ ПО-ПОЛЬСКИ

Перед лицом блокады связи и коммуникаций, масштаб которой превосходит времена гитлеровской оккупации, западные радиостанции, передающие программы на польском языке, являются для нас единственным достоверным каналом информации. Эти радиостанции также позволяют органам нашего профсоюза доводить информацию до сведения всего общества. Проводимое нами распространение изданий и листовок по техническим причинам (размножение) и по соображениям безопасности (аресты распространителей) может пока развиваться лишь ограниченно.

Региональная Исполнительная Комиссия «Солидарности» Малопольши обращается с просьбой к западным радиостанциям: передавайте профсоюзные документы, приходящие из источников, достойных доверия. Сообщайте в передачах о текстах, дошедших случайно, — полное их чтение мы просим поставить в зависимость от подтверждения достоверным источником. В особенности мы предостерегаем: ни один текст, взывающий к насилию и террору, не исходит от органов «Солидарности».

Мы просим читать тексты без сокращений, отчетливо отделяя ваши комментарии. Мы просим также читать тексты так, чтобы их можно было записать от руки или на магнитофон, а кроме того, повторять их в течение двух-трех дней. Мы просим использовать все возможности, чтобы информировать, в котором часу будут передаваться официальные документы «Солидарности». Это письмо мы также рассматриваем как документ, предназначенный для передачи радиостанциями.

Мы благодарим за всю вашу предшествующую информационную деятельность, значение которой ценит каждый поляк.

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
«СОЛИДАРНОСТИ» МАЛОПОЛЬШИ**

Краков, 30 января 1982

По страницам журналов

ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ. № 135. III — IV. 1981

Очередной номер журнала в большей своей части посвящен двум значительным (хотя и по-разному) именам русской культуры XX века — Павлу Флоренскому и Марине Цветаевой.

Во вступительной заметке к номеру Н. Струве напоминает о столетии со дня рождения «ученого в рясе», которого сравнивали то с Леонардо да Винчи, то с Паскалем, — фигуры необычной даже для того, богатого индивидуальностями, времени: философа, математика, поэта-символиста, который не боялся утверждать в 1922 году, в заключении к работе «Мнимости в геометрии», что Данте со своей космогонией оказывается «не позади современной науки, а впереди нее». Приведенные здесь материалы удачно освещают разностороннюю и труднообозримую личность Флоренского. Мы находим здесь содержательную статью Р. Слесинского об учении культа у Флоренского, где кажется вполне оправданным сближение его с западной мыслью. Можно сказать, что Флоренский был маньеристом по форме и традиционалистом по существу и в своих парадоксальных подчас построениях исходил из очень простых истин. Так и свою философию он строил, исходя из того, что «премудрости начало — Божий страх». Приведены здесь и колоритные воспоминания художника Л. Жегина, с которым Флоренский сотрудничал в журнале «Маковец», где интересно сообщение об отрицательном отношении его к идеям Н. Ф. Федорова и многозначителен эпизод с «нечистой силой». Кроме того, здесь напечатаны малоизвестный автореферат Флоренского из словаря «Гранат», его яркая статья «Свидетели», где обращает на себя внимание замечание о том, что «Церковь сурово порицала жажду страданий, как таковых, искание смерти, опьянение мученичеством», а также важное и, увы, актуальное по сей день письмо о необходимости сохранения Оптиной пустыни. Хорошо, что «Вестник» публикует снимок с портрета Флоренского работы Н. Н. Вышеславцева (двоюродного брата известного философа), оставившего ряд превосходных зарисовок русской элиты тех лет (в т. ч. А. Белого, Г. Шпета и др.).

В известной связи с материалами о Флоренском находится и перевод проповеди Савонаролы, одного из представителей того

Чинквеченто, с которым Флоренский, не побывав никогда в Италии, был связан незримыми нитями. Хотя цельный облик Савонаролы и представляет мало общего с ускользающей многогранностью Флоренского. Из богословских материалов, кроме нескольких текстов, печатающихся в отрывках, обращают на себя внимание (особенно в связи с Оптиной) статья о малоизвестном святом Прокопии Устьянском и некролог архимандриту Хризостому, чьи выступления в печати (не только по религиозным вопросам) выделялись эрудицией и широтой взглядов.

В части, посвященной Цветаевой, публикуются статьи-доклады Н. Струве и В. Лосской о религиозности поэтессы, почти противоположные по выводам. В статье Струве интересно наблюдение о роли духовного сословия в русской литературе, давшего в числе своих потомков Гоголя, Достоевского, Лескова, Вл. Соловьева (и М. Цветаеву), но вообще вторая статья кажется более аргументированной. Кроме этого, здесь помещены превосходная, как всегда, цветаевская проза «Аля», несколько ее писем и воспоминания Н. Резниковой о ней.

В очередной главе из «Марта семнадцатого» А. Солженицын дает беспощадно острый анализ удручающей слепоты Государственной Думы в канун Февраля, задохнувшейся от безответственной демагогии и взятой на себя роковой для России централизации. Выводы автора могут показаться слишком решительными, но оспорить их не так просто.

Л. Ч.

ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ АНГЕЛ ЛЕТЕЛ...

(Евгений Евтушенко, «Ягодные места» — «Москва», 1982
№ 7-8)

В предисловии к роману Валентин Распутин пишет: «Я бы назвал «Ягодные места» агитационным романом в лучшем смысле этого слова». Трудно сказать, в лучшем или не в лучшем, но характерная для евтушенковской поэзии острая публицистичность отчетливо проявилась и в этом первом серьезном прозаическом опыте автора. Считая своей задачей напомнить народу, что он — народ, и человечеству, что оно — человечество, писатель отмечает традиционную трак-

товку сюжета и образа. За счет произвольно скомпонованных сюжетов и схематично очерченных образов он создал в чем-то дидактическую книгу сентенций, где герои излагают авторское кредо и являются рупором его идей.

Роман Евтушенко напоминает его стихи и восторженной тональностью, и высоким романтико-революционным пафосом, и напряженной критической нотой. Здесь реют тени буденновских тачанок и комсомолочек в красных козынках, слышится пламенная речь вождя, простершего руку с броневика, и гордо стоят отряды старой питерской гвардии большевиков, в глазах которых «отсвечивают костры Смольного». А нынешняя Россия вырастает белоснежной невестой, чистенькими краснофлотцами в залах музея и очередью на всю улицу... за произведениями Достоевского.

Схематизм героев, которые в романе четко делятся на черных и розовых, плохих и хороших, — вовсе не дань канонам социалистического реализма. Это разделение имеет своей подоплекой философскую концепцию автора, согласно которой он объясняет возникновение зла и все постигшие человечество несчастья. Мир, добро и свет делают хорошие люди. Плохие, соответственно, несут злобу, зависть и разрушение. Значит, проблема состоит в том, чтобы хороших людей было как можно больше, чтобы они росли, множились, заполняли весь шар земной, и тогда наступит то светлое завтра, о котором мечтали лучшие умы человечества.

Уже из концепции «плохие — хорошие» вырастает чрезвычайно направленная, многократно варьируемая и в различных формулировках в романе преподносимая теория нравственного самоусовершенствования. Не ново? Нет, конечно! Зато неожиданно и в наше время как-то чудно. Автор не устает повторять, что бесконечность сердца выше бесконечности знания, что человеку надо непрерывно чистить авгиевы конюшни собственной души, что, наконец, «если бы все люди задались одной целью — воспитать детей в смелом страхе совести, то произошла бы самая великая революция».

Теория так бы и осталась повторением задов учения великого непротивленца, если бы из нее в новейших условиях не делались далеко идущие выводы, а именно: зло содержится не в пороках столь любимой писателем социалистической системы, а в плохих людях, в проклятом «циничном

меньшинстве», которое хоть и является меньшинством, но ухитряется портить и ломать прекрасно отлаженный механизм советского государства.

Произведение задумано как нечто широкое, проблемное, глобальное, как роман века, в котором ставятся и разрешаются вопросы добра и зла, человека и космоса, войны и мира, Бога и бессмертия. Рассуждения об этих высоких материях оставим на совести автора. Нас интересуют более узкие, но весьма существенные вопросы: наша страна, ее недавнее прошлое и связанное с ним настоящее, ее неотложные проблемы и их разрешение.

Одна лишь постановка этих вопросов требует от писателя известного мужества. Что же касается Евгения Евтушенко, то он их не ставил, но на них *намекал*. О, удивительная книга, книга намеков и умолчаний, где авторские высказывания напоминают детскую дразнилочку: покажет и тут же спрячет: отгадай, что такое? До того заморочит, что хочется молить: чем так, то лучше уж никак, не дразни, не морочь понапрасну! Но нет, вы хотите про сталинщину? Пожалуйста, читайте: «Известные годы утюгом прошли... Когда круто завернуло время...» Хотите про ГУЛаг и про невинно посаженных? Пожалуйста: «На долгий срок оказался он на Дальнем Востоке...» Стыдливость какая! Он — это старичок-грибничок Никанор, один из положительных героев романа, страдалец, но чистейшей души человек. О его собратях по несчастью сказано и вовсе идилически: «Много хороших людей попадалось там Никанору и немало умных разговоров пришлось выслушать где-нибудь у костра».

Возникает особый, с вывертом язык, язык эвфемизмов, нечаянных упоминаний, небрежных мазочков, за которыми скрывается то, что должно быть картиной. И снова игра по аналогии с известной головоломкой: «По фрагменту отгадай целое». Маленькие подачки правды выдаются скупой, по карточной системе и лишь о кое-каких перегибах прошлого сказано откровенней (разрешено говорить откровенней). Поэтому сцена раскулачивания в Сибири получилась убедительной и хватающей за душу. В Сибири, собственно, кулаков не было, но для видимости классовой борьбу их надо было избрести. Какой-нибудь завистник из самых никудышных лентяев приглядывал для себя избу поновее — и вот находился кулак. Раскулаченных некуда было ссылать: другой-то Си-

бири нет! Тогда и меняли «кулаков» деревнями. Многие надеялись вернуться в родное гнездо, да так и умирали, не дождавшись.

Ах, если бы только было позволено, с какой силой, страстью, творческим напором сказал бы об этом поэт! Ведь дан же ему настоящий дар от природы! Но нет, «молчи, скрывайся и тай...» Приходится пускаться на хитрость. Не ляпнешь же, что в стране нечего есть, зато подкинешь картинку: космонавт привозит любимой в провинцию не цветы, а батон копченой колбасы. Положительный юноша упрекает отца-директора, что в их семье покупают по блату ананасы и семгу с икрой: «На витринах же этого нет!» Какая уж тут семга-икра! Ни на витринах, ни в магазинах нет ничего, шаром покати. Кстати сказать, добродетельный директор не выдерживает мук совести и немедленно посылает жену в общую очередь.

Иногда намек отдает даже некоторым иезуитством (в этом случае он тщательно замаскирован). К примеру, дразнящая сцена под занавес произведения, когда жена Циолковского проходит по мясному торговому ряду дореволюционной Калуги и видит свисающие с крюков туши багрового мяса, разложенные на прилавках тушки фарфоровых поросят, пупырчатых янтарных уток. Картина нарисована автором смачно, со знанием дела. Не иначе как где-нибудь на парижском рынке углядел... Когда один из героев жалуется, что не читал Гумилева, потому что его у нас не издают, догадливый читатель сумеет обобщить, что *не только* Гумилева у нас не издают, а когда другой герой роняет в разговоре, что теперь и поговорить можно, теперь люди перестали бояться своих мыслей, то догадливый читатель возрадуется, что наконец-то наступило блаженное *теперь*, а ведь было зловещее *тогда*, да оно еще, не дай Бог, повториться может...

Право же, надо обладать особым писательско-эквилибристическим даром, чтобы с самым невинным видом протаскивать самые крамольные мысли. Ну, кто, к примеру, догадается, что в уста обыкновенного парнишки вложена прямо-таки взрывоопасная фраза: «Когда убивают одного человека, за это сажают в тюрьму, а почему, когда убивают целые народы (!), виновные на свободе?» Тут, правда, надо самому сообразить, *какие* народы и *кто* убивал, но не слиш-

ком ли многого мы требуем от автора? А он еще один хитроумный трюк отколол — заставил положительного героя президента Альенде излагать недостойные коммуниста мысли о государстве: «Страшно, если государство превращено в сдерживающее, а не в созидательное начало... Функция сдерживания отупляет людей, находящихся у власти, и они сами начинают *неумолимо разлагаться*». А? Каков намек! Но уж и читателю приходится настоящим шифровальщиком становиться.

Когда Евтушенко хитрит, прибегает к Эзопову языку, с невинным видом подбрасывает крамольные идеи, это, конечно, малоприятно, в этом и расчет, и увертливость, и та самая полуправда, которая хуже откровенной лжи. Однако тут автор еще может сослаться на драконовскую цензуру и невыносимые условия писательского труда. Гораздо хуже другой вид лжи, широко представленной в этом романе, лжи, которую можно назвать *системой односторонних, намеренных умолчаний и намеренной выборочности факта*. Здесь уже пахнет не боязнью цензуры, а самым настоящим писательским шулерством.

С присущим поэту пафосом клеймится явление, но... лишь по другую сторону пограничного столба. Считаются, так сказать, только «чужие камушки», а выражаясь спортивным языком, происходит игра в одни ворота. С горечью и осуждением обрисован концерт «Хвостатых» в Гонолулу, где несчастных исполнителей не позволила слушать впавшая в истерический транс толпа поклонников. Но ведь эпизод с художниками на московском пустыре, где их вместе с картинами давили бульдозерами, — гораздо страшнее. Нет, подбросил читателю Гонолулу. Так оно впечатлительней. Пленного японца, отсидевшего в советском лагере и отпущенного на родину, целый месяц продержали в полиции — проверяли, не красный ли шпион. Ужас-то какой! Бедный японец!.. Только почему же про наших военнопленных, которые вернувшись из плена, сгнивали в сталинских лагерях, не вспомнил Евтушенко?

Когда автор с неподдельным возмущением спрашивает, можно ли вообразить Ленина, рассказывающего дешевый анекдот, то так и просится крикнуть: «А вообразить Ленина, который приказывал сотнями расстреливать невинных во время красного террора, — можно?» Для писателя земной

шар вращается с пискаревским кладбищем и разбомбленным Вьетнамом. И только. А почему не с Катынью? Почему не с вымершей от коммунистического геноцида Камбоджей? Другой пример: для героя, вообразившего себя в пору Монгольского ига, — впереди Россия Куликова поля, Петра Первого, Пушкина, Циолковского, Гагарина, то есть — впереди слава великой державы. Однако задается резонный вопрос: почему же только слава? А ее несчастья, ее великого горя разве не будет впереди — опричнины, Смутного времени, шпицрутенов, коллективизации, ГУЛага, наконец!

В игре намеренных умолчаний даже Окуджава берется на вооружение. Космонавт, летящий в просторах вселенной, включает пленку с его песенкой, которая называется «Песенкой американского солдата». И лишь американскому парню с горечью бросается упрек: «Как просто быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом...» И лишь имея в виду определенного собеседника, Евтушенко советует, что, мол, не надо по пустякам воевать, тогда и большой войны не будет. И лишь обращаясь к участникам пацифистской антивоенной демонстрации, восторженно их прославляет. Ну, а как же Афганистан? — с тоской спросит читатель. Но автору наверняка это покажется верхом бестактности и неприличия.

Почему-то хочется привести Евтушенко его же слова о том, что откровенные циники не так страшны, как те, которые притворяются, что верят. Верит ли он, например, когда устами советского генерала утверждает, что фашистская несправедливость во сто раз хуже нашей (читай — сталинской). Почему же хуже, если тут же, буквально через несколько строк, автор сам же себе возражает, рассказывая, что генерала этого, который в ужасающих условиях вывел дивизию из окружения, тут же по приказу Ставки арестовали. А между прочим, Гитлер своих генералов за это не сажал. Смешно читать, когда положительный герой, сибиряк-рабочий под диктовку писателя философствует: «Система наша вроде бы вся должна на организованности держаться... А вот прописка — дите неорганизованности нашей...» Дальше рабочий толкует, что без прописки вся страна ринется в Москву и столица разбухнет, как пять Нью-Йорков. Вот уж воистину непонятный зуд точит писателя. Неймется ему! Прописку затронул, большое проклятое место! А нынче и

дети знают, что в неорганизованных капиталистических странах нет никакой прописки, а в организованных социалистических — есть. А в Москву все население Союза по той простой причине бы ринулось, что там хоть хлеб можно без очереди купить.

После всего вышеизложенного понятны призывы Евтушенко сбросить черствость сердец и стать сентиментальными. Он очень ценит сентиментальность: это и с теорией душевной чистоты согласуется, и с органическим тяготением писателя к доброте. Не даром же он с таким умилением вспоминает карамазовскую проповедь о слезинке ребенка. Однако пусть все-таки вспомнит слезы детей в своем любимом социалистическом отечестве, которым теперь, на шестьдесят пятом году советской власти, выдают по карточкам молоко. И, может быть, не следует столь поэтически-вышенно говорить о советском космонавте: «По небу полуночи ангел летел...» Полно, ангел ли? Сейчас, бывает, и советские, и американцы запускают в космос обыкновенных космических шпионов.

Возникает, наконец, вопрос, искрення ли общая восторженная тональность книги? Верит ли автор, что все происходящее в стране лишь частные недостатки? Он, кстати, говорит, что ему отвратительно сладострастие разоблачений. Хочется посоветовать, чтобы разоблачал без сладострастия. Но разоблачал! Так нет, Евтушенко не разоблачает. Он — *играет*. На протяжении всего романа играет в одну ему понятную игру. Впрочем, так ли уж трудно догадаться о ее сути. В худшем смысле этого слова.

М. М.

Наша анкета

ВСТРЕЧА С МИХАИЛОМ ШЕМЯКИНЫМ

Беседу ведет искусствовед Белла Езерская

Имя Михаила Шемякина всегда было окружено (для меня, по крайней мере) неким ореолом таинственности. В самом деле: еще и сорока нет, а уже мировое имя, выставки в Америке, Италии, Англии, Бразилии, Японии; признание ведущих критиков Европы; успех у избалованных парижан... меценатская щедрость, безрассудные, дерзкие выходки...

Картины его многое объясняли, не объясняя ничего. Его рисунок поражающе тонок и всегда неожидан. Неожиданно любое направление линии, любой путь ее в пространстве листа. Она существует сама в себе и сама по себе, во всей материальной настойчивости своей и — одновременно — во всей готовности исчезнуть сию минуту. Любой изгиб — капризен и дерзок. Капризен именно этим сочетанием присутствия и неприсутствия, случайности и упрямства, утверждения собственного права на существование и... на несуществование. Это есть в любой работе Шемякина — в графике, как и в живописи. Как если бы изображение готово было покинуть лист, но не покидает его только из вызова... или из простого нежелания. Я думаю, что именно этим характером творчества Шемякина объясняется громадный успех его в Японии — этой летучестью, этой нечаянностью. И этой живучестью рисунка, его поразительной точностью и чистотой, вызывающей у зрителя почти физическую вибрацию каждого нерва.

При ближайшем рассмотрении Шемякин оказался тем самым «железным человеком» — недавним героем польского кино.

Родился он в Москве, но вырос в Германии, где отец его служил комендантом в одном из саксонских городов.

М. Ш. У меня не было детства. Оно началось в 13 лет, когда я с матерью вернулся в Россию. Поступил в художественную школу им. Репина, и у меня появились друзья. Они мне заменили семью. Поэтому у меня такое бережное отношение к друзьям. Я их

люблю и со многими связан долгими годами дружбы. Друзья и религия наполнили мою жизнь смыслом.

Б. Е. Ваши родители были религиозны?

М. Ш. Нет, они были атеистами. В религию я пришел не из семьи. Думаю, что это началось с моих конфликтов с российской действительностью. Мне очень трудно было прижиться в России после Саксонии, с ее уютом и тишиной, с ее парками и замками. Когда я впервые попал в Ленинград, этот сумасшедший город, я с трудом воспринимал прямолинейные улицы, Невскую перспективу, это небо, эту воду. Только потом, став истинным петербуржцем, я полюбил все это, да и сейчас очень люблю.



А вера пришла ко мне в минуты отчаянья и депрессии. Я стал тайком от родителей ходить в церковь, и, видимо, на меня это очень подействовало. Но с той минуты, как я повесил у себя — нет, не икону, а просто репродукцию! — с изображением Христа, все беды разом обрушились на меня.

Шли они из средней художественной школы им. Репина. Нас было несколько молодых художников, интересовавшихся старинным искусством. Грюневальд. Кранах. Геймский алтарь. Еще до икон не доходило, но нам уже угрожали: не то копируете. Не так. А в одну страшную ночь моих друзей, этих несчастных ребят, живших в интернате, дюжие санитары из бывших уголовников выволокли из постелей, запихали в кузов санитарной машины и отвезли в психушку, откуда они через шесть месяцев вышли совершенными инвалидами. Я тоже был арестован КГБ. На допросах присутствовал врач-психиатр, который дал заключе-

ние, какого от него требовали. На следующий день я был скручен и брошен в психиатрическую больницу. Это была экспериментальная клиника, где врачи ходили в военной форме, а новые препараты проверялись на людях. После этого «лечения» у меня ходуном ходили руки и полтора года я вообще не мог писать.

Но когда во Франции я с семьей оказался выброшенным на улицу среди зимы — без языка, без денег, без куска хлеба — было не слаще. Хотя и в ином плане. Мы с женой спали в гараже, не раздеваясь, на каких-то грязных матрасах, как клошары. Дочка была пристроена у знакомых. Потом все-таки французы решили нам помочь. Надо вам сказать, что французская благотворительность сильно отличается от американской. Они разрешили нам жить в заброшенном бильярдном клубе. Подарили по железной койке, солдатскому одеялу и, как сейчас помню, по пластиковой миске, ложке и вилке. Так мы прожили первые наши два года в свободном мире: без туалета, без кухни, без ванной, без горячей воды, и, уж конечно, без телефона. Мы обогревались электроплиткой, а окна заколотили фанерой.

Б. Е. Я слышала, что во Франции вас принимали очень хорошо. Что же произошло?

М. Ш. Да, поначалу так оно и было. В первую же ночь, только прилетев, я уже слушал передачу о себе по французскому радио. Большую, часовую передачу. Я, конечно, ничего не понимал, только слышал свою фамилию с ударением на последнем слого: Шемякин. Дело в том, что в это время в Париже проходила моя выставка в галерее Дины Верни — одной из крупнейших французских галерей. Я подписал с ней контракт, но затем порвал его, так как этот контракт закабалил бы меня на всю жизнь. Не для того вырвался из одной кабалы, чтоб попасть в другую. Как видите, я не умер и через два года все-таки встал на ноги.

Б. Е. Почему же вы все-таки уехали из Франции? Ведь вы там прожили десять лет!

М. Ш. Я с самого начала не намерен был там оставаться. Как только приехал, сразу понял — это не моя страна. Как вам объяснить? Люди улыбаются вам, они приветливы, но у вас почему-то не возникает никакого желания заводить с ними дружбу. Совсем другое дело — америкайцы. Они мне напоминают русских. Они широки, демократичны. Кроме того, я совершенно убежден: создавать в искусстве что-то новое, экспериментировать, искать — сейчас можно только в Америке. Я влюбился в эту страну с первого взгляда. Хочу выучить английский язык. Хочу стать американским художником.

Б. Е. Я понимаю, что с Францией у вас связаны не совсем приятные воспоминания, и это влияет на ваше мнение о французском характере.

М. Ш. Конечно! Положение художника во Франции бедственное, бывший президент республики Жиска́р д'Э́стен незадолго до новых выборов собирался начать атаку на всех деятелей искусства. А при нынешнем президенте введены такие налоги на покупку произведений искусства, что теперь и самые богатые собиратели живописи не могут себе позволить покупать картины. Так что левое правительство фактически в этом смысле продолжает политику либерального.

Б. Е. Но давайте вернемся к американцам, поскольку нам с вами жить в Америке.

М. Ш. В Америке в последнее время возникло нечто вроде взрыва общественного самосознания, и в связи с этим — огромный интерес к созданию своего национального искусства. Заметьте, что и за границей они стали меньше покупать. А раньше просто привозили художников, не говоря уж о картинах. Нет, центр мирового искусства давно уже переместился за океан, в Америку. В Нью-Йорк.

Б. Е. На американском солнце тоже есть пятна.

М. Ш. Я знаю, что рай на земле найти невозможно. И здесь, разумеется, есть свои недостатки. Но мы всегда выбираем меньшее из зол. Знаю, что художникам и здесь приходится нелегко. Но не знаю ни одного, кто бы пожалел, что приехал сюда...

Мы беседуем в огромном новом современном «лофте», только что снятом Шемякиным в Сохо. Лоснится лакировкой паркет, вдоль стен стоят массивные стеллажи, на стеллажах — огромные альбомы, тщательно переплетенные и перенумерованные: натуре Шемякина неожиданно для меня оказался свойствен самый дотошный педантизм. За нами, сопя и постукивая когтями по паркету, ходит неотступно шестимесячный бульдог Булька. У него свирепое выражение лица и замашки собственника: стоит только хозяину отвернуться, как он молча подталкивает меня к двери.

Мое внимание привлекают два бронзовых рельефа: странные фигуры, облаченные не то в маскировочные халаты, не то в древнегреческие хитоны, не то в арестантские робы. Фигуры тащат на спине то ли арфы, то ли птеродактилей (оказалось, что это — распотрошенные до ребер воловьи туши). Ощущается огромное напряжение, тяжелые шаги, затрудненное дыхание. Это рельефы из серии «Чрево Парижа».

Знаменитого рынка, воспетого еще Золя, более не существует — вместо него стоит безликий торговый центр. Шемякин застал буквально последние дни «Чрева Парижа», его агонию. Часами бродил он по рынку, стараясь запечатлеть на пленку то, что завтра станет достоянием истории. Фотографировал прилавки зеленщиц и торговцев рыбой, лиловые туши, подвешенные на перекладинах, рабочих, сгружавших их. Его восхищало то неуловимое, поистине артистическое движение, которым грузчик взваливал на спину многопудовую тушу, ухитряясь при этом не сломать себе хребет. Он «ловил» это движение с разных точек, сделав более двух тысяч фотографий, из которых родилась, пройдя через многие этапы трансформации, серия гравюр «Чрево Парижа».

Михаил Шемякин учился когда-то на факультете скульптуры, у Китайгородской. И когда пришлось — показал высокий класс профессионального мастерства. Как и во всем, за что брался: в фотографии, например.

Но, конечно, главное его очарование — то, что делает Шемякина Шемякиным, — в его рисунке. В Италии его называют «Паганини рисунка». Сам он любит повторять изречение Энгра: «Рисунок есть высшая честность в искусстве».

Рисунки Шемякина сатиричны, гротесково заострены, саркастичны. В них ошутимо гоголевское начало, присутствие Гоголя — автора «Носа», «Петербургского проспекта» и «Записок сумасшедшего».

М. Ш. Меня всегда интересовала философия искусства. Еще в Союзе я организовал группу «Метафизический синтетизм» (в каталогах она значилась как группа «Санкт-Петербург». Под этим названием она была зарегистрирована официально, что оградило нас от немедленного разгрома). Мы изучали культовые истоки искусства. До того как искусство стало явлением культуры, оно было культовым явлением. И с этой точки зрения для нас огромный интерес представляют каноны. Каноны древних мастеров — индонезийских, полинезийских, мексиканских, африканских, русских. Возьмите, например, канон русской иконы. Живописец знал, что данного святого можно изображать только в такой-то цветовой гамме, в таком-то хитоне, с такой-то прической. Казалось, что при такой закованности можно утратить всяческую свободу. А получилось наоборот. Каноны, передаваемые из поколения в поколение, приучали живописцев использовать минимальные возможности с максимальным богатством. По канонам вы всегда можете определить, к какой школе относится данная икона. Или найти «родственников» африканской маски среди древнегреческих произведений искусства. И все это — в рамках одного и того же канона, заметьте.

Б. Е. Вы считаете, что канон помогает найти общие истоки искусства?

М. Ш. Именно так. Поэтому нас так заинтересовала теория «Англантиды». Иначе не объяснишь, почему культовые и прочие, даже бытовые вещи, при-

надлежавшие разным культурам, найденные на разных концах земного шара, столь разительно похожи. Значит, были общие корни и общие учителя. Это не может быть простым совпадением геометрических форм, это можно объяснить только общностью канонов. Я еще в Союзе иногда показывал искусствоведам древнекитайскую вазу, например (в иллюстрации, разумеется), закрыв надпись. Они принимали ее за древнемексиканскую — таково было сходство.

«Метафизический центр», основанный мной в Интернациональной галерее в Сохо, как раз и будет заниматься поисками общих истоков искусства. Там будут выставляться (и уже выставляются) художники метафизического направления в искусстве. Это будет как бы лаборатория. Там будут выставлены чертежи, проекты, рисунки. Результаты этих поисков — завершённые работы — будут выставлены в галерее, находящейся рядом, на этом же десятом этаже в доме по Бродвею 599.

Б. Е. А как вообще вам представляется будущее нашего нонконформистского искусства? И есть ли оно у него — это будущее?

М. Ш. Вы имеете в виду — на Западе?

Б. Е. И на Западе, и там у нас — внутри страны?

М. Ш. Простите, но на этот вопрос в состоянии ответить лишь один Господь Бог, тем более, что сейчас, в условиях духовного апокалипса, царящего в современном мире, приходится гадать не о завтрашнем дне искусства, а о завтрашнем дне человечества. Одно могу утверждать с уверенностью, что *настоящее* у нашего нонконформизма есть. Здесь, на Западе, к примеру, уже прочно утвердились имена таких крупнейших русских мастеров, как Эрнст Неизвестный и Олег Целков, а в России продолжают жить и работать такие общепризнанные теперь художники, как Илья Кабаков и Владимир Янкилевский. К ним можно смело присоединить еще с полдюжины значительных

имен, но боюсь обидеть тех, кого по оплошности вдруг забуду. Русское искусство в двадцатом веке, начиная с Кандинского и Малевича и кончая нашими ведущими нонконформистами, сделалось теперь явлением мирового порядка...

Я брожу по осуществленной мечте Шемякина — по его метафизическому центру в Сохо. Трудно порой бывает перекинуть ассоциативный мост между метафизическими композициями художника и реальными предметами, породившими их. Шемякин охотно приходит на помощь, помещая рядом со своими работами фотографии «вдохновивших» его предметов или людей, как бы приглашая гостя к сравнению и сопоставлению. Мы видим, как происходит обобщение. Из фигур танцующих туземцев исчезают этнографические и натуралистические подробности. Фигуры превращаются в некий символ танца. Размалеванный полинезиец с пышным султаном из перьев на голове неожиданно получает метафизическое воплощение в некоем подобии примуса; турбинный двигатель столь же неожиданно получает очертания человеческой фигуры. (Мне вспомнилось утверждение Шемякина о том, что техника может быть на удивление статична.)

Сейчас художник пишет книгу, которая вскоре выйдет в Италии, в серии «Великие монографии». В этой серии выходят книги о художниках масштаба Пикассо, Миро, Бэкона. (Заготовки этой огромной книги я и видела на полках.) В книге будет 800 иллюстраций. Шемякин отказался от услуг искусствоведов и сам пишет комментарии. Это его труд, его творчество, его поиск — кто может объяснить это лучше, чем он? Период анализа закончен. Начался период осмысления и синтеза.

Специальное приложение

ЭМИГРАНТСКИЙ «САМИЗДАТ»

«Вот почему, я боюсь, что мы в эмиграции, под теплым крылом демократического Запада, сами того не желая и не сознавая, воспроизводим в миниатюре прообраз советской власти. Только с другим, антисоветским знаком. Да еще существенное различие: у нас нет своей полиции и нет своих тюрем. Но своя цензура уже есть. И свои доносчики тоже есть. Только опять-таки западная полиция почему-то не принимает наши доносы. Ах, да, мы забыли: ведь здесь же — демократия!»

«Новый американец»,
17 — 23 октября 1981. Стр. 7

Что и говорить, золотые слова! А теперь дела*:

«Мы не отмечаем то небольшое положительное, что внесла газета «Русская Мысль» в русскую эмиграцию. Мы хотели бы заострить внимание на тех, ставших уже хроническими, недостатках газеты, которые усиливаются с годами и достигли Геркулесовых столпов в последний год, под управлением г-жи И. А. Иловайской. За этот год заметно упал общественно-политический, интеллектуальный и культурный уровень «Русской Мысли». Газета приобрела пародийно-провинциальный характер и превратилась в своего рода «Епархиальные Ведомости», которые когда-то в России обслуживали в основном церковные круги. Согласно Энциклопедическому Словарю Брокгауза и Ефрона

* Письмо, насколько нам известно, направлено в одну из административных организаций правительства США. (Прим. ред.)

(1894): «Епархиальные ведомости распадаются на части официальную, содержащую распоряжения св. синода и епархиального начальства, и неофициальную, которая включает в себе выписки из творений св. отцов и духовных писателей, темы для проповедей, историко-статистическое описание епархий, поучения и беседы, извещения и приглашения к участию в благотворительности...» (т. XIа, стр. 662). Таков же, примерно, круг интересов нынешней «Русской Мысли». Спору нет, фотографии церковных храмов или богословские поучения (типа «О некоторых видах молитвы», 11.1.80) способны принести прихожанам душевную пользу. Но в таком изобилии и в светской газете это выглядит нелепо, а порою и кощунственно — рядом с приглашением в ресторан «Распутин» или с таким, например, отрывком: «...жена и золовка миллионера-сенатора, известного своей высокомерной глупостью и тягой к радикальным идеям, потеряв счет бесчисленным скотчам, коньякам и водкам в разных смешениях, с собачьим лаем ползали друг за другом по полу, плакали и смеялись, пробовали даже нестройным дуэтом изображать на ломаном русском «Подмосковные вечера» в надежде, что это должно понравиться варварам из России... а затем, предварительно обмочившись, отключились и заснули под столом...». (В. Максимов, 30.4.81). Этот горячечный антизападный бред опубликован в газете с воскресающим Христом на первой полосе. Главная же беда, епархиальный отпечаток делает газету безнадежно устаревшей. От современной России «Русская Мысль» отстала на сто лет.

Такая ориентация газеты связана, очевидно, с идеей «национально-религиозного возрождения» как панацеи от всех бед. Но в качестве рупора той же идеи в Париже существуют журналы «Вестник Русского Христианского Движения» и «Русское Возрождение». Русская же газета, претендующая на беспартийность

и притом единственная в Европе, призвана, на наш взгляд, к более широкому, актуальному и живому направлению мысли, чем прославление старины и романтизация дореволюционных порядков.

Нынешний курс газеты выражен достаточно четко в редакционной статье И. Иловойской (17. 8. 80), где ведется полемика с какими-то мифическими «прогрессистами»: «...Встает вопрос — в какой мере модное у наших «прогрессистов» (по собственному их определению себя) глобально отрицательное или саркастическое отношение к русской истории и к русскому народу есть тоже продукт десятилетиями внушавшейся аксиомы: «до революции — все плохо, от этого и поэтому и произошла и была необходима революция; после революции — все хорошо»».

Нам известны подобного рода русские «прогрессисты» с таким «глобальным» (!) отношением к русской истории и к русскому народу. Да и никто «прогрессистом» себя не величает. Есть, конечно, лица либерального или демократического образа мыслей, которые не считают, что все в дореволюционной России было хорошо. Например, крепостное право. Но так же думал, например, Короленко, — безо всякой десятилетиями внушавшейся аксиомы.

Зачем же понадобился «Русской Мысли» миф о прогрессистах? Во-первых, чтобы представить сторонников демократии воспитанниками советского режима. Об этом пишет К. Померанцев в статье «Трагическое непонимание» (20. 10. 80): «Нередко так обстоит дело (советское понимание русской истории) и с попадающими на Запад диссидентами. Иногда совершенно искренне, иногда только по им одним ведомым (или неведомым) причинам враждебности по отношению к царской России, они только помогают западной неспособности проникнуть в смысл и суть советского режима».

Во-вторых, подобный ход с «прогрессистами», которые якобы утверждают, что все в России до революции было плохо, а после революции все стало хорошо, — позволяет «Русской Мысли» сделать обратный вывод: все до революции было хорошо, — и направить газету этим твердым курсом назад в прошлое, подальше от западной демократии. Из номера в номер идет прославление русской самодержавной монархии. Столетие со дня смерти Достоевского отмечалось в этом году на страницах «Русской Мысли» куда бледнее и скуднее, нежели столетие со дня смерти императора Александра II (5.3.81 — 3 статьи; 12.3.81 — 2 статьи; 19.3. — 2 статьи). Любая критика самодержавно-крепостнического строя заносится в «русофобию». Так произошло, например, с американским историком Ричардом Пайпсом. По его адресу было направлено три больших разгромных статьи (1980: 14.2., 26.6., 16.10.). Это — артиллерия в поддержку статьи Иловойской против Пайпса в «Вестнике РХД». И не мудрено: либерализм и демократия рассматриваются в «Русской Мысли» как основная причина революционных бедствий в России.

Если же кто-либо пытался выступить — нет, не в поддержку Р. Пайпса (этого бы «Русская Мысль» не допустила), а с утверждением отдаленно сходных с ним идей, — такого автора подвергали осуждению. М. Сергеев брюзгливо отмахивается от всяких «Эткиндов и Гроссманов», не замечая, что оскорбляет пренебрежением память крупнейшего писателя России в XX веке, Василия Гроссмана.

В «Русской Мысли» можно прочесть и такие удивительные строки: «В 1904 г. в США еще линчевали негров. Это похуже, чем отвратительные погромы на Украине евреев, или, в 1914 году, в России же, немецких магазинов, — если не ошибаюсь, и там, и там не было человеческих жертв...» (З. Шаховская, 3.1.80). О еврейских погромах в царской России — огромная

литература; число жертв подсчитано и много раз опубликовано. Но газета стремится во что бы то ни стало доказать, что дореволюционная Россия была страной не только благополучной и во всех отношениях прекрасной. Она неизменно настаивает на том, что русские люди не способны были совершить у себя в стране кровавую революцию, — ее сделали, разумеется, «инородцы», «националы», национальные меньшинства (15.2.79, М. Сергеев). Иногда доводы носят вполне анекдотический характер: «...Пушкина убило не царское самодержавие, а представитель европейской культуры Дантес» (В. Максимов, 11.10.79).

Из статей Б. Парамонова (3.4., 6.10.80) явствует, что демократия и на Западе отжила свой век. Аргументация Парамонова в пользу авторитарных систем напоминает демагогию времен национал-социализма... Естественно, в такой атмосфере в «Русской Мысли» находят пристанище залетные сентенции — типа: «...И Лаваль, и маршал Петен были не меньшими патриотами, чем укрывшийся в Лондоне де Голль... Конечно, легче всего было быть де Голлем...» (2.9.80). Или: «...Ярые патриоты, как маршал Петен, Лаваль, генерал Власов...» (23.4.81). И конечно же, ни одна книга о генерале Власове не проходит без восторженной рецензии.

Странное, однако, понимание патриотизма. И странно, что газета, которая издается во Франции и осуществляется, так сказать, на западной либерально-демократической основе, делает все, чтобы отвлечь своих читателей от либерализма и демократии.

Соответственно, на страницах «Русской Мысли» звучит порой грубейшая ругань, а то и клевета по адресу лиц либерально-демократического направления мыслей (Е. Эткинда, А. Синявского, Г. Померанца, живущего в России, Н. Лепина — псевдоним — из России). Напечатать же возражение или опровержение в этой газете далеко не всегда бывает возможно, иной

раз — в прямое нарушение закона о праве задетого лица на ответ. Так, «Русская Мысль» отказалась опубликовать критический отклик Эткинда на «Сагу о носорогах» В. Максимова, отказалась напечатать письмо Д. Каминской в защиту Д. Симеса от выпадов Максимова, письмо, подписанное 15-ю диссидентами, в защиту А. Синявского и Е. Эткинда, статью А. Синявского в поддержку Н. Лепина, отклик П. Абовина-Егидеса на смерть Андрея Амальрика.

* * *

Другой аспект — непрофессиональность и низкая квалификация сотрудников «Русской Мысли», которая граничит с безграмотностью. Например, широко известные, хрестоматийные строки Ахматовой «Приближался не календарный — настоящий Двадцатый Век» приписываются Блоку (31. 7. 80). О Герцене, который умер в эмиграции, сообщалось, что он вернулся благополучно в Россию, где и был похоронен (Иваницкая, 20. 12. 79). Чтобы еще и еще раз показать, какими хорошими и добрыми были русские цари, тот же автор доходит до полной нелепости: российская держава «взвела на эшафот Достоевского... та же держава и свела его с эшафота... И после четырехлетней каторги оказалось, что ни жизнь, ни слава, ни гений его не убиты...» Дескать, четыре года каторги не пошли ему во вред: за дело отсидел! О Пушкине (Михалевский, 28. 6. 79) говорится: «После прихода Ленина к власти Пушкин был отнесен к поэтам помещичье-дворянского класса и низведен в разряд «сочинителей любовных стишков». Только в январе 1937 года, в день столетия со дня его смерти, стихийно прорвавшаяся мощная волна всенародной любви к поэту заставила правительство пойти на уступку, и годовщина была отмечена».

Тут что ни слово — то выдумка или невежество. Никогда советская власть Пушкина не низводила в сочинители любовных стишков. Напротив, подчеркивала (с преувеличениями) его революционность, народность, историческую прозорливость. Годовщина 37 года отмечалась по прямому распоряжению партии и правительства и с такой помпой, которая, очевидно, была призвана скрасить ситуацию массовых арестов и казней и несколько облагородить зверское лицо государства. Но в устах П. Михалевского сама похвала Пушкину звучит комично и выставляет поэта в позорном и глупом виде: «С горячностью молодости и своего темперамента Пушкин возмущался произволом царского строя, крепостничеством. Но с течением времени, с наступлением зрелости, он понял, что плетью обуха не перешибешь. К тому же он осознал свое высокое назначение быть великим русским поэтом и свой долг сохранить свою жизнь и свободу для творчества».

Это ниже уровня советских школьников, пишущих сочинения о Пушкине.

Обзоры эмигрантской периодики в «Русской Мысли» принадлежат в основном весьма уже престарелому М. Сергееву (он же — Рафальский, он же — Ский), который буквально наводняет газету своими впечатлениями и оценками, подчас грубо несправедливыми, пользуясь при этом устарелым или (гораздо чаще) неправильным русским языком. Его исторические концепции столь же убоги и сводятся к формуле «оккупированной страны», выражая идею фикс «Русской Мысли»: «Разве захват... страны бандой профессиональных марксистских международных заговорщиков — это не оккупация?» (14. 2. 80).

Видимо, желая придать респектабельность своему лицу, газета в изобилии публикует материалы, заведомо устаревшие. Например, статью Н. Осипова «О судьбах России» (автор скончался в 1963 г.) с утверждением, что революция в России была «нелепой слу-

чайностью», которая произошла по воле внешних врагов, и что российский деспотизм был совсем не страшен.

В виде высшего арбитра в истории русской поэзии публикуются давние и весьма посредственные выступления Г. Адамовича с нападками на М. Цветаеву и Пастернака (23. 10. 80, 27. 11. 80 и т. д.). Или «Русская Мысль» просто перепечатывает отрывки и главы из старых книг, хорошо известных всем и легко доступных: воспоминания С. Маковского о Инн. Анненском, З. Гиппиус — о Блоке и Андрее Белом, произведения Шмелева, Б. Зайцева, Г. Иванова и т. д. Если бы это были забытые вещи, был бы какой-то резон. А так — это просто заполнение газетного полотна с вечной оглядкой на милое дореволюционное прошлое, что отвечает общему пафосу «Русской Мысли» и превращает ее в жалкий анахронизм.

Наконец, большинство материалов пишутся языком, не имеющим отношения к названию газеты. Примеры можно приводить до бесконечности, но вот несколько — и весьма характерных — неправильностей.

«Получивший политическое убежище в США звезда советского балета А. Годунов заявил, что... его толкнуло на эмиграцию отсутствие артистической свободы в СССР» (редакционная заметка 11. 10. 79).

По-русски нельзя сказать «звезда, получивший», — тем более, что Годунов не «звезда», а «солист». «Артистическая» по-русски бывает только уборная (иногда — буфет в театре), а свобода — свободой художественного творчества, свободой для художника и т. п.

К. Померанцев переводит название книги американского профессора М. Фридберга так: «Русские писатели в советских жакетках». Разумеется, он имел в виду суперобложки.

Пытаться улучшить «Русскую Мысль» путем дружеской критики, обсуждения, советов, подсказок нам не представляется возможным.

Тут уместно более чем где-либо вспомнить печальные слова А. Белинкова, которые он произнес незадолго до смерти, в 1969 г.: «...На тринадцатом месяце эмигрантского мученичества мне стали понятны некоторые вещи, которые сделали мою жизнь бессмысленной... Здесь моя жизнь занята препирательством с людьми, представление которых о России не выходит за пределы калужской средней школы».

Необходимо создать в Европе другую, параллельную газету с ориентацией на русскую демократию и на более высокие в культурном отношении читательские слои. Необходимо не только потому, что в Европе сосредоточена значительная часть русской эмиграции, в том числе недавней. Но также потому, что здесь больше (чем, например, в Америке) скрещивается путей, ведущих из России и в Россию, и больше ощущается и осуществляется связь эмиграции с метрополией. Соответственно, и хорошая русская газета здесь может сыграть незаменимую роль в объединении многих людей под девизом свободы, демократии и культуры.

Доктор Кронид Любарский,
главный редактор бюллетеня «Вести из СССР».

Андрей Синявский — профессор Сорбонны (Париж),
член-корреспондент Баварской Академии Изящных Искусств.

Ефим Эткинд — профессор Парижского университета (Нантерр),
член-корреспондент Германской Академии Языка
и литературы.»

ОТ РЕДАКЦИИ: И хотя мы не разделяем точку зрения А. Синявского на западную полицию (к сожалению, и в ее среде находится немало любителей пользоваться услугами «бдительных граждан»), но на этот раз адресат действительно оказался на высоте и не принял во внимание «сигнала» некоторых докторов и членов-корреспондентов изящных искусств из новой эмиграции.

Мы же, со своей стороны, уведомляем мастеров подобного рода эпистолярного жанра, что будем регулярно и охотно печатать их произведения, дабы некоторым нашим столпам «плюрализма», «демократии» и «терпимости» неповадно было сваливать свои собственные грехи с больной головы на здоровую*.

Считаем также нелишним напомнить нашим читателям текст письма жены члена-корреспондента Баварской академии изящных искусств — господина Синявского — М. Розановой, направленного ею редактору «Континента» и опубликованного нами в девятнадцатом номере журнала:

«Владимир Емельянович! Боюсь, что недопустимым тоном «Саги о носорогах» Вы перебрали по очкам. Мне кажется, что пришла пора отступить. Осмелюсь рекомендовать следующий порядок действий:

* По нашим сведениям, в передаче письма членов-корреспондентов изящных искусств сотоварищи в соответствующие руки активное участие принял один из советников Президента США. Неплохое занятие для человека, считающего себя интеллектуалом, не правда ли? Хотя, как известно, определенная часть гарвардских профессоров, вроде этого господина, не отличается особой брезгливостью. Думается, что администрация Белого Дома по достоинству оценит полицейские наклонности одного из своих служащих.

Думается также, что университетская профессура Франции и Германии, в свою очередь, соответственно оценит деятельность своих русских коллег, которой те занимаются в свободное от работы время, так сказать, по совместительству. (Ред.)

(В. М.)

1) Публично извиниться. 2) Остановить печатанье отрывков в «Русской мысли». 3) Воздержаться от публикации этого сочинения в «Континенте» №19. М. Розанова. P. S. Простите, но копию этой записки я отправлю в 'Русскую мысль'».

И еще мы позволим себе процитировать (не имея разрешения на полную перепечатку) выдержку из письма редакции «Синтаксиса», соредактором которого является все тот же член-корреспондент Баварской академии изящных искусств, неизвестному автору:

«Дорогой Н. Н., мы, к сожалению, не сможем напечатать Вашу статью. Не потому, что она плохая или не устраивает нас по своему направлению. «Синтаксис» и задуман как журнал без строго обозначенного направления, без определенной, раз и навсегда заданной программы. Так что разнообразие мнений, спорность, оригинальность и острота индивидуальной постановки вопроса — весьма желательны. Затруднение в другом: Вы печтаетесь очень много в очень многих журналах...»

Этот очередной восхитительный перл плюрализма, терпимости и демократии опубликован в четвертой книжке вышеозначенного журнала.

В связи со всем вышеприведенным, позволительно спросить члена-корреспондента Баварской академии изящных искусств господина Синявского, кого же он все-таки конкретно имел в виду, когда сетовал в своем выступлении на неких *цензоров* и *доносчиков* в третьей эмиграции?

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

МАКСИМОВ

Владимир Емельянович

Выдающийся современный русский писатель. Его творчество одухотворено христианским восприятием жизни и любовью к человеку. Его язык богат своей простотой, а художественные образы впечатляют своей доступностью. Даже советская цензура не могла исказить его творчество, и изданные в Советском Союзе произведения пользовались известностью и любовью читателей. Но особенно ярко раскрылся его талант в произведениях, изданных на Западе. Прежде всего, в романе «Семь дней творения» — эпохальном произведении о судьбах России. Этот роман выдержал четыре русских издания и, переведенный на иностранные языки, вышел в 11 иностранных издательствах. Все художественные произведения В. Е. Максимова вошли в его шеститомное собрание сочинений.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

6 томов, в общей сложности 2300 с., в твердых переплетах, с тиснением.
Том I: Сага о Савве (повести, изданные в Советском Союзе и сейчас изъятые из всех библиотек).

Том II: Семь дней творения.

Том III: Карантин (роман, в котором глубокая символика переплетена с реальной жизнью сегодняшней России).

Том IV: Прощание из ниоткуда (романизированная автобиография, передающая богатейшую переживаемыми, событиями и встречами жизнь писателя).

Том V: Жив человек. (Пьесы, пробывавшие на сцене театров, несмотря на «крамольные идеи», в них содержащиеся).

Том VI: Ковчег для незваных (роман, написанный уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила творческих импульсов автора; образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе).

Стоимость всех 6 томов — 180 н. м. Каждого отдельного тома — 30 н. м.

В отдельных изданиях в продаже все произведения автора за исключением «Прощания из ниоткуда» и «Карантина», которые распроданы. Подробности в каталоге издательства, который высылается по первому требованию.

Книги Максимова на русском языке разошлись в количестве 14 тысяч экземпляров. На иностранных языках они вышли в 35 различных изданиях, не считая специальных «клубных», в таких странах, как США, Англия, Западная Германия, Франция, Италия, Испания, Япония, Израиль, Голландия, Норвегия, Швеция и др.

Книги можно приобрести в любом русском книжном магазине или непосредственно в издательстве:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40.— ДМ, или 23.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— ДМ, или 5.— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

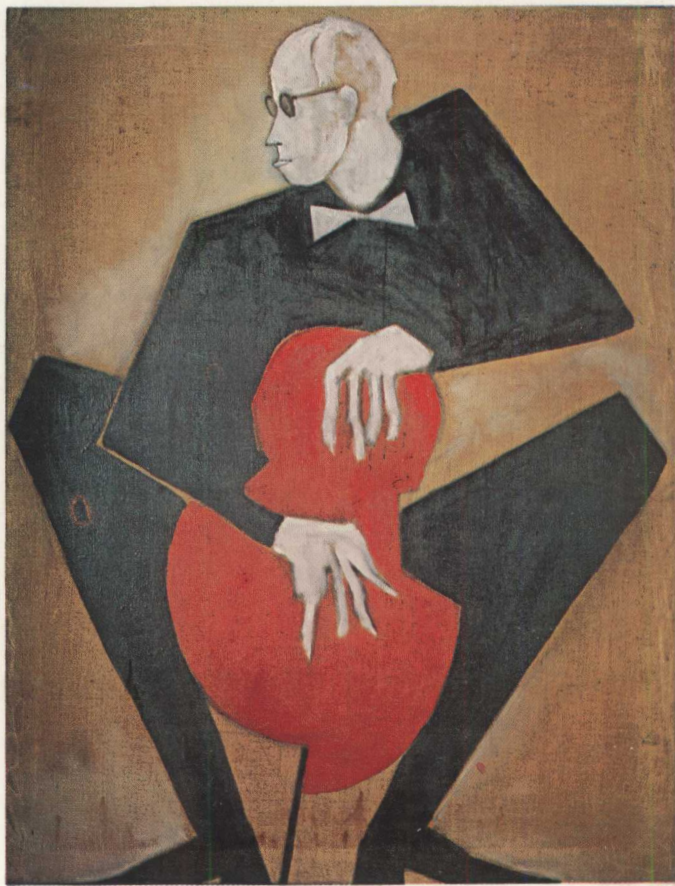
а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

К 55-летию музыканта



Гавриил Гликман. «Мстислав Ростропович».

Холст. Масло. 130 — 100. 1972 год.

Репродукция к статье Т. Дмитриева «Размышления с кистью в руках»